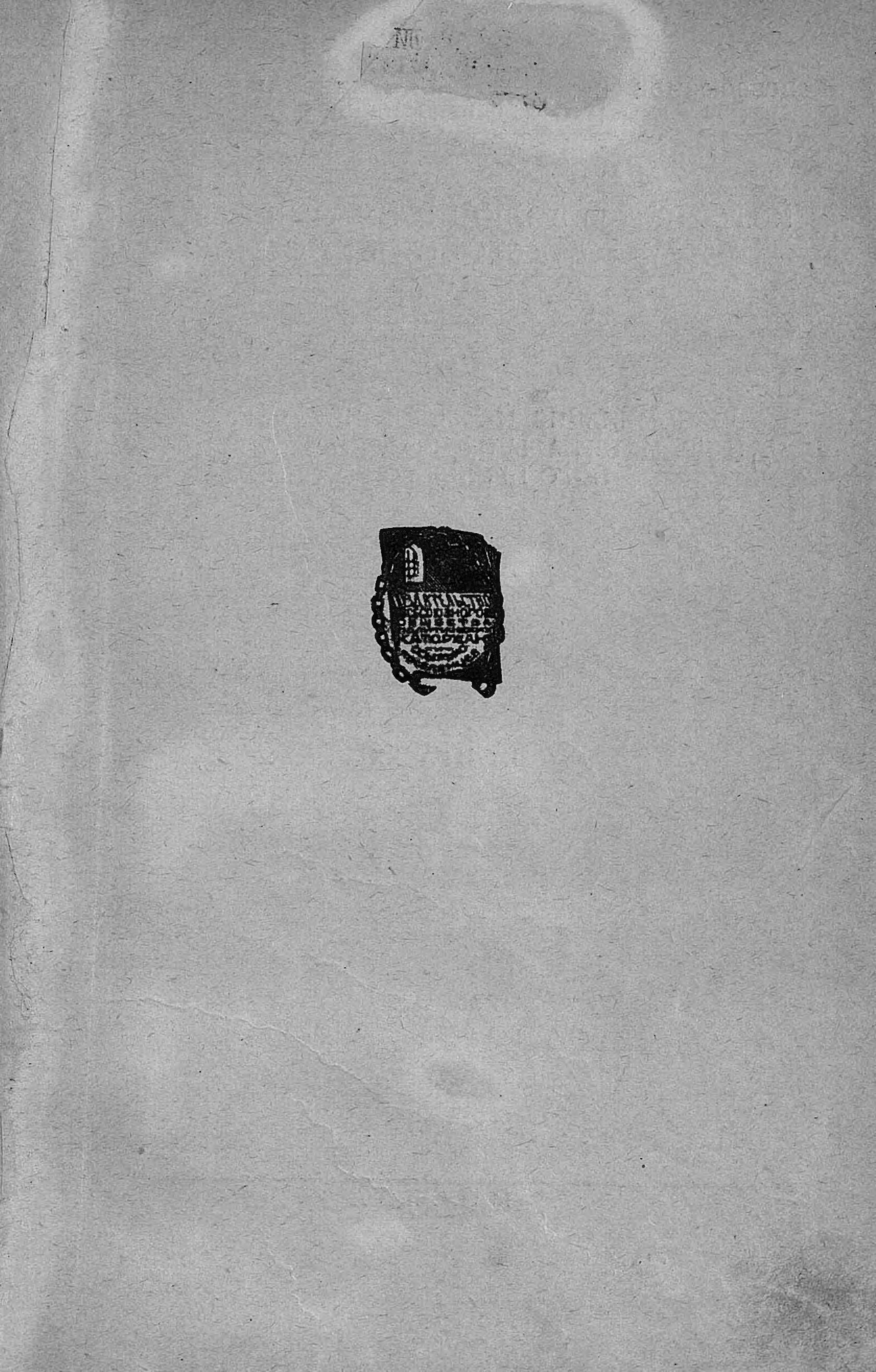
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СБОРНИК СТАТЕЙ ДОКУМЕНТОВ И ВОСПОМИНАНИЙ



ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН МОСКВА



ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖ
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕК
журнала „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XXX

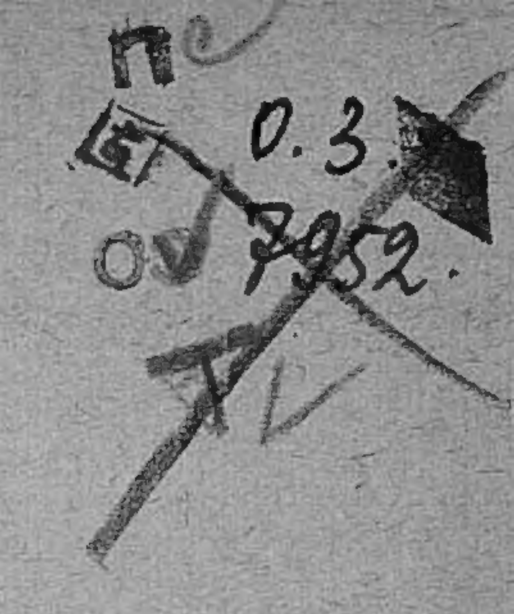
МОСКВА

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

1828-1928

СБОРНИК СТАТЕЙ,
ДОКУМЕНТОВ
И ВОСПОМИНАНИЙ

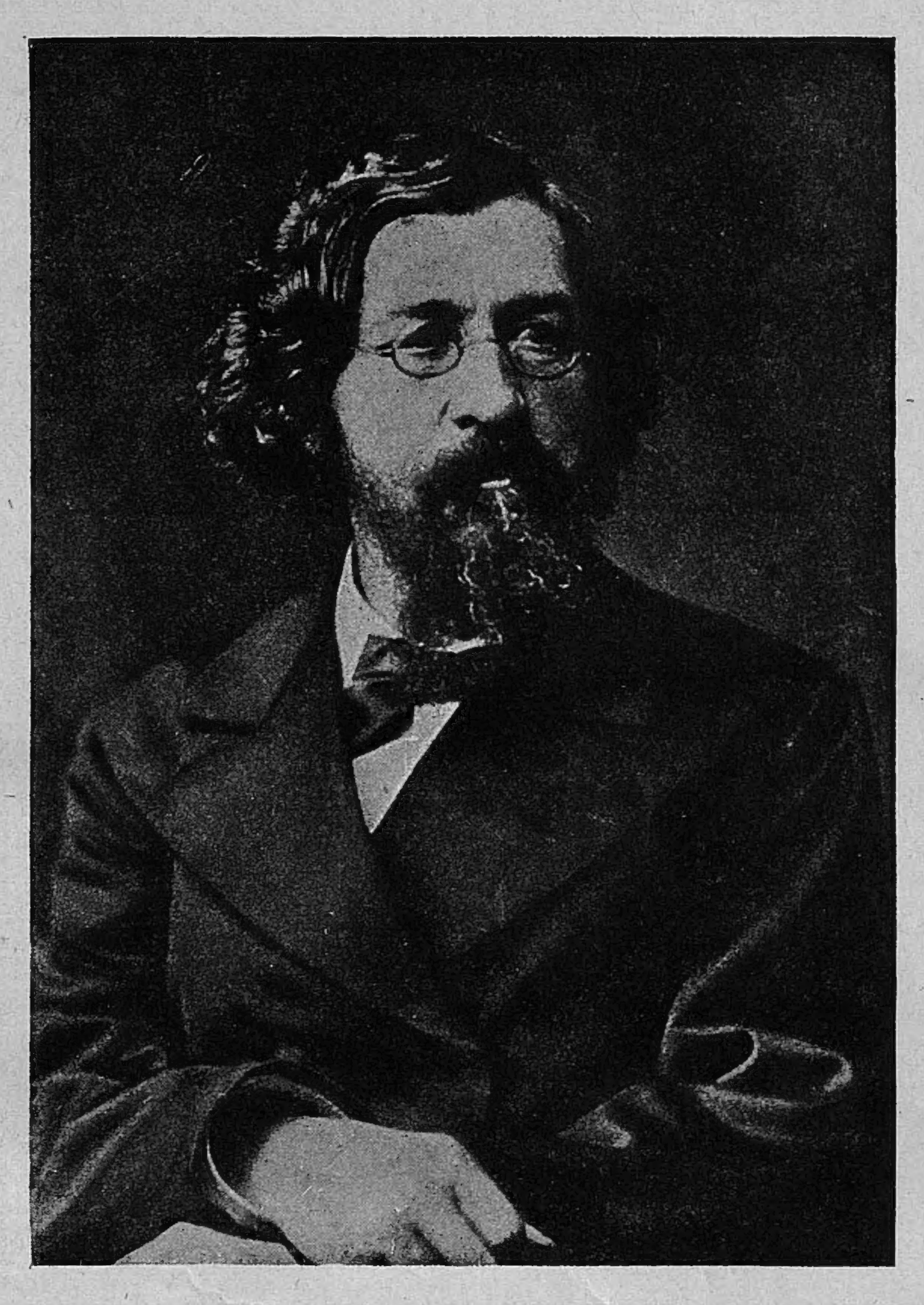
1928



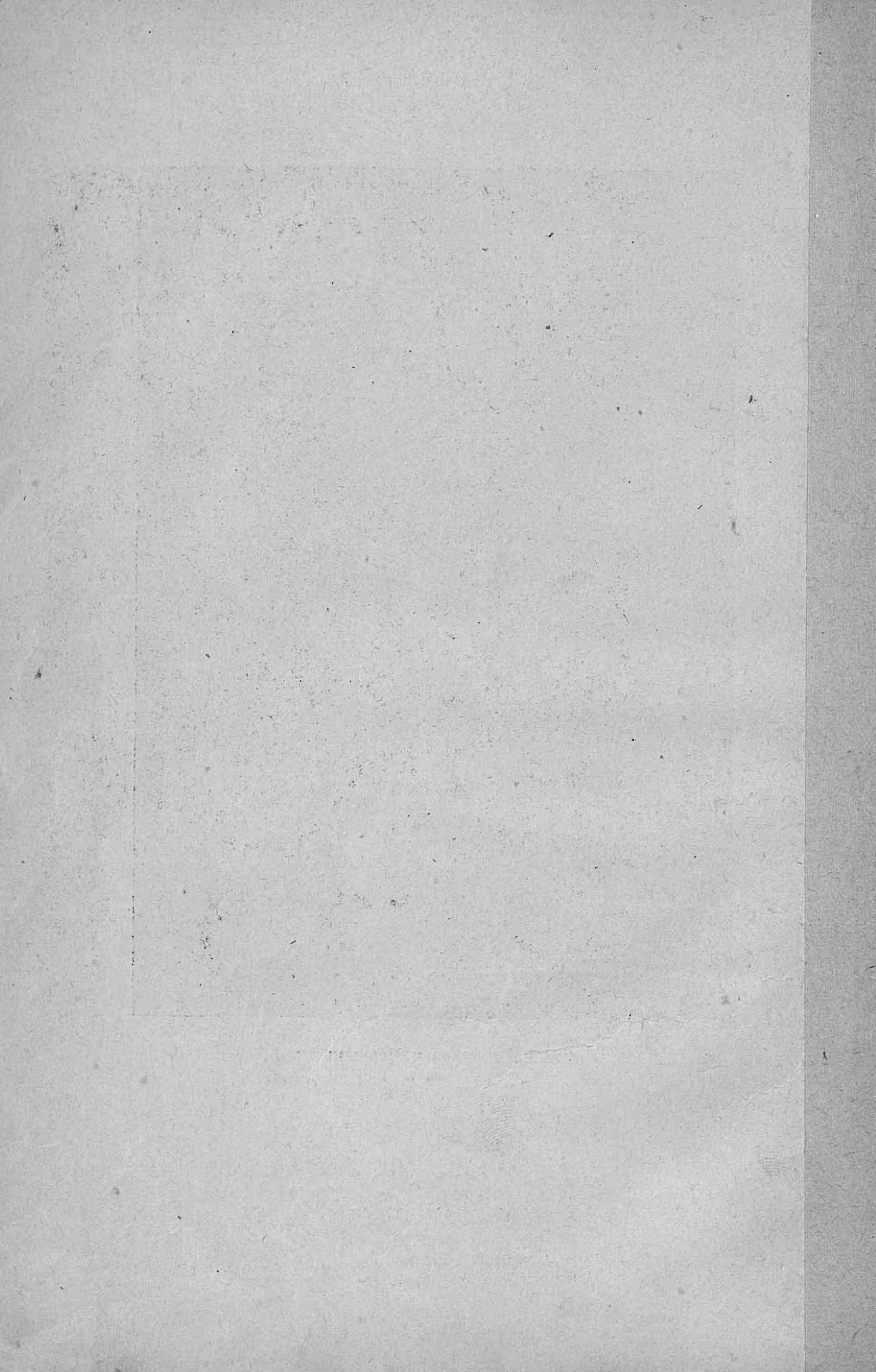


Москва. Главлит А 12.128. 3.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.



Николай Гаврилович Чернышевский.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Автобиографические отрывки Н. Г. Чернышевского.

В первом томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского напечатаны его замечательные автобиографические наброски. Как известно, они писались в крепости летом и осенью 1863 г. в два приема,—сначала в простом виде воспоминаний автора о семейной старине, а позже, как это недавно выяснил счастливою архивною находкою Н. А. Алексеев, в форме одной из глав многосложного тюремного беллетристического произведения Чернышевского «Повести в повести» [1]. Однако ни в первом, ни во втором виде автобиографические наброски не были ни закончены, ни приведены в отделанный вид и к более или менее определенному хронологическому рубежу. Отчего так случилось? Вернее всего оттого, что Чернышевский понял невозможность опубликовать свою автобиографию такою, как она слагалась, и как он единственно хотел ее составить тогда же, при жизни лиц, которых в ней он предполагал вывести. В этом отношении очень любопытно, что во второй редакции он пропустил огромное число «глав» от 15 по 349; из этих «глав» пропуск 15—108 он обозначил словами: «это все после, когда можно будет напечатать;—вероятно скоро: дела и люди поколения моей бабушки и [ее] сестер—дела и люди давних времен». Пропуск же «глав» 109—348 он никак не обозначил: в них речь должна была итти, видимо, о более молодых людях и о более новых делах [2]...

Так оборвалась и осталась незавершенною одна из предпринятых Чернышевским в крепости работ. Однако мысль о ней, повидимому, никогда—ни в крепости, ни в Сибири, ни на ограниченной свободе в Астрахани—не покидала его.

Так, в бумагах Дома-музея им. Н. Г. Чернышевского в Саратове находится подлинная рукопись автобиографического рассказа Чернышевского

---

[1] Направление и размеры литературной деятельности Чернышевского в крепости отчасти изучены П. Е. Щеголевым в статье «Чернышевский в равелине» («Звезда», 1924, III, 71). Направление работ оказывается очень разнообразным, а их размеры вырисовываются поистине огромными.

[2] В листах, которые Чернышевский отбросил при переработке первой редакции автобиографии во вторую, есть такое замечание: «Но, конечно, нескоро можно будет напечатать мои воспоминания о людях следующего поколения».

Наша улица. I. Корнилов дом»[1]. Там же сохранилось несколько других обнаружений постоянства Чернышевского в мысли написать свою автобиографию. Например, в очень своеобразной форме автобиографических писем он пытался—уже не для печати—написать ее в Сибири (см. его письма жене от 15 и 31 марта и 6 апреля 1878 г.). Позже он возвращался к ней уже для печати в Астрахани: так, в 1884 г. он диктовал воспоминания сыну М. Н. Чернышевскому, но успел продиктовать лишь очень небольшую их часть[2]. Тогда же или, может быть, в начале 1886 г., в прямой связи с предложением А. Н. Пыпина, он начал писать свои воспоминания в форме отдельных рассказов; судя по названию и темам сохранившихся отрывков, он предполагал дать изображение той среды, в которой и вырос и сложился[3].

Рассказ Чернышевского о «Корнилове Доме» и параллельный ему рассказ «Жгут» напечатаны в том же I томе «Литературного Наследия», где даны автобиографические наброски Чернышевского; его автобиографические сибирские письма следуют в дальнейших томах того же издания. В настоящем сборнике вниманию читателя предложены астраханские автобиографические отрывки Чернышевского: первый—видимое начало нового большого опыта Чернышевского написать воспоминания о семейной старине и своей жизни, второй и третий—попытки Чернышевского передать в их живой речи рассказы бабушки с автобиографическим значением. К сожалению, ни первого, ни последних Чернышевский не довел до конца. Трудно сказать, что теперь помешало его стремлению в той или другой форме (и все равно, открыто или прикровенно) написать, наконец, свои воспоминания...

А между тем мечта написать их проходит через всю вольную и несвободную жизнь Чернышевского...

---

[1] Рукопись руки Н. Г. Чернышевского на 4 четвертушках, за № 995.

[2] См. рукопись в Доме-музее за № 1075. Наверху первого листа написано карандашем: «Это писано мною под диктовку моего отца в Астрахани летом 1884 г. (один из вариантов рассказа о саратовской старине). Мих. Чернышевский». Рукопись на 2 листах почтовой бумаги большого формата.

[3] В письме без даты, относимом Н. М. Чернышевскою-Быстровой к началу 1886 г., А. Н. Пыпин писал Чернышевскому:

«Мне приходит в голову, по части воспоминаний: не захочешь ли ты написать теперь что-либо на ту тему, которая некогда уже приходила тебе в голову,—на тему воспоминаний о том быте, какой приходится ко времени нашего, твоего и моего, детства. Когда-то ты задумывал и частью исполнял рассказы на тему «Старина» и «Наша улица»—эти начинания или не были доведены до конца, или пропали; мне кажется, было бы возможно к ним возвратиться, темы могли бы быть чрезвычайно интересны—не с какой-либо романтической, беллетристической, а просто с фактической стороны. Другие, как я знаю, начинают уже затрогивать эту тему; гораздо лучше было бы, если бы ты ее затронул, хотя бы в форме простых фактических, бытовых воспоминаний. Было бы очень хорошо, если бы написанное можно было теперь же утилизировать,—и мне кажется, что это было бы совершенно возможно...». В ответ на это деловое предложение Чернышевский 14 февраля 1886 г. писал сыну М. Н.: «Дяде Александру Николаевичу скажи, что я получил его письмо, отправленное в начале этого месяца. На-днях буду иметь досуг написать для него воспоминания о старине, которые он хочет иметь». Письма—в Доме-музее. Рассказы там же за № 1074, на 3 листах почтовой бумаги большого формата. Рука—Чернышевского.

Что касается печатаемых отрывков, то написанные почти через четверть века после основных автобиографических набросков их автора и в совсем иных, чем те, условиях, они, конечно, представляют большой интерес при изучении эволюции творчества Чернышевского. Представляя же для одного времени и для одинаковых обстоятельств работы первый—пересказ чужих воспоминаний о слышанном, другие—попытку их передачи разговорною речью рассказчика, печатаемые отрывки, думается, дают возможность сопоставления двух типов его творчества на одном материале.

Этим отрывкам соответствуют в первой редакции автобиографических набросков Чернышевского стр. 5—6 и 12—13, а во второй—стр. 127—128 и 134—135.

При печатании удержаны характерные черты правописания Чернышевского астраханского периода и его сына той же поры, хотя отрывки и печатаются по новой орфографии. Удержаны и такие подражания народному говору, как «архирей» вместо «архиерей». Немногие очевидные по смыслу пропуски текста заключены в прямые скобки: [ ].

С. Н. Чернов.

I.

В конце прошлого века священник одного из сельских приходов Пензенской эпархии, к составу которой принадлежала тогда и нынешняя Саратовская, был переведен из прежнего своего прихода в другой, тоже сельский, находившийся за несколько сот верст от прежнего. Фамилия его осталась неизвестна мне — по имени и отчеству он был Иван Кириллович. Жену его звали Мавра Перфильевна. Оба они были, надобно полагать, люди еще очень молодые, и детей у них была только одна дочка-малютка Поленька. Весь скарб, с которым они отправлялись на новое место, можно было уложить на одну телегу, на которой еще и оставался простор для жены священника с ее малюткой. Дело было летом. Чтобы устроить прикрытие от солнца для жены и дочки, Иван Кирилыч набрал ивовых прутьев и сплел из них прекраснейшую кибитку. Была у него и лошадь; запрягли ее и отправились в путь. Жена с дочкой сидели под кибиткою, муж, держа концы вожжей в руках, шел рядом. Благодаря этому, лошади было не очень тяжело. Но все таки жаль было лошади. Иван Кирилыч придумывал, каким бы образом облегчить ее труд. Возможность нашлась скоро: ветер был попутный, дорога шла мимо лесов; Иван Кирилыч вырубил две длинные палки, укрепил их впереди телеги в стоячем положении, привязал к ним полог и таким образом устроил парус. Ветер надувал парус, и лошади стало очень легко везти телегу. Два дня или три, а может быть и четыре, Иван Кирилыч и Марья[1] Перфильевна с дочкой ехали благополучно и без всяких приключений. Но вот однажды

---

[1] *Так в рукописи; следует* Мавра.

утром Марья [1] Перфильевна услышала вдали ружейный выстрел. Местность была совершенно пустынная, дорога шла лесом и очень большими прогалинами, через которые виднелись по сторонам луга и озера. Во все утро не попалось путешественникам ни одного проезжего или прохожего. Что такое этот выстрел? Не разбойники ли это? Мавра Перфильевна не могла отогнать от себя страшной мысли, но тревожить мужа своей боязнью не хотелось ей; выстрел был сделан где-то очень вдалеке, так что Иван Кирилыч, повидимому, и не расслышал его; быть может, разбойники проедут где-нибудь стороною, так что и не заметят Мавру Перфильевну с мужем и дочерью. Через несколько времени послышался другой выстрел, уже ближе. Мавра Перфильевна не могла теперь сдерживать более свою тревогу.

— Иван Кирилыч, ты не слышал?

— Что?

— Я говорю, ты не слышал?

— Слышал.

— Что же нам теперь делать?

— Нечего нам делать: едем, то и едем, только.

— Как же только? Ведь это разбойники!

— Полно, Мавруша, какие разбойники?! Это, должно быть, какие-нибудь городские купцы раз'езжают по деревням с товаром, а вот едут мимо озер, увидали уток, ну и стреляют.

— Нет, нет, Иван Кирилыч, это разбойники, ужь я знаю, что разбойники, гони лошадь-то!

— Эх, Мавруша! Если это разбойники, то у них лошади получше нашей, да и клади меньше—не уедем от них. Только ты напрасно беспокоишься, вовсе это не разбойники, я говорю тебе—это проезжие купцы стреляют уток.

Настаивать или нет, чтобы муж сел на облучек и погнал лошадь? Муж послушался бы, он был сговорчив и любил угождать жене, но действительно была правда в его соображении о том, что гнать лошадь пользы не будет: не ускачешь от них; если заметили, то догонят. То не лучше ли в самом деле ехать шагом, как ехали? Пустить лошадь вскачь—будет много стуку от телеги, тогда разбойники наверное услышат, а теперь они, может быть, еще не заметили и проедут мимо. Это соображение заставило Мавру Перфильевну сидеть молча и заботиться лишь о том, чтобы не дать какого-нибудь повода раскричаться Поленьке, чтобы не прискакали разбойники на голос малютки.

Поленька дремала или вовсе почивала. Это было хорошо.

Довольно долго не было ничего слышно с той стороны, где разбойники. Быть может, свернули куда-нибудь дальше.

Но послышался опять выстрел, и уже гораздо ближе.

---

[1] *Так в ркп; следует* Мавра.

— Иван Кирилыч, гони лошадь! Теперь уже все равно; видно, что ужь заметили нас, гони лошадь!

— Видишь ли что, Мавруша, ускакать от них не ускачем, а если это разбойники, то опаснее будет, когда мы поскачем от них: будем ехать шагом, то догонят нас они, увидят, что мы не гнали лошадь от них, значит не имеем от них опасение, думаем—они добрые люди, то, может быть, и у разбойников будет жалость к нам обидеть нас, когда мы считаем их за добрых людей.

Муж рассуждал справедливо, Мавра Перфильевна замолчала. Муж раза два посмотрел на нее.

— Мавруша, да что ты в самом деле перепугалась? Лица на тебе нет! Это ты совсем напрасно. Поверь ты мне—вовсе это не разбойники, сама увидишь, как поровняются с нами; должно быть, купцы стреляют уток. Или, может быть, не купцы, а барин какой-нибудь или приказный. А скорее всего, что купцы—чаще они попадаются по таким местам.

Какие странные люди эти мужчины! Иное он сообразит, как следует. Вот хоть бы о том, [что скакать] еще хуже, чем ехать шагом. Но упрямые они. Заберется ему что-нибудь в голову, и не соспоришь с ним: не разбойники это, купцы. Вот поди и переспорь его!

Стал слышен шум колес, топот лошади в стороне за лесом. Может быть, бог и пронесет мимо. Топот был быстрый, по дребезжанью телеги тоже было заметно, что едут быстро. Все ближе и ближе; но все-таки не видать еще за лесом. Должно быть, на эту дорогу выходит какая-нибудь дорожка с другой стороны. Вот хорошо было бы, если бы они выехали на эту дорожку далеко впереди и скакали бы не оглядываясь. Что-ж? Погони за ними не слышно, так чего же им оглядываться?

— Иван Кирилыч! Ты попридержи лошадь-то! Остановимся, постоим, пока они проедут.

— Нет, Мавруша, останавливаться поздно: та дорога, по которой они выедут на нашу, выходит ужь совсем вблизи от нас,—все равно не утаимся. Да и чего нам таиться от них? Увидишь, купцы. Мавра Перфильевна высунулась из кибитки взглянуть на дорогу впереди. Действительно, дорожка с той стороны, откуда приближался шум, выходила на эту дорогу вовсе подле, шагах в тридцати, не больше. Мавра Перфильевна стала смотреть направо, налево, нельзя ли свернуть в сторону за деревья; нет, место было низменное, поросло березой и осиной так густо, что нельзя провезти телегу между деревьями. Будь воля божия!

Проехали мимо той дорожки, Мавра Перфильевна оглянулась,— нет, дорожка была извилистая, не видно их.

Проехали еще шагов тридцать. Слышно стало, что те выехали на эту дорогу.

— Здравствуйте, батюшка,—сказал один голос, такой звонкий, здоровый, настоящий разбойничий.

— Здравствуйте, батюшка! — сказал другой голос, такой же.

— Доброго здоровья и вам желаю, почтенные господа,—отвечал Иван Кирилыч.

— Что это вы, батюшка? Должно быть, с места на место перебираетесь? В телеге-то поклажа. Да и на телеге-то прилажена кибиточка. Семейство, значит, ваше с вами?

— Точно так, господа. Из одного прихода в другой перемещаемся, а в кибиточке точно сидят у меня жена с маленькой дочкой.

— Откуда же вы переходите, батюшка, и куда?

— А вот, видите ли, почтенные господа, прежний мой приход был...—и принялся Иван Кирилыч рассказывать о прежнем приходе, о том, как просился у архирея[1] в другой приход, потому что тот приход слишком бедный, и т. д., и т. д. Те слушали. Досказал Иван Кирилыч, спрашивает:

— Теперь позвольте спросить у вас, почтенные господа, кто такие вы и куда едете?

— А мы, батюшка, купеческие прикащики, на доверии у хозяина. Вот он дает нам товар, а мы с этим товаром раз'езжаем по селам. Вот едем так-то, видим озера, а на озерах утки сидят. Мы, знаете, вынули ружьецо, да и постреляли немножко.

— Так, так, господа. Отчего же и этим не развлечься от скуки.

И продолжается у них такой разговор. Совсем как есть приятели. И все выложил им Иван Кирилыч, как есть все: до того дошел, что и рясы свои пересчитал им, и женины наряды, и сколько денег, даже и то сказал. А денег у них было много: известное дело, был в том приходе домик, была скотинка; продали, а новых расходов еще никаких не было, все деньги еще целы; «Господи, хоть бы он о деньгах-то промолчал перед ними, нет ведь и это выложил им».

Ехали лесом, теперь выехали на прогалину.

— Но вот, батюшка, теперь есть место рядом ехать, эдак-то будет ловчее разговаривать.

Хлопнули по лошади, она пошла поскорее, сворачивая в ту сторону, с...

II.

БАБУШКИНЫ РАССКАЗЫ.

1. Переселение прадедушки и прабабушки в новый приход.

Вот, расскажу я вам, Любенька, Николенька, какое было происшествие с батюшкой, матушкою, когда они ехали в новый приход.

По какому это было случаю, что архирей перевел батюшку вскоре после посвящения—на втором году, должно быть, судя по

[1] *Так в ркп здесь и далее.*

тому, что я была тогда грудной ребенок, или не дальше, как на третьем—в новый приход, не умею сказать: может быть, прежний приход был ужь очень беден, то батюшка и просил архирея; а не мудрено и то, что мужики просили архирея перевести к ним батюшку, знавши его за человека хорошего; но только, как бы то ни было, перевел архирей батюшку в новый приход. Расстояние было, должно быть, не маленькое; может быть, и двести или триста верст, а может быть и больше, потому что епархия была тогда либо пензенская, либо тамбовская, до самого Царицына все одна: не знаю какая, пензенская ль она была, или тамбовская,—только очень большая; народу тогда в здешних местах было еще мало; все леса да леса были.

Ну, распродали батюшка, матушка все лишнее, чего на одну телегу не положить, и уложили на одну телегу, что у них оставлено было взять с собою. Много ли, немного ли, а все же поклажа. А лошадь-то одна. А у матушки грудной ребенок—это я; идти ей нельзя же было бы много, хоть бы и не заботлив был о ней муж. А батюшка в ней души не чаял, стало быть, ей всю дорогу ехать; батюшка не допустит ее сойти с телеги, кроме как разве, чтобы немножко ноги размять, когда устанет сидеть. И устроил же ей батюшка спокойствие для сиденья и прикрытие от жару, от дождя! Она говорила, такую кибитку устроил, что вроде даже карету [1] вышло. Ну, а это опять все равно, что клажа, как же?—Хороший-то навес во всю телегу, разве это мало тяжести. Он кожаный был и с дверкою: как есть карета. Теперь, как же и об лошади-то не подумать было, нельзя ли ей доставить облегчения? Подумать-то всякий хозяин подумал бы; и думают, да что придумают?—Ничего. А батюшка придумал: привязал к переднему краю своей кареты по бокам по жерди, стоячие, как бы сказать, аршина четыре в вышину; как подует попутный ветер, батюшка привяжет к этим жердям полог, и выходит парус; ветер-то и помогает лошади везти, а попутный-то ветер дул много; большое, говорит матушка, облегченье было лошади.—Ну, сам батюшка на телегу не садился, это ужь вы сами можете понимать. Всю дорогу шел пешком.

Хорошо. Едут день, едут другой, может быть и третий, а то и четвертый. Почти что все лес, да лес, да кое-где между лесом пустые полянки; деревня от деревни—двадцать верст, это близко; а то и все пятьдесят [2], коли не семьдесять. Деревень почти только те и видели батюшка с матушкою по дороге, в которых ночевали;—это ужь всегда подгонял батюшка так, чтобы ночевать в деревне, для матушки и для ребенка: ежели переезд велик очень,—ну на кормежке среди дня поменьше дает проклажаться [3] лошади; как быть-то? Лошадку-то жалеет, а жену-то с младенцем больше.

---

[1] *Так в ркп.*
[2] *Так в ркп.*
[3] *Так в ркп.*

Ехали они таким манером три ли дня, четыре ли. Проселок, места пустые. По целым дням ехали, ни души не встречавши. Известно, какая езда по некоторым проселкам в наших местах и теперь, особенно летом! А тогда и той не было. Совсем пустые места были. Едут, попутчиков, как есть, никого: встречных—иной день одна телега, либо две, а в иной день и ни одной во весь день. Едут, все одни да одни. Только на четвертый ли день, или ужь на пятый, едут они после кормежки — значит, ужь полдень прошел—слышит матушка издали, сзади, громко так вдруг раздалось, щелкнуло вроде сильного треска: пу! Что такое?—Через минуту опять: пу! Приподняла занавеску—кожу-то, вроде дверцы—высунулась, говорит батюшке:—«Иван Кирилыч!»—А он идет подле лошади, возжи держит; обернулся на ее голос. «Слышишь, Иван Кирилыч, пуканье-то?»—«Слышу, Мавруша». «Это что такое?»— «Это из ружья стреляют».—«Из ружья, Мавруша».—«Садись, гони лошадь».—«Зачем, Мавруша»?—«Ускакать от них, ведь это разбойники».—«Какие разбойники, Мавруша? Барин какой-нибудь или офицер едет, от скуки по уткам стреляет; по сторонам-то озера попадаются».—«Садись, гони лошадь, говорю тебе. Какое там по уткам стреляют: разбойники».— «Разбойники не станут шума подымать, Мавруша, они тайком ездят».— «Известно, не без надобности стреляют: стало быть, попался им кто, убивают. Садись, гони лошадь»!— «Да не бойся ты, Мавруша, не разбойники это; догонят нас, увидишь: барин, либо офицер. А если и разбойники это, как ты говоришь, гнать лошадь не в пользу нам: у нас кладь; они порожняком; да и лошади-то у разбойников не такие бывают, как наша. Поскачем, только на себя их наведем стуком от колес. Нам от них не ускакать. Шагом-то ехать, ежели и разбойники, ежели и догонят, скорее не тронут: много ли корысти-то зарезать-то нас? Будут видеть, какое наше богатство, и велики ль у нас должны быть деньги; а мы едем себе спокойно, стало быть и не понимаем, что они разбойники, слухов об них от нас не пойдет,—так зачем им нас резать? Поздороваются, как будто добрые люди, и проедут мимо. Так-то, Мавруша, хоть бы это и разбойники были, бояться их нам с тобою нечего. А ускакать нельзя, а попробовать скакать—беда; значит, мы поняли, кто они, и нельзя им упустить нас из рук, чтобы мы не подняли в селе шуму про них. То и будем себе ехать шажком, хоть бы это были и разбойники. Только это не разбойники. Не бойся, Мавруша».

Что ты прикажешь делать? Не столкуешь с человеком: уперся на своем; и слушать его, то будто и дело говорит. Запахнула занавеску матушка, сидит, плачет.—Слушает: тихо, не пукают. Думает матушка: ну, может, сделавши свое, убивши, ограбивши, повернули разбойники в лес к себе, а нас и не слышали. Утешает себя этими мыслями. Хорошо. Проходит, может быть, полчаса— все тихо. Успокоилась было матушка: уехали разбойники в лес. Только вдруг опять: пу, но ужь совсем близко. Догоняют!—И

стук от колес будто слышно. Слышно же и есть: и стук от колес, и топот от лошади: рысцою бежит, должно быть. Ну, теперь ужь поздно и говорить мужу, чтобы садился, гнал лошадь. Сидит матушка, дрожит.

Совсем близко под'ехали. Пошла у них лошадь шагом.

— Здравствуйте, батюшка.—Это сзади-то раздалось.

— Здравствуйте, господа.—Это батюшка отвечает.

— Вы отец иерей будете, батюшка, или дьяконствуете.

— Священник я, господа.

— И тем лучше, батюшка. Значит, вот на полянку выедем, можно будет поравняться с вами, надобно будет слезть, под благословение к вам подойти. А куда едете?

Батюшка говорит—куда, называет село, в которое переведен: Сосновка это была.

— Знаем, батюшка. Выходит, мы с вами до самого конца вашей дороги будем попутчики. Мы тоже в Сосновке должны побывать и дальше поедем. Мы приказчики, раз'езжаем везде тут, большие круги делаем, везде все закупаем.

Ну, видно, полянка вышла: слышно матушке, поехали они в об'езд мимо ее телеги. Давши им поравняться, пропустивши их немножко, приотпахнула матушка свою дверцу, выглянула осторожно одним глазком в щелку: тележка небольшая, крашеная, красивая такая; сидят двое, в синих азямах, оба большие и высокие, и плечистые. И ножа, пожалуй, вынимать не станут: руками придушат. Опустила занавеску. И плакать-то боится, сидит ни жива, ни мертва.

— Здравствуйте еще раз, батюшка,—благословите.

— Бог вас благословит, господа.

Благословляет батюшка одного, другого: слышно это матушке по словам, какие говорит священник, когда благословляет: говорит эти слова раз—и слышно, чмокнул тот руку батюшки так звонко, будто с усердием; говорит батюшка благословенье в другой раз, слышно и другой чмокает, тоже звонко так, тоже, видно, благочестивый.

Идут с батюшкою, разговаривают. О себе рассказывают сначала: и от какого купца ездят приказчиками, и какие деньги с собою возят, и все такое; и кто сами, о своих родных и обо всем. Потом батюшку спрашивают: первым делом о супруге, детки есть ли, батюшка отвечает, и мало того, что отвечает, все им выкладывает, о чем и не спрашивали: как скот, вещи распродали, сколько денег выручили, сколько прежде было скоплено... Господи, твоя воля! До чего затмение-то рассудка может доходить! Что им нужно знать, о чем и спросить остерегаются, о том он им сам докладывает!

— Ну,—говорят, услышавши все, что им нужно было знать — ну,—говорят,—когда так, батюшка, то и тем лучше, что вот мы вам нашлись попутчики; конечно, хоть и смирные здесь места, ничего

такого не слышно, а все же вам, будучи при деньгах, хотя и небольших для другого, а для вас немалых, тем больше для злого человека, при том же голого, даже очень завидных, лучше с нами-то, чем одному. Мы в обиду не дадимся, у нас два ружья, да кинжалы, нам без того нельзя: нам по всяким местам приходится ездить. Так мы до ночлега вместе с вами.

— Благодарю вас покорно, господа,—отвечает батюшка.

Еще благодарит!

— Проводим, батюшка. Но только клажи-то у нас поменьше, да и лошадка-то побойчее; ей с вашею долго-то в ногу итти как будто скучновато; она у нас рысцею бегать охотница. Мы свернем, поищем, озерка нет ли опять, не попадется ли уток. Поколесим, да и опять к вам. Не то, что для опасности, потому что это больше к слову только сказано—какие в здешних [местах] опасности!—а для того собственно, что в разговорах время идет приятнее, когда, вот как теперь, вы нам понравились, а надеемся, что и мы вам не противны. Между собою у нас ужь все сто раз переговорено; ну, и едем.

III.

НАШЕ СЧАСТЬЕ.

Рассказ П. И. Голубевой ее внучке и внуку.

Ну, сама я этого не помню, Любенька, Николенька, а рассказываю вам, как мне говорила матушка. Где же мне помнить, когда и Малаша не помнила. Ей было тогда четвертый год, я думаю.

Стало быть, четвертый год, либо пятый батюшка с матушкой жили на новом месте, потому что, вы знаете, Любенька, Николенька, Малаша была грудная малютка, когда они ехали туда. Я, говорит матушка, ужь хорошо ходила; и была ужь у них Параша; она была тогда грудная и вовсе еще маленькая; сколько ей было недель, не знаю, только немного еще.

Хорошо. Вот раз—в зимнее это было время—вечером, только еще не поздно, слышат батюшка с матушкой, скрипит снег на улице под чем-то тяжелым; только не под возом, потому что едет это тяжелое с большой скоростью, да и лошадей запряжено, слышно, что-то больше тройки, больше чего у возов не бывает. Ближе, ближе,—проехало это тяжелое мимо их окон и остановилось, значит, у их ворот. Ну, когда так, дело понятное: это едут в возке—так назывались зимние кареты—и хотят проситься переночевать у них. Так тогда делалось: кроме как у священника, негде было переночевать, кто не хотел терпеть духоты и смраду. Оно и теперь в глухих местах еще так, Любенька, Николенька. А тогда и по большим дорогам так было, тем больше по таким малопроезжим, как там, у них.

И точно: постучался кто-то в ворота; заскрипела калитка, отворил, значит, работник. Входит в переднюю—у них даже передняя была, такой хороший был у них дом,—входит в переднюю слуга в хорошей шубе, кланяется и говорит: батюшка и матушка, барин просит у вас позволения переночевать. Они говорят: милости просим. Уходит слуга, заскрипели ворота, в'езжает на двор возок, входит в комнату мужчина; молодой мужчина, высокий, собой красавец; здоровается, подходит под благословение к батюшке, но только, принявши благословение, руку батюшке не поцеловал, а пожал. Ну, батюшка знал, что в высоком кругу не целуют руку у священника, и матушка об этом слышала; стало быть, это ничего. Поздоровавшись, приняв благословение, садится; просит их сесть; сели. Он говорит о себе, что едет издалека и далеко, стало быть, больше приходится ему ехать по большим дорогам, как это обыкновенно выходит в дальних поездках, но что местами приходится ему с одной большой дороги на другую переезжать проселками, для сокращения пути, вот как и здесь. Рассказавши это о себе, спрашивает у них, давно ли они здесь, хорошо ли устроились и все такое. Между тем, слуга принес погребец, принес какой-то сундук. Не сундук, а вроде будто сундука, только кожаный,—чемодан, значит, это был, только хорошей работы, каких батюшка с матушкой и не видывали; вынимает из этого сундука, из погребца, столовое белье, посуду, закуски разные, чай, кофей, сахар (чай-то батюшка с матушкой ужь сами пили, хоть, разумеется, только по праздникам; кофею хоть сами не пили, но видывали,—стало быть, и о нем понимают, что это такое; вынул еще что-то: желтая плитка, красноватая; ну, что такое это, батюшка с матушкой не знали. А что посуда серебряная, позолоченная, некоторая и золотая, это—вы сами понимаете, Любенька, Николенька, не могло быть им в диковинку; как же хоть даже им не знать, что вельможи едят с серебра и с золота? Это всегда все знали.

Сообщил *С. Н. Чернов.*



Ненапечатанные отрывки романа «Что делать?».

Как известно, роман «Что делать?» написан Н. Г. Чернышевским в Петропавловской крепости. Писал он его с 4 декабря 1862 г. по 4 апреля 1863 г. сперва начерно, переписывая набело по частям. В «деле о литераторе Чернышевском» имеется постановление Следственной Комиссии от 16 января 1863 г. о передаче его повестей и статей на рассмотрение д. с. с. Каменского с тем, чтобы, если в них не окажется ничего подозрительного, они были выданы с. с. М. Салтыкову (действовавшему по доверенности Н. А. Некрасова) для напечатания. С беловика, просмотренного д. с. с. Каменским, роман «Что делать?» и был напечатан в 3, 4 и 5 книжках «Современника» за 1863 г.

В рукописях Н. Г. Чернышевского, относящихся к крепостному периоду его жизни и хранящихся в Москве в Архиве Революции и Внешней Политики (а в настоящий момент временно—в переменном фонде Архива Октябрьской Революции), имеется и черновик «Что делать?»—58 перенумерованных полулистов обыкновенной писчей бумаги, без линеек, чрезвычайно густо исписанных с обеих сторон весьма убористым почерком. Небольшие поля рукописи во многих местах испещрены цифрами, относящимися к каким-то вычислениям, которыми Чернышевский занимался в крепости. Между прочим, на полулисте № 58 сделана такая пометка: «Эта работа начата 18 января. Это вычисление кончено 29 января. Теперь нужно переписать беловой проект машины». (NB: в бумагах Чернышевского его нет). Работа над проектом машины, вероятно, была отголоском изобретательских замыслов, занимавших Чернышевского в 1848—1852 г.г., как свидетельствуют многие места его «Дневника».

На оборотной стороне полулиста № 36 находится такая заметка, сделанная Чернышевским 23 января 1863 г.:

«Отсюда начинаю писать сокращенно, как писаны все мои черновые,—это я делаю потому, что, надеюсь, Комиссия уже достаточно знакома с моим характером, чтобы знать, что в моих бумагах не может быть ничего противозаконного. Притом же, ведь это черновая рукопись, которая переписывается набело без сокращения. Но если непременно захотелось бы прочесть эти черновые страницы романа, я готов прочесть их вслух (это легче) или дать ключ к сокращениям».

Действительно, дальше черновик писан с применением сокращений, о характере которых можно составить себе представление по факсимиле странички

«Дневника» Чернышевского, помещенному в X томе (ч. 2) полного собрания его сочинений (стр. 33): опускаются отдельные буквы и целые слоги, применяются особые знаки для времен глаголов, для местоимений, для некоторых слов; иногда вместо целого слова стоит его начальная буква и т. п. Если составить себе ключ к этим сокращениям, пользуясь «Дневником», то расшифровка черновика «Что делать?», требующая, правда, большого терпения, не представит особых затруднений.

Сличение расшифрованного черновика с печатным текстом романа показывает, что или самим Чернышевским при переписывании «Что делать?» набело, или цензором были местами сделаны значительные урезки. Так как сам Чернышевский обыкновенно зачеркивал то, что считал нужным выкинуть в окончательном тексте, то из'ятие приводимого нами ниже большого отрывка, в черновике (полулист № 47) *не* зачеркнутого, скорее всего надо приписать рвению цензора. Этот отрывок относится к XVII части 4 главы романа,—повествованию об открытии мастерскими Веры Павловны и Мерцаловой магазина на Невском.

Н. А. Алексеев.

XVII.

Через год новая мастерская уже совершенно устроилась, установилась, пришла в порядок; [обе] мастерские были тесно связаны между собою, передавали друг другу заказы, одна исполняла часть работы другой, когда той случалось быть заваленной заказами; между ними был постоянный текущий счет. Размер их средств вместе был ужь настолько обширен, что если бы они сблизились еще больше, можно было бы открыть магазин на Невском. Это опять стоило долгих хлопот Вере Павловне и Мерцаловой. Хотя отношения между девушками той и другой компании были тесные, хотя все они были между собою знакомы, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях другую, хотя часто они соединялись для поездок за город летом, но все-таки мысль о слиянии счетов двух предприятий была мысль новая, которую долго надобно было раз'яснять. Однако же выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев хлопот о слиянии двух предприятий в одно Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого.

На Невском явилась новая вывеска: Au bon travail. Magasin des Nouveautés. С открытием магазина на Невском стало увеличиваться количество выгодных заказов светских кругов, дела начали довольно заметно становиться еще выгоднее прежнего. Магазин входил в моду,—не в высшем кругу, до этого куда жь бы, но все-таки в кругах довольно богатых, то есть дающих выгодные заказы.

Через два-три месяца стали заявляться в магазин посетители, отличавшиеся любознательностью, несколько неловкою, которой

как будто несколько конфузились сами, которая как будто предполагала в них не ту мысль, какую предполагает обыкновенная любознательность в любознательных людях: «ведь если я интересуюсь тем, чем интересуешься ты, то, вероятно, ты смотришь на меня с расположением и постараешься, как можешь, сам просветить меня», а другую мысль: «конечно, ты на меня смотришь косо и стараешься спрятать хвост от меня, но меня все-таки не надуешь». Таких посетителей было 2—3 человека, и были они каждый раза по три, по четыре. В «любознательности» прошло месяца полтора. А месяца через полтора приехал к Кирсанову один отчасти знакомый, а больше незнакомый ему собрат по медицине и после разных разговоров о различных медицинских казусах,—главным образом, после рассказов гостя об удивительных успехах того метода врачевания, которого он тогда держался и который состоял в том, чтобы больному несколько дней не давать ничего пить, «потому что все болезни состоят в худосочии, а соки постоянно выделяются из организма, следовательно, если не давать нового источника для этих отделений, то худые соки по необходимости истощатся, и через то болезнь пройдет»[1], сказал, что имеет [передать] Кирсанову приглашение: один просвещенный человек, много наслышавшийся о Кирсанове, желает познакомиться с ним. Кирсанов отвечал, что отправится к просвещенному человеку завтра же.

Просвещенный человек, которого точнее следует назвать просвещенным мужем, хотя у него и не было жены,—итак, просвещенный муж был действительно просвещенный муж, потому что тогда, в 1858—59 гг., было ужь очень просвещенное время. Непросвещенные люди еще были, да и то ужь были большой редкостью, но эта редкость попадалась тогда только между существами, которых нельзя с точностью называть мужами, хотя б у них и были жены, а между мужами в действительном смысле слова, то-есть такими мужами, которые мужи действительно сами по себе, мужи, потому что мужи, а не потому что имеют жен,—между такими мужами непросвещенных не было: мужи все до одного были тогда просвещенными.

[Просвещенный] муж принял Кирсанова, как следует просвещенному мужу принимать гостей, с которыми он сам захотел познакомиться: очень любезно; усадил, сам несколько пододвинул стул, предложил сигару и сказал несколько слов о том, что «очень рад случаю познакомиться с вами, Александр Матвеевич», потому что «очень много наслышался о вас, Александр Матвеевич, как об одном из лучших украшений нашей медицинской науки, которая так

[1] Это положительный факт. Один из мне хорошо знакомых медиков лечил по такому методу. Теперь этот медик держится ужь другого метода,—кажется, пятого с тех [пор], как лечил высушиванием, что было лет 15 назад.

необходима для государства», и проч.,—все это было действительно очень любезно, особенно то, что называл Кирсанова по имени и отчеству,—вот что значит просвещение! Прекрасная вещь! После этого несколько времени шел просвещенный разговор о медицине, а напоследок дошел и до цели знакомства, до приятного случая.

— У меня к вам есть просьба,—сказал просвещенный муж, когда достаточно доказал свою просвещенность и любезность. — Сделайте одолжение, об'ясните мне, что за магазин открыла ваша супруга на Невском?

— Модный магазин,—сказал Кирсанов.

— Но с какою целью открыт он, это важно.

— С обыкновенною целью всех модных магазинов, торгующих дамскими нарядами.

Просвещенный муж посмотрел на своего гостя с внимательной мыслью; Кирсанов посмотрел на просвещенного мужа тоже с внимательной мыслью; просвещенный муж, смотря с внимательной мыслью, увидел, что гость, с которым ему приятно было познакомиться,—человек прижимистый, на которого надобно напирать плотнее.

— Я должен вам сказать, г. Кирсанов (почему просвещенный муж вдруг забыл имя и отчество своего гостя?), что о магазине вашей супруги ходят невыгодные слухи.

— Это очень может быть: у нас любят сплетни; магазин моей жены имеет некоторый успех, может быть, есть в ком зависть к нему,—вот вам и об'яснение. Но любопытно бы знать, какие ж это невыгодные слухи. Сплетни о модных магазинах чаще всего состоят в том, что они служат местами любовных свиданий. Не это ли ужь? Но это была бы чистая нелепость.

Просвещенный муж снова посмотрел на Кирсанова с внимательною мыслью и убедился, что его гость—человек не только прижимистый, но и очень прижимистый.

— Помилуйте, Александр Матвеевич, кто же смеет оскорблять такою клеветою вашу супругу? И вы, конечно, много выше подобных подозрений. И притом, если бы слухи, о которых я говорю, относились к этому, мне не было бы причины искать вашего знакомства, потому что подобными вещами нет надобности заниматься людям серьезным. Но я желал с вами познакомиться, потому что, высоко уважая пользу, приносимую государству вашей ученой деятельностью, я бы желал быть вам полезен, и потому позвольте мне просить вас, Александр Матвеевич, будьте осторожнее. Обществу и, могу сказать, самому государству драгоценны такие ученые деятели, как вы, потому что процветание науки—первая потребность благоустроенного государства, и потому они должны, Александр Матвеевич,—могу сказать более,—обязаны беречь себя.

— Насколько я сам о себе знаю, я не делаю ничего такого, что противоречило бы моей обязанности перед обществом и государством беречь себя.

Просвещенный муж снова посмотрел на Кирсанова с внимательной мыслью и увидел, что его гость человек не только прижимистый, но и закоснелый.

— Будем говорить прямо, Александр Матвеевич,—к чему людям просвещенным не быть между собою вполне откровенными? Я сам в душе социалист и читаю Прудона с наслаждением. Но...

— Позвольте сказать несколько слов, чтобы не оставалось между нами недоразумений. Вы сказали, что вы социалист. Это вы, вероятно, относили ко мне. Почему вы думаете, что я социалист? Может быть, вовсе нет,—кроме социалистов есть последователи Сэ, есть последователи исторических воззрений Рау, есть последователи множества различных других направлений в политической экономии. Для причисления человека к последователям одного из них надобно иметь какие-нибудь основания.

— Я имею те основания причислять вас, г. Кирсанов, к социалистам, что мне известно устройство магазина вашей супруги.

— Это устройство [одобряют] последователи всех направлений, когда они говорят серьезно. Некоторые из них — и теперь ужь очень немногие—нападают на него тогда, когда ведут полемику против последователей какого-нибудь другого направления, смотря по надобности. Но нападают только тогда, когда ведут полемику. В спокойном, чисто-ученом изложении не отваживается не признавать его безопасность и полезность для общества решительно никто из знающих о политической экономии. Если я говорю неправильно, прошу вас указать мне хоть один пример противного.

— Г. Кирсанов, мы знакомились не для ученых споров. Вы согласитесь, что мне некогда ими заниматься. Магазин вашей супруги, г. Кирсанов, имеет вредное направление, и я бы советовал вашей супруге и в особенности вам быть осторожнее.

— Если он вреден, то его надобно закрыть, а нас отдать под суд. Но мне любопытно было бы знать, в чем же состоит его вред.

— Да во всем. Начнем хотя с вывески. Что это такое «Au bon travail»?—Это прямо революционный лозунг.

— В переводе это будет означать: «магазин хорошей работы»—какой тут революционный смысл, что модный магазин обещает хорошо исполнять заказы, я не понимаю.

— Смысл этих слов не так прост. Они означают, что надобно все магазины так устроить, тогда только будет хорошо рабочему сословию. И само слово travail—это ясно, взято из социалистов; это революционный лозунг.

— Мне кажется, что с тех пор, как французы стали пахать землю, а раньше того охотиться за зверями, они ужь занимались какою-нибудь работой и не могли обходиться в своих разговорах без этого

слова,—оно очень давнишнее, лет на тысячу старше всех социалистов, уверяю.

— Но к чему помещать какие-нибудь слова на вывеске? «Модный магазин такой-то»—и довольно.

— Вывесок с разными девизами очень много на Невском. Au pauvre Diable, A l'Élegance,—мало ли? Потрудитесь проехать по Невскому, вы увидите.

— Мне с вами некогда спорить. Я вас прошу заменить эту вывеску другою, на которой было бы просто «модный магазин такой-то». Такова прямая выс[очайшая] воля, которая должна быть исполнена.

— Я не спорю, я говорю: это будет сделано. Но, принимая перед вами за мою жену обязательство исполнить это, я должен сказать, что эта смена сильно повредит денежным интересам предприятия. Этот вред двоякий: во-первых, смена фирмы отнимает значительную часть торговой известности, возвращает коммерческое предприятие далеко назад в отношении торгового успеха; во-вторых, моя жена носит мою фамилию, моя фамилия русская, русская фамилия на модном магазине уже значительно подрывает его. Денежные интересы моей жены сильно пострадают. Но она покорится необходимости.

Просвещенный муж задумался с истинным участием.

— Ваш магазин есть коммерческое предприятие? Эта точка зрения заслуживает внимания. Администрация должна охранять денежные интересы и покровительствовать развитию торговли. Но можете ли вы уверить меня честным словом, что магазин вашей супруги есть коммерческое предприятие.?

— Даю вам честное слово, да. Он—коммерческое предприятие.

— Скажите, что можно сделать в облегчение денежной потери, которой, к сожалению, необходимо должна подвергнуться ваша супруга? Все возможные средства для смягчения этого неизбежного удара будут допущены мною с готовностью, могу сказать больше: с удовольствием. Но вы понимаете, эта вывеска не может остаться.

— Мне приходит в голову вот что. В вывеске революционно, неудобно слово travail, оно должно быть заменено именем моей жены. В этом состоит требование общественной пользы?

— Да.

— Я нахожу возможным исполнить это требование, важность оснований которого я вполне ценю, избегнув № 2 из двух невыгод страшного удара, который нанесло бы магазину выставленное на нем имя с окончанием off. Имя моей жены—Вера. Можно перевести это на французский язык словом foi; если оставить слово bon, ограничив эту смену только размером необходимости, относящейся собственно к слову travail, то на этой вывеске будет: A la bonne foi—«добросовестный магазин», но во французской надписи будет даже оттенок консерватизма, соответственно смыслу foi—вера,

который будет в противоположность тенденциям отрицательного характера.

Просвещенный муж задумался.

— Это вопрос важный. На первый взгляд ваше желание, Александр Матвеевич, представляется возможным. Но я в настоящий момент не должен давать вам решительного ответа, надобно зрело обдумать это.

— Я позволю себе высказать правильно мою мысль: конечно, и в [частных] людях обыкновенно быстрота решения и зрелость его— условия нелегко соединимые, но я никогда не сомневался, встречая в жизни людей со взглядом, с одного раза обнимающим все стороны вопроса, формулирующим совершенно верно и зрело окончательный вывод, [что] это талант по существу административный.

— Я требую у вас только несколько минут,—глубокомысленно сказал просвещенный муж,—несколько минут мне действительно необходимы.

Несколько минут прошло в глубоком молчании.

— Да, я теперь обдумал все стороны вопроса; ваш компромисс может быть принят. Вы понимаете грустную необходимость более или менее нарушить ваши интересы в интересах общества,—могу сказать больше: в интересах общественного благоустройства; но точно так же я жду от вашего беспристрастия, Александр Матвеевич, признания готовности моей сделать все возможное для возможного смягчения необходимой меры.

— Будьте уверены, что я ценю одинаково и важность принимаемой вами меры, и вашу заботливость о возможном охранении наших частных интересов.

— Итак, мы расстаемся дружелюбно, Александр Матвеевич, это очень меня радует, как признание моей готовности служить смягчающим посредником между государственной необходимостью и частными интересами, так и в особенности по моему уважению к вам, как к одному из наших лучших ученых, которыми так должно дорожить общество,—могу сказать более: которых так уважает правительство.

Просвещенный муж и ученый, им уважаемый, с чувством пожали друг другу руку.

Довольно долго Вера Павловна и ее муж находили себе источник частого удовольствия в размышлениях о том, как общество—можно сказать более: общественное благоустройство было спасено от опасности заменою слова travail словом foi и соответственно к тому сменою в роде прилагательного имени на одной из многих тысяч вывесок Невского проспекта. Но в сущности дело было вовсе не шуточное. Магазин отделался на этот раз очень легко; это так, но как никак, а все-таки ясно было, что надобно поприжаться и поприжаться, заставить забыть о себе, что теперь—теперь надолго— нечего ужь думать о развитии предприятия, которое так и просилось

итти вперед, что высшее возможное счастье надолго должно будет состоять в том, чтобы продолжать существовать так себе, на многие месяцы, вероятно, не на один год отказавшись от расширения дела. Это было тяжело. Но ведь и то сказать, разве это не предвиделось? Хорошо и то, что дело успело без помех развиться хоть настолько, ведь помехи могли явиться и гораздо раньше; хорошо и то, что помехи проявились только в остановке, а не в разрушительном характере,—ведь можно было ждать и разрушения.

Само собою разумеется, что внимание, раз обращенное на магазин, не отвращалось. Но в магазине действительно не было ничего кроме тишины и порядка, благонравия и благоустройства. Поэтому деятельность внимания ограничивалась собственно вниманием, действие внимания ограничивалось тем, что надобно неподвижно оставаться на том месте, где оно застало, своей неподвижностью покупая продолжение своего существования.

Окончание вышеприведенного отрывка помещено на полулисте № 53 черновика. Вот оно:

Но от этих вещей нельзя отделаться никак, если раз они вздумали прицепляться, а они вздумывают прицепляться всегда, ко всему: если б я вздумал например, пожалуй, гулять по Невскому, кому-нибудь непременно вздумалось бы думать о том, зачем дескать он гуляет по Невскому? Что это значит?—Но я не гуляю по Невскому, потому кому-нибудь ужь наверное вздумалось: его никогда не видели гуляющим по Невскому—что это значит? Вы не подумайте, что я шучу—нисколько; и не предположите, что я, может быть, ошибся в своем «наверное»—нет, это я только для смягчения выразился «наверное», а я это положительно знаю, у меня на это есть доказательства, и я по чистой правде вам говорю, что вот ужь три года ни одного дня не проводил я без тяжелых размышлений о том, как мне быть по вопросу—гулять или не гулять мне по Невскому. Я б, пожалуй, и стал гулять, хоть этого вовсе мне не хочется, но по зрелом размышлении я убедился, что от этого дело выйдет еще хуже—«раньше не гулял, начал гулять,—что это значит»? Ведь это ужь еще гораздо более скомпрометировало бы меня. И если человек, который ведет такую жизнь, что ни о чем вовсе нельзя задумываться, кроме того, что он не гуляет (или гуляет, это все равно относительно удобства взятия за тему для размышлений и вывода предположений), если такой человек все-таки вот ужь несколько лет служит предметом размышлений и предположений, то ужь никак не избавиться от этой судьбы Кирсанову, у которого жена открыла на Невском магазин.

Таким образом по временам стал заезжать к нему медик, лечивший тогда высушиванием, и высказывал ему свое уважение, и советовал ему быть спокойным, и советовал ему быть осторожным; и все это было очень любезно, и действительно было очень доброжелательно как со стороны медика, лечащего высушиванием, так

и вообще со стороны просвещенных мужей, которые действительно были и просвещенные, и добрые, и благожелательные, и доброжелательные люди, не желающие никогда никому вреда и никакого стеснения.

И вправду сказать, ни вреда, ни стеснения Кирсанову не было.

На мастерской это отзывалось тем, что она продолжала существовать, конечно, не развиваясь, а стараясь по возможности сжиматься, но все таки продолжала существовать,—значит, и на ней доброжелательство отзывалось хорошими, а не дурными результатами, и на ней оно оказывалось действительно доброжелательством и, можно сказать, даже охранением ее от всякого вреда.

Однако, если дело не могло теперь расширяться, то все таки стало можно ему продолжать устраиваться лучше и лучше. Конечно, и в этом надобно было соблюдать осторожность, чтоб заметные успехи не побуждали на недоверчивость; конечно, и сама остановка расширения должна была много задерживать развитие, потому что в этих вещах увеличение внешних размеров и увеличение средств для усовершенствования внутренней стороны очень тесно связаны между собой; но все таки, хоть гораздо медленнее, чем могло быть при других условиях, дело успевало.

В каком положении было оно года три-четыре после слияния двух мастерских, это рассказывает письмо одной девушки, которая познакомилась около этого времени с Верой Павловной.

* * *

На том же полулисте № 53 имеется следующее место, помеченное 2 марта.

Через два дня была свадьба, а накануне Бьюмонт и его невеста просидели до поздней ночи у Кирсановых. Рассказывая по требованию новых знакомых свою жизнь, Бьюмонт начал прямо с своего приезда в Соединенные Штаты и говорил о своих приключениях с большими подробностями. По приезде он занялся газетною работою, потом действительно поступил в контору Ходчсон, Лотер и К° и оттуда попал в Петербург действительно тем самым путем, о котором Кирсановым было уже известно по его короткому рассказу. Значит, во всяком случае, эта часть его автобиографии достоверна.

Два семейства стали чрезвычайно близки и остаются в такой же тесной дружбе и до сих пор.

Если б я писал роман, [тут] он и был бы кончен мною; но я не имею претензии писать роман,—для этого нужен был бы талант, которого у меня нет; я просто рассказываю о жизни одного из моих добрых знакомых и людей к нему близких то, что мне кажется не лишенным интереса, а может быть и пользы для публики; и потому я должен еще прибавить несколько страниц.

И во-первых, мне нужно об'ясниться с публикою о том, до какой [степени] участием в моем рассказе вымысла излагаемое в нем изменено против того, как было на самом деле. Само собою разумеется, что лицам даны имена моего изобретения, и, как видит читатель, ужь эта сторона моей изобретательности показывает, что нельзя искать в моем рассказе большой дозы вымысла: я и фамилии то не умел придумать так, чтобы быть самобытным изобретателем,—должен был взять слова, какие попались, и приделать к ним окончания, предлагаемые для этой цели грамматикою и т. п.,—лопух-ов, полоз-ов,—даже и на это не хватило моего творчества: пришлось сделать прямое заимствование из географических данных любезного отечества и окрестить одного—второго—мужа Веры Павловны Кирсановым по готовому имени городаКирсанова,—после этого, кичиться напрасно,.................... [1] и если я мог выдумать порох, то в сущности разве только выдуманный порох: не так то изобретателен на выдумки.

Да, все существенное в моем рассказе—факты, пережитые моими добрыми знакомыми. Разумеется, я должен был несколько переделать эти факты, чтобы не указывали пальцами на людей, о которых я рассказываю, что дескать вот та, которую он переименовал в Веру Павловну, по настоящему зовется вот как, а второй муж ее, которого он переместил в Медицинскую академию,—известный наш ученый такой-то, служащий по другому, именно вот по какому ведомству.

Но все эти перемены чисто внешние, за исключением одного: главный факт происходил гораздо проще, чем я его рассказал, так что если б я его рассказал точно так, как он был, то и не пришлось бы мне приписывать Рахметову отзыв, что этот факт имел мелодраматическую форму [2],—Рахметов этих слов не говорил, потому что на самом деле все обстояло гораздо менее эффектно.

Зачем же я придал эффект и сочинил и выстрел, и пропажу? Не из охоты к эффектам, нет, а только для тебя, та часть публики, которая нашла в моем рассказе что-нибудь новое для себя, я для тебя должен был завить и закудрявить истинный ход дела, потому что тебе [он] показался бы ужь слишком прост, то есть по твоему груб, прозаичен, безнравствен. Ведь и с прикрашивающими смягчениями мой рассказ кажется тебе все таки довольно безнравственным,—так что ж бы ты сказала, если б я стал прямо рассказывать тебе с самого начала, что на самом деле и следует делать, и делают порядочные люди еще гораздо проще, и гораздо меньше убиваются, и гораздо непрерывнее сохраняют между собою свою дружбу, как бы ни изменялись их отношения. На первый раз, я подрумянил для тебя факты, ведь по твоему только румянам принадлежит нрав-

---

[1] Неразборчиво. *Н. А.*
[2] Несколько слов трудно разобрать. *Н. А.*

ственность,—сделал это для того, чтоб ты не называла меня учащим тебя ужь слишком большой безнравственности.

А впредь я этого не буду делать, потому что теперь ты ужь несколько подготовилась читать без ужаса и такие вещи, в которых с начала до конца лица будут показываться тебе без румян; я ведь и здесь в большей части рассказа вывожу их без румян, так ты ужь позволь мне в следующие разы и вовсе не прикрашивать хороших лиц румянами ни в каких обстоятельствах.

Есть в рассказе еще одна черта, придуманная мною: это мастерская. На самом деле Вера Павловна хлопотала над устройством не мастерской, и таких мастерских, какую я описал, я не знал, их нет в нашем любезном отечестве. На самом деле она [хлопотала] над чем-то вроде воскресной школы или—ближе к подлинной правде—вроде ежедневной бесплатной школы, не для детей, а для взрослых; но для хода самого рассказа ведь это все равно, а мне показалось, что вместо дела, более или менее известного, [лучше] описать такое, которое очень мало известно у нас.

Больше кажется не в чем мне об'ясняться. Начну ж досказывать то, что по моему мнению надо досказать.

Сообщил *Н. А. Алексеев.*

Примечания Н. Г. Чернышевского к переводу «Введения в историю XIX века».

Перевод (неоконченный) «Введения в историю XIX века» Гервинуса был одной из литературных работ Н. Г. Чернышевского в Петропавловской крепости. Он был занят ею с 31 марта по 7 апреля 1863 года, как показывают пометки на листах рукописи, хранящейся в Архиве Революции и Внешней Политики (Фонд III отделения Е. И. В. канцелярии. К делу Чернышевского. Делопр. № 1, листы 60—69). Мы печатаем все примечания Н. Г. Чернышевского, приводя из самого Гервинуса петитом те места, к которым эти примечания непосредственно относятся.

Н. А. Алексеев.

«Абсолютизм исполнил свое призвание: повсюду низверг власть аристократии, вредную для общества, пробудил в народах сознание единства национальным направлением своей политики, открыл всем классам более равномерный доступ к образованию, дал простор трудолюбию низших сословий защитою его от аристократических насилий и привилегий, проложил путь к мысли о всеобщей политической равноправности, ввел если не по форме, то по существу демократическое устройство. Абсолютизм подготовил демократию в тех странах, где теперь народные представительные собрания отняли у него самодержавие, и продолжает подготовлять ее даже там, где он еще сохраняет свою власть, считает нужным и воображает действовать в противность этому своему призванию». *(§: Абсолютизм нового времени):*

В этом отделе о роли абсолютизма у Гервинуса чрезвычайная спутанность понятий, которая, впрочем, господствует в большей части исторических и публицистических рассуждений об этом предмете. Взгляд более верный, хотя все еще не совершенно свободный от прежнего заблуждения, высказан, например, Боклем в «Истории английской цивилизации». Не зная, удастся ли нам написать к этой книге Гервинуса дополнение, которое мы желали бы написать, мы пока просим читателя обратить внимание на коренную мысль Бокля, что история движется развитием знания. Если дополнить это верное понятие политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни, то получим полную истину: развитие двигалось успехами знания, которые преиму-

щественно обусловливались развитием трудовой жизни и средств материального существования. Влияние других исторических элементов было по преимуществу регрессивным.

«В начале средних веков римская всемирная империя была для новых поколений единственным примером и блестящим примером. Мысль о ее восстановлении становилась мечтою честолюбия первых завоевателей Италии. Карл Великий осуществил её в своем громадном государстве, границы которого почти совпадали с границами христианского мира. После того целые столетия она продолжала существовать, как политическая задача и сохранилась до сих пор, как политическая фикция. К этой идее римской империи, светского всемирного царства христианский Рим прибавил идею духовного всемирного царства, когда, по распространении ислама, потребность христианского мира об'единиться создала в Риме духовный центр для всех христиан. Если бы императорская и папская власть могли войти в союз, в немецко-римской всемирной западной империи могло бы произойти то же самое, что произошло в восточной, византийской империи, где духовная и светская власть соединялись в одном лице. Тогда властелин, облеченный этою двойною властью, был бы вдвое могущественнее и соединял бы христианские силы на всемирную борьбу крестовых походов гораздо плотнее, чем они собирались без того; в центре Европы, в Италии и Германии, возникла бы такая монархическая власть и такое государственное единство, которые послужили бы чрезвычайно сильным препятствием свободному национальному и политическому развитию всей Европы». *(§: Стремления к всесветному владычеству).*

Манера рассуждения, также очень часто встречающаяся у историков и публицистов. Будто так легко решить, вредно или полезно было бы то, что не осуществилось, потому что не было возможно. Положим, Германия и Италия в X—XI веках составляли одно государство. Оно действительно было бы гораздо сильнее всякого другого отдельного государства. Но что ж из того? Вредно или полезно было бы это развитию? Во-первых, другие государства могли бы отстаивать свою независимость союзами; может быть, успевали бы отстаивать ее и порознь,—ведь защищаться гораздо легче, чем завоевывать. Но положим, и не отстояли бы, что ж из того? Было бы очень много систематического, законного стеснения развитию; зато было бы несравненно меньше междоусобиц и беспрестанного грабежа по кулачному праву,—может быть этою выгодою перевешивалась невыгода? Но главное, ведь все это чистая фантазия,—а между тем, из нее делается вывод: следовательно, то, что было, было очень хорошо для интересов развития. Если не было лучшего, значит не могло быть; но все-таки это не должно мешать видеть, что то, что было, было очень плохо.

«Видя такие успехи,—видя, что, при всей наклонности испанского народа к дроблению и обособлению, Фердинанд и Изабелла соединили раздробленую страну и в короткое время соединили в одно управление *четыре* королевства (не считая неаполитанского), даже республиканец Макиавелли признал, что абсолютизм государя приносит великие выгоды государству и народу. Ради цели он извинял средства,

общенародная выгода заставляла его прощать дурные стороны дела, и он угадал дух новой истории, предсказав при самом рождении абсолютизма, что для основания нового государственного порядка на развалинах отживших средневековых форм необходима эта единодержавная неограниченная власть, что она даже будет благотворна, если не продлится слишком много времени, а будет подготовлением к владычеству закона, школою для свободы; этим резким теоретическим афоризмом он высказывал вывод из опыта, уже бывшего в древней истории. Конечно, не мог же он, прославляя в особенности новую власть Фердинанда, предвидеть, что именно Испания раньше других государств испытает тот факт, что королевский абсолютизм излишнею продолжительностью и преувеличенностью своею обратится во вред, более тяжелый, чем каким было господство аристократии,—что потом это испытают и все другие страны». *(§: Роль королевского абсолютизма при основании испанской монархии).*

Тут опять такая же спутанность понятий, как в предшествовавшем отделе о значении абсолютизма. При данных обстоятельствах должна возникнуть известная историческая форма,—вот суждение, приличное историку. Если ему угодно прибавить свое суждение о том, полезна или вредна была эта форма в свое время, он должен рассмотреть, какими особенностями обстоятельств было произведено то, что явились особенности, которыми эта форма отличается от других. Народы стремились к национальному единству и благоустройству,—тут еще нет ничего особенного, характеристичного для той или другой формы. Но это стремление видоизменяется разными местными и временными условиями. Каковы эти особенности, такова и форма, принимаемая государственным устройством. Хороши они—и оно хорошо; дурны они—и оно дурно. А Гервинус, по обычаю большей части историков, смешивает общую черту стремления с особенностями, которыми она видоизменяется, и переносит на форму, порождаемую этими особенностями, то суждение, которое внушается ему симпатиею или антипатиею к общему стремлению. Чтобы не углубляться в политику, поясним дело примером из другой сферы народной жизни. У всех народов существует стремление к справедливости. Из него возникают, между прочим, уголовные законы. Но они у разных народов и в разные времена очень различны. Их различие происходит уже не из самого стремления к справедливости, а из особенных обстоятельств народной жизни. При одних условиях являются законы, постановляющие жечь ведьм, при других—наказывать того, кто жестоко поступает с лошадью. Историк обязан показать, из каких особенностей народной жизни явился тот закон и другой закон. Если ему угодно иметь суждение о степени достоинства того или другого закона, пусть он рассудит, хороши или дурны особенные условия, [в силу которых] возник закон; а историки,—в том числе и Гервинус,—вместо этой солидной оценки прямо переносят на частный закон свое мнение о стремлении к справедливости; это, конечно, гораздо легче, но из этого выходит вздор, сбивающий с толку их и их читателей. «Закон

о сжигании ведьм удовлетворял стремлению англичан XV века к справедливости; следовательно он был полезен в XV веке»—да нет же: он удовлетворял не общему стремлению к справедливости, а омраченной невежеством трусливости; может быть он и был полезен для XV века, но основание для суждения взято неверное. Или: «закон, наказывающий за жестокое обращение с лошадью, удовлетворяет стремлению к справедливости в англичанах XIX века; следовательно он полезен в XIX веке»,—да нет же, он удовлетворяет не общему стремлению к справедливости, а особенному виду добродушия; может быть он полезен для XIX века, но опять основание для суждения взято неверное.—Из этого смешивания общих стремлений с основными условиями, видоизменяющими их, возникает восхваление всего и порицание того же самого без разбору; все признается за хорошее, пока растет, усиливается, и все признается за дурное, когда ослабевает. Пока абсолютизм рос, он, по мнению Гервинуса, был хорош; теперь он в западной Европе слабеет,—следовательно теперь он дурен по мнению Гервинуса. Эта манера рассуждения— очень любимая историками, но совершенно недостойная науки. Возрастанием известной формы доказывается только, что обстоятельства благоприятствуют ей; упадком ее только то, что они не благоприятствуют ей. Обстоятельства могут быть благоприятны дурному, неблагоприятны хорошему. В XV веке обстоятельства благоприятствовали одинаково в Испании и развитию морской торговли, и развитию инквизиции; называйте какой угодно из этих фактов полезным,—другой вы непременно должны назвать вредным, потому что он противоположен ему. Итак, некоторые из фактов, развивавшихся в XV веке, были полезны, другие вредны. В XIX веке обстоятельства благоприятствуют в Англии развитию обществ трезвости и развитию употребления опиума,—вероятно один из этих фактов противоположен другому; благоприятствуют повсюду и упадку жестокого обращения мужей с женами, и упадку правильной семейной жизни; кто радуется одному из этих упадков, не может радоваться другому. Что является, то является по необходимости; что исчезает, исчезает по необходимости; если в известное время еще нет известного явления, значит оно еще невозможно; если в известное время уже нет известного явления, значит оно уже стало невозможным. Но совершенная нелепость заключать из этого: «итак, оно было бы вредно в те времена»—оно только невозможно. Было ли бы дурно, если бы на Шпицбергене росли ананасы? Это было бы очень хорошо; если они там не могут расти, из этого не следует, что вредно было бы есть ананасы жителям Норвегии, которые получали бы их из Шпицбергена. Это все выводы из таких фантазий, которые неприличны для людей с здравым смыслом.

(Абсолютизм явился в XV веке, а в XII его не было,—значит, не могло быть; но как же говорить, что в XII веке он был бы вреден.

Это фантазия. А если это фантазия, то фантазия и то, что)[1]. Разбирайте характер сил, которыми производится факт, только тогда вы в праве судить, хорош он или дурен; а усиление или ослабление его вовсе не мерка для его достоинства.

«Вспомним же, что эта всесветная корпорация была в безусловной зависимости от наместника Христова, которому присваивались божеские произвол и непогрешимость,—и мы увидим, что даже в конце средних веков эта власть имела средства, почти достаточные для того, чтобы направлять всю государственную и умственную жизнь по узкому иерархическому взгляду; вспомним, что в начале XVI века она, вновь усилившись сама, действовала кроме того в союзе с абсолютизмом государей, в теснейшем единодушии с могущественнейшею из новых династий, была госпожею и повелительницею в римской империи немецкой нации,—и мы поймем, что начало XVI века было самым критическим временем для решения вопроса: будет ли Европа подавлена однообразным давлением иерархии или неограниченной власти государей,—или пойдет по пути национального и свободного развития» *(§: Папство. Духовная всесветная монархия).*

В теории папа приписывал себе огромную и всесветную власть, это правда. Но очень скучно читать, когда серьезно расписывают его будто бы действительное могущество соответственно этой теории. Мало ли какие теоретические фантазии и права не имеют действительной силы?—В титуле королей французских стояли слова: король иерусалимский и король кипрский; в титуле королей Карла I, Карла II, Иакова II английских стояли слова: «король французский»,—не внесли ли бы мы в историю совершенно фантастическую путаницу, если бы стали на этом основании рассуждать, какие выгоды извлекал Людовик XIV при постройке флота из прекрасных своих Ливанских лесов, из гаваней Бейрута и Яффы; с каким удовольствием французы повиновались явному католику Иакову II и тайному католику Карлу II,—да ведь этого не было, ведь эти претензии оставались пустыми словами.—Власть папы в Европе всегда очень похожа была на власть Верховного Союзного Суда Соединенных Штатов: по теории ему приписывалась громаднейшая политическая сила, он был решителем всяких политических споров, господствовал над конгрессом и президентом; кому нравилось упражняться в реторике, тот писал пышные рассуждения об этом. Можно было подбирать факты в подпору реторике: Союзный Суд произнес несколько решений в пользу плантаторских прав над невольниками против северных штатов; конгресс преклонялся перед этими решениями, президент приводил их в исполнение, как покорный служитель «верховного органа справедливости в Союзе». Точно так папа говорил французскому королю: «повелеваю тебе уничтожить орден тамплиеров, впавших в ересь»; говорил Симону Монфору: «повелеваю тебе истребить еретиков

---

[1] Взятое в скобки в оригинале зачеркнуто.

альбигойцев»; немецким герцогам: «повелеваю вам восстать на вашего императора Генриха IV» и т. д., и это исполнялось. Вот и довольно материалов для реторики. Но в чем действительная штука? Союзный Суд Соединенных Штатов был орудием, ничтожным и раболепным орудием плантаторского большинства конгресса и плантаторского президента; они поручали Союзному Суду облекать в юридическую форму их волю; Союзный Суд с удовольствием делал это, потому что состоял из плантаторских юристов. То же с папою; Филиппу Прекрасному, Симону Монфору, немецким герцогам хотелось сделать то, что они сделали; у них были силы, нужные для того; никто из них не церемонился грабить католическую иерархию и ослушиваться папы; но если в данном случае можно получить одобрительный аттестат своему поведению от папы, то почему не взять от папы такой аттестат? и брали, как конгресс и президент от Союзного [Суда]; это была пустая юридическая формалистика,— разумеется, не лишенная приятности и выгодности для тех, кто ею пользовался; вообще, когда имеешь фактическую силу, то не вредно иметь и пергамент, на котором чьею бы то ни было рукою написано «похваляю и одобряю». И эту комедию лицемерного добывания аттестатов от папы принимают за серьезное содержание истории!—и ораторствуют: «папа! папа! папа!»—скучно и смешно. Разумеется, католичество имело некоторую действительную силу, глава католичества—папа, конечно, тоже: все, что существует, имеет какую нибудь действительную силу,—даже королева Виктория в Англии; даже покойный ее супруг добывал ордена и генеральские чины раньше срока офицерам своего штата,—впрочем, точно, хорошим офицерам. Но ведь смешон был бы историк, который принял бы за выражение действительности оффициальные формулы—«я, королева Виктория, об'являю войну богдыхану китайскому»; известно, что войну ему об'явил Пальмерстон; «я, королева Виктория, назначаю виконта Пальмерстона министром»,—его назначила министром палата общин; «я, королева Виктория, повелеваю отменить пошлину с привозного из-за границы хлеба»—пошлину отменили фабриканты. Это не мешает королеве Виктории иметь *некоторое* влияние на английские дела, но влияние ее—совершенно второстепенное; в сущности ей принадлежит только *почет*, формальное уважение. Таково же всегда было в сущности (и остается) положение католичества и его главы, папы: почет, формальное уважение, без действительной силы. Отчего это? Существовала (и продолжает существовать) известная теория, совершенно не сходящаяся с жизнью, а служащая только для размышлений, для упражнений в поэзии,— католичество и папа—олицетворение этой теории. Сидит какой-нибудь французский или немецкий поселянин с женою и с детьми у камина или у печки и мечтает: «мы католики, мы обязаны, как католики, делать вот как: не дорожить земными благами и самою жизнью, прощать обиды врагам, не брать лишнего за товар» и

т. д.; пока они мечтают, сидя у печки или у камина, оно так и есть, и по этим мечтам начальник над ними—католический священник, а царь над ними—папа. Но входит к ним действительная жизнь в лице сельского начальника, говорящего—«барон требует подати,—не заплатите, он вас выгонит из избушки или вздернет на виселицу», или выходят они сами в действительную жизнь, отправляясь на рынок продавать свой хлеб,—мечты разлетелись, перед ними барон и покупщик, они стараются взять подороже с покупщика, повинуются барону, священник и папа исчезли из их мыслей, как сонные грезы. А впрочем, грезы имеют некоторое влияние и на действительную жизнь. Так теперь, так и всегда было. Человек всегда был человеком, даже и в средние века. Тогда он фантазировал несколько побольше на тему «папа», теперь несколько поменьше. Но в сущности, история католичества принадлежала всегда к истории поэзии, а не собственно к политической истории. В политической истории те же лица, та же корпорация—папы, прелаты, аббаты, католические монашеские ордена и белое духовенство—играли совершенно другую роль; все равно как Кювье был геолог и в качестве геолога нимало не заведывал французскою администрациею, а с тем вместе был членом государственного совета и в этом качестве был, говорят, очень дельный администратор; как Ньютон был отличным директором монетного двора и чеканил прекрасные гинеи, кроны, шиллинги, пенсы без всякого отношения к своим трудам по части астрономии; или как Гете был министром и, говорят, плохим министром; и Вильгельм Гумбольдт, бессмертный автор «Исследования о языке кави на острове Яве», тоже был, говорят, хорошим посланником и министром; и Нибур был отличным финансовым администратором. Не смешно ли было бы, основываясь на этих фактах, толковать об административном значении геологии во Франции в 1820—1830 годах, астрономии в Англии в конце XVII и начале XVIII века, поэзии и филологии и науки римской истории в Германии в конце XVIII и начале XIX века? А ведь, пожалуй, можно: все эти великие ученые возвысились по административной части за свою ученую репутацию; важность мест, занимаемых ими в царстве науки, дала им важные места в государственной администрации; и Гете сделался министром исключительно благодаря своей поэтической важности.

Точно так же ученая известность, богословская известность всегда доставляла (и доставляет) людям влияние на администрацию,—почему ж не назначить Фенелона, такого доброго и отличного человека, воспитателем дофина? Почему не поручить Боссюэту, такому отличному аргументатору, составлять деловые записки? Конечно, епископское звание Фенелона и Боссюэта несколько отразится на их педагогической или дипломатической деятельности, но лишь *несколько*, очень второстепенным образом: в сущности

Фенелон, как воспитатель дофина, будет действовать не как епископ, а как человек честный и мягкий, чуждающийся интриг, а Боссюэт — как проныра, угождающий прихотям двора; поэтому они становятся в противоположные лагери, и Боссюэт подкапывается под Фенелона. Это одна сторона значения духовных лиц в политической жизни. Она не имеет почти ничего общего с историею церкви кроме того, что церковная известность или важность дает человеку рекомендацию для политической деятельности, и этот человек ведет свою политическую деятельность по своему природному характеру, по своим личным расчетам, по своим нравственным или политическим убеждениям,—по элементам, не имеющим никакой особенной связи с его духовным саном, с католичеством и папою. Знаменитейшие представители этой роли духовных лиц в новом государстве—кардиналы Ришелье и Мазарини, поддерживавшие протестантскую Европу против католической. В их государственной деятельности столько же кардинальского или духовного, сколько в деятельности герцога Веллингтона (вынудившего у торийской верхней палаты согласие на дарование политических прав английским католикам) или сэра Роберта Пиля (который, будучи сам вынужден к тому вигами и О'Коннелем, заставил Веллингтона сделать это). Средние века наполнены такими администраторами.

Кроме администраторов с духовными титулами, были государи с духовными титулами. Они отличались от государей со светскими титулами двумя чертами. Во-первых, они были безбрачны. Поэтому их семейная жизнь никогда не имела законного нравственного характера, какой иногда имела семейная жизнь светских государей,—вообще была несколько скандальнее; но лишь *несколько*, потому что вообще любовницы бывали и у светских государей, а наложницы у государей с духовными титулами были ужь будто законными лицами придворного штата. Во вторых, государи с духовными титулами реже сами командовали войсками в походах, чаще поручали звание главнокомандующих своим генералам. Но обе эти черты разницы—черты нравов, обычаев, а не черты административного или политического различия. Государи с духовными титулами были совершенно светскими государями в своей политике.

Что остается затем? Все-таки остается масса католического духовенства, не имеющего независимых владений и административных должностей. Оно составляет разные корпорации; маленькие местные—капитулы кафедральных церквей и монастырей; большие, повсеместные корпорации—католические монашеские ордена. Каждая из них одушевлена своим корпоративным интересом; интерес этот совершенно житейский, мирской, светский: материальное благосостояние, богатство, роскошь, почетное положение в обществе, благосклонность сильных людей. О католичестве тут столько же речи, сколько между манчестерскими фабрикантами или нашими казанскими купцами. Но нет, не так: заботы ровно столько же,

а речей гораздо больше. Надобно же говорить о чем-нибудь; манчестерские фабриканты говорят, что Манчестер—душа вселенной, и они служители всяческого прогресса; казанские купцы, что Казань—первый город в России после столиц, и если есть в ней коммерческий клуб (чего я не знаю), то что общество, собирающееся в этом клубе играть в преферанс,—отличнейшее общество; у католических духовных корпораций речь о том, что католичество—отличная вещь. Но все это только праздные речи: карман и желудок гораздо интереснее прогресса для манчестерских фабрикантов, коммерческого клуба (может быть, даже еще и не существующего) для казанских купцов и католичества—для этих корпораций. Слишком большая наивность — серьезно слушать эти речи, да еще писать патетические страницы о них в исторических сочинениях. Когда интересы корпораций сталкиваются, корпорации борятся, расходятся во враждебные лагери. В Германии, например, один орден отбивает у другого выгодную продажу индульгенций,—обиженный орден переходит на сторону Лютера. Все, что выгодно, захватывается каждою корпорациею. Доминиканскому ордену представился выгодный случай захватить в свои руки инквизицию—он жжет еретиков и толкует о строгой верности догматике. Но что же тут особенного?—Чиновники с светскими названиями должностей делали бы точно то же, точно так же усердно. Другой орден рождается после; видит, эта часть уже захвачена—не отобьешь ее у доминиканцев; а вот, можно получать тоже порядочные выгоды на должностях духовников; духовники нравятся снисходительные, гибкие, прощающие и разрешающие все,—и поэтому иезуиты проповедуют: все пустяки—и догматика пустяки, и нравственность—вздор, «благословляю на вся»,—и тут нет ничего особенного,—обыкновенное угодничество горничных и камердинеров к своим господам и госпожам; слово «камердинер» заменилось в известных случаях словом «иезуит»; для известных должностей имя иезуит служит хорошею рекомендациею—только; парикмахера надобно брать из Парижа, телохранителя—из Швейцарии, духовника—из иезуитского коллегиума. Прекрасно. Но что ж из этого? Парикмахеры, швейцары существовали для господ, делали то, что угодно было или выгодно было господам; благодаря своему усердию и искусству в отправлении своих обязанностей жили в довольстве, пользовались известным почетом, могли помогать своим родственникам и приятелям устраивать тоже более или менее приятные карьеры. Но где ж их самостоятельное, оригинальное, независимое от воли господ влияние на историю? Разве моды прически головы создавались парикмахерами? Разве произвольная власть порождена по желанию телохранителей? То же и иезуиты. То же и доминиканцы.—«Причесывай голову, вот тебе плата за это»—«извольте, графиня, с удовольствием». «Жги мавров и жидов за еретичество, вот тебе плата за это»—

«извольте, Филипп II, с удовольствием». Парикмахеры, швейцары, иезуиты, доминиканцы—это явления очень интересные для психолога, для романиста в стиле Вальтера Скотта, но история двигалась не ими и никогда не зависела от них.

Если таким образом поразберем подробнее историческую роль католического духовенства, мы увидим, что оно было совершенно светским деятелем и в большей части того влияния своего, по поводу которого пишутся реторические рассуждения на тему «колоссальная сила католической церкви» в средние века или перед реформациею, или после в Испании и т. д. В одних случаях епископы, аббаты, монахи были только особенные имена придворных или администраторов, чиновников или служителей, ничем не отличавшихся от графов, придворных, бальи, управителей, людей служивших под светскими титулами; в других случаях, епископы и аббаты были совершенно светскими государями и владельцами; в третьих—авантюристами, прислуживавшими прихотям; в четвертых—рентьерами, заботившимися об исправном получении или увеличении своих доходов и проживавшими их в свое удовольствие. Что же остается за исключением этих чисто светских элементов? Какую роль имела католическая церковь, как духовное учреждение, и корпорация католического духовенства, как духовное сословие?

Историческое явление, называемое католичеством, по существу своему было известным направлением или настроением поэтического элемента в жизни масс. Это католичество не должно смешивать, конечно, с ученою догматикою, излагавшейся в богословских сочинениях. Она заключала в себе, между прочим, и те идеи, которыми составлялось народное католичество, но кроме того в ней было чрезвычайно много вещей, совершенно неизвестных массам; да и те вещи, которые были ей общи с понятиями массы, она понимала в смысле более или менее различном от их значения для массы. Основными чертами народной поэзии, называвшейся католичеством, были идеи: небесного правосудия, которое не требует содействия человеческого, чтобы сокрушить зло и дать победу добру; провидения, пути которого непостижимы; загробной жизни, в которой будет дано сторичное и вечное вознаграждение за всякую обиду, за всякое страдание на земле; терпения, требуемого покорностью перед провидением и надеждою на будущую жизнь; страдания, приближающего людей к вечному блаженству; отречения от земных благ для приобретения небесных, и т. д. Почему народная религиозная поэзия получила и сохранила такой характер, это вещь известная: люди чувствовали свою беспомощность против невзгод, чувствовали свое бессилие понять то, что делается вокруг них и над ними самими. Но если настроение их мечтательности произошло из этих данных, то, овладев их мыслями, оно в свою очередь стало поддерживать те черты их житейского и умственного положения, которыми было порождено. До какой степени сильно было это обрат-

ное влияние поэзии на жизнь,—вопрос мало исследованный; по поверхностному обзору представляется, что оно было сильно; но это впечатление противоречит общему принципу психологии, что сила воображения, мечты, поэзии очень невелика перед силою действительности. Лично я склоняюсь к мнению, что влияние было довольно слабо; но не смею выдавать этого за достоверную истину. А во всяком случае, более или менее слабое влияние существовало, с этим нельзя спорить. Спрашивается теперь: каково же было отношение этого влияния к интересам действительных (а не мечтательных) властей. Ясно, что оно соответствовало их интересу. Потому они вообще поддерживали поэзию, выгодную для них. Прямым образом, возделывание этой поэзии, ее охранение от критики, ее усиливание против холодности к ней, было специальностью духовного сословия, именно как духовного сословия. Таким образом, общий исторический факт состоит в том, что духовное сословие, как духовное сословие, проповедывало и действовало, сознательно или бессознательно, в интересах действительной власти, а эта власть—светская власть—покровительствовала такому учению и сословию пастырей, заботившемуся о его распространении, усилении, поддержании. Было много частных исключений из этого: духовные пастыри иногда становились демагогами, иногда проповедниками национальной борьбы против иноземцев,—что ж делать? Они были люди и увлекались иногда мотивами, противоположными характеру их звания и общих своих убеждений. Например, во время Лиги католические священники примыкали к демократам. Но эти были временные и местные исключения, не сглаживавшие общего характера, с каким является духовное сословие; говоря вообще, оно всегда было — по духу своих религиозных наставлений народу—слугою существующего порядка, предержащих властей [1].

«Но не успел Карл V исполнить свои планы для упрочения всесветного владычества своего дома, еще не успел и обдумать их, как не только *его* работа, но и гордое здание римского владычества в Германии были разрушены одним ударом. Соперничество папы с императором и теперь, как в средние века, много содействовало низвержению могущества их обоих; но главною причиною их падения и теперь, как прежде, была внутренняя невозможность слияния немецкой и римской натуры. Все в Германии возмущалось против двойного, испанско-итальянского ига: наука и жизнь, образованность и невежество, нравы и страсти, умственная свобода и фанатизм, интересы всех сословий, сверху и снизу от короля до мужика—весь дух немецкого народа. В скромных формах самое величественное содержание имеет

[1] Подобный же взгляд на роль пап и католической церкви Н. Г. Чернышевский развивал и позднее в письмах из Сибири от 15 сентября и 19 и 30 октября 1876 г. (см. *Чернышевский в Сибири*, переписка с родными, выпуск 2, СПБ, 1913), и в неоконченной статье о борьбе императоров с папами, писанной в астраханской ссылке и хранящейся в Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове. *Н. А.*

история этого немецкого движения с той поры, когда смелость и глубина мысли Лютера пробудила немецкий дух в церковной сфере,— повела нападение не на одну внешнюю жизнь папы, но и на его власть, и,—в чем была главная гордость реформатора,—на его учение, а вместе с его учением разрушила крепчайшую опору его силы на заблуждение и суеверие,—с этой поры до той, когда Мориц Саксонский в светской сфере побил императора по его же собственному методу и в несколько дней уничтожил замыслы и работу десятилетий этим движением, история сделала такой шаг вперед, какого не делала в целые столетия, проложила такой широкий путь, что человечеству понадобились целые столетия, чтобы вполне освоиться с новым своим положением, радостно сознать все, что приобретено им» *(§: Реакция реформации папству и императорству)*.

Само собою, что в этой реторике есть некоторая доля истины,— нельзя же выводить узоров без всякого фона; но фон истины очень беден тут сравнительно с пышными узорами реторики, выведенными на нем (не собственно изобретательностью самого Гервинуса, а совокупными трудами всяких полу-либеральных и полу-идолопоклонничествующих историков. Подробное замечание отложим до конца рассуждений Гервинуса о реформации).

«Открытие Америки и реформация с своими последствиями составляют существенное содержание внешней истории следующих столетий и обусловливают собою результаты перемен в их цивилизации. Романские и германские народы будто разделили между собою эти два великие факта. Колонизация Нового Света считалась сначала исключительным правом Испании и Португалии; целое столетие они одни вели это дело в широком размере. А реформация до сих пор осталась почти исключительно собственностью народов чистого немецкого племени» *(§: Открытие Америки. Реформация)*.

Можно судить о младенчествующем состоянии исторических идей в головах большинства историков уже по одному этому теоретизированию о «разделе двух великих фактов между двумя племенами»; Гервинус, к несчастью, не сам выдумал это,—такими штуками наполнены книги, сотни и тысячи томов. Начать хотя с Америки. Существенное влияние на ход всемирной истории Америка получает с конца прошлого века, с войны за независимость Соединенных Штатов. Единственная часть ее, существенно важная до сих пор для всемирной истории—все те же Соединенные Штаты. Этот народ, североамериканцы,—народ английский, немецкого племени. До войны за независимость Соединенных Штатов важнейший факт американской истории—история колонизации, из которой произошли Северо-американские штаты. Перед этим фактом все остальные имеют лишь второстепенное значение. Из этих второстепенных самые важные—перенесение картофеля и распространение табаку—принадлежат истории сельского хозяйства и нравов частной жизни, а не истории государственного быта, связь с которым у них очень далека. Что затем? Невольничество негров в Америке—вещь бывшая издавна довольно важною в истории морской торговли и пиратства, а в истории государственного быта

получившая важность только уже в чаше время и опять пока еще только в истории народов немецкого племени, у англичан и северо американцев. Что ж остается на долю романского племени? Путешествия и открытия Колумба—очень важные в истории географии; авантюризм Кортеса и Пизарро, очень интересный в драматическом отношении. Говоря серьезно, из романской доли деятельности в Новом Свете произошло до сих пор только одно событие, важное для всеобщей истории: наплыв благородных металлов, сильно уронивший ценность денег в течение XVI века. Это очень важная глава в истории звонкой монеты, а история звонкой монеты—довольно важная глава в истории цен, а история цен—очень важная глава в истории экономического быта—вот и все. Колонизация испанских земель в Америке была домашним делом самой Испании, не имевшим особенного значения в ее частной жизни и почти ровно никакого во всемирной—до сих пор; со временем американские земли, заселенные испанским племенем, конечно будут играть роль во всеобщей истории, но когда-то еще будут, а до сих пор этого не было и нет. Очень много великолепных фраз написано о том, что король испанский владеет в Америке громаднейшими пространствами с богатейшими серебряными рудниками, что в «его владениях никогда не заходило солнце» и проч.; все это очень картинно, но американские владения не служили большим подкреплением сил Испании. Испания, владевшая Неаполем, была сильнее, чем была бы без этого владения; но владела ли она Мексикою и западною половиною Южной Америки, или не владела,—это было решительно все равно для хода всеобщей истории.

> «Столь важное для судьбы человечества распределение двух величайших событий между двумя главными племенами Европы уже было достаточною причиною для произведения между ними раздора, высказавшего существеннейшие черты противоположности их натур и поставившего их в самую резкую вражду. Успешные войны с маврами имели два последствия: придали внешней политике испанских королей направление к расширению владений и теснейшим образом связали их с римской церковью».

Что особенного в этом стремлении испанских королей? Всякая династия всякого государства стремилась расширить свои владения. Эта общая «решительная» черта «внешней политики» всех династий всех стран, от времен Семирамиды до времен королевы [Виктории] происходит вовсе не от мавританских войн и не от открытия Америки, а от врожденной людям страсти к приобретению: каждый стремится иметь побольше, захватить побольше—в этом и весь секрет.

Сообщил *Н. А. Алексеев.*

Неизданное письмо Н. Г. Чернышевского к Ф. Ф. Веселаго[1].

Обращаюсь к вам, Феодосий Федорович, в надежде на Вашу доброту, с просьбою вывесть нас («Современник») из затруднения: г. Еленев[2], уезжая в отпуск, не успел, кроме других статей, которыми нет нужды спешить, прочесть одну статейку, которую неудобно было бы нам отлагать, и я прошу вас об истинном одолжении: принять на себя труд просмотреть ее, вместе с прилагаемыми статьями политического обозрения.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

Сообщил *Н. А. Бухбиндер*.

---

[1] Феодосий Федорович Веселаго—автор ряда работ по истории русского флота. В 1860 г. Веселаго состоял на службе в СПБ цензурном комитете, в 1861 г.—членом главного управления по делам печати и одно время исправлял должность начальника главного управления. Письмо Н. Г. Чернышевского в подлиннике не имеет даты, но относится, вероятно, к самому началу 60-х годов. Письмо печатается по подлиннику, хранящемуся в рукописном отд. Гос. публ. библиотеки.

[2] Еленев—цензор Спб. цензурного комитета.

Воспоминания о Н. Г. Чернышевском.

По поводу исполнившегося в минувшем (1899) году десятилетия со времени смерти известного русского, а также и европейского ученого и публициста Н. Г. Чернышевского, в печати появилось несколько заметок лиц, встречавшихся с ним в Астрахани и Саратове [1]. В этих воспоминаниях, между прочим, сообщалось, что Н. Г. Чернышевский совершенно равнодушно относился к условиям своей жизни в местах заключения и ссылки в Сибири и видимо уклонялся от разговоров на эту тему.

Мне лично пришлось провести несколько лет в одних с ним условиях, почему в виду интереса, существующего у многих к этому выдающемуся человеку, думаю не лишним будет поделиться своими воспоминаниями. Но прежде чем сообщу об условиях нашей совместной жизни в Забайкалье, скажу несколько слов вообще о Николае Гавриловиче.

Из всех почти ссыльных Чернышевский, кажется, меньше чем кто-либо чувствовал тяжесть ссылки. К тому же он по натуре был из того типа людей, которые не любят вызывать в других сочувствие к себе, соболезнование и сожаление. Он также предпочитал говорить с теми, которые не изливали пред ним своих чувств. В местах заключения с поляками, сосланными за восстание 1863 г., он уклонялся от разговоров о политике, об отношениях русских к полякам, на каковые темы повстанцы, сходясь с русскими, любили возбуждать дебаты. Присутствуя при обсуждении таких вопросов, Н. Г. обыкновенно молчал, хотя спорившие иногда старались и его вовлечь в общие беседы. Все это, думаю, может служить некоторым об'яснением, почему Чернышевский уклонялся от разговоров о годах, проведенных им в Сибири. Перейду теперь к нашему знакомству.

---

[1] В газете «Амурский Край», выходившей в г. Благовещенске, был напечатан в 1900 г. (в №№ 5, 8, 11, 14, 17, 23 и 29) ряд очерков П. Д. Баллода, озаглавленных: «Из жизни Нерчинских рудников в 60-х годах (воспоминания)». Мы перепечатываем из этих очерков все, относящееся к Н. Г. Чернышевскому.—*Ред.*

Чернышевский, как известно, в 1864 г. приговорен был особым присутствием прав. сената на 7 лет каторжных работ и в конце того же года, по прибытии в Забайкалье, помещен был сперва в Кадаинский рудник, а затем вскоре переведен в Александровский Завод, Нерчинск. заводск. округа [1]. Здесь его поместили в здании, где раньше была заводская контора. Ему была отведена отдельная небольшая комнатка, у дверей которой стоял казак, чтоб «не пущать» к Чернышевскому, но так как это приказание было отдано не особенно строго, то об нем мало-по-малу забыл караул, и казак исполнял роль сурка во время зимней спячки.

Комната Чернышевского находилась посредине здания. По обе стороны ее было по две больших камеры, где помещались ссыльные поляки. Их было в этом здании более ста человек, и они нередко навещали Чернышевского, да и распоряжение казаку «не пущать» относилось больше к государственным преступникам, которых в Александровском Заводе было около 20 человек, и которые помещались через площадь в здании бывшей заводской полиции.

Работ в Александровском Заводе не было никаких. Да и трудно было бы придумать там какую-нибудь работу для ссыльных «политических» (поляков) и «государственных» (русских), которых было около 400 человек. Однажды, правда, комендант почему-то захотел наложить взыскание на поляков, для чего велел им мести улицы против своего дома и против казарм, где помещались политические. Поляки сказали, что у них нет метел. Тогда комендант велел им постоять на улице так, без дела. Вот единственная «обязательная работа», им придуманная для ссыльно-каторжных в то время. Были работы в Акатуе, в Алгачах, но какие это были работы, расскажу потом, теперь же вернусь к Н. Г. Чернышевскому.

Жил Чернышевский очень скромно. Расходовал на себя около 16 рублей в месяц. Обед ему приготовляли на кухне у государ-

---

[1] В Александровском заводе раньше шла выплавка серебряно-свинцовой руды. В начале 60-х годов завод был упразднен, и рабочие перечислены в крестьяне. В 1866 г., в ожидании большого количества каторжан—государственных преступников, а также в связи с восстанием политических—поляков на Кругобайкальской дороге, в заводе было организовано особое комендантское управление. Коменданту были подчинены также рудники Кадая, Кличка, Алгачи и Акатуй. Комендант был непосредственно подчинен генерал-губернатору Вост. Сибири и 3-му Отделению. Стражу составляли пешие забайкальские казаки. Комендант Кноблох в 30-х г.г. был студентом московского университета; заподозренный в государственном преступлении, студент Кноблох был сослан в сибирские линейные батальоны рядовым; здесь он выслужился, дослужился до полковника, и ему дали место коменданта для получения генеральского чина и пенсии. В заводе остались от прежнего управления четыре ветхих здания, которые и были превращены в тюрьмы. Назывались они: первый номер (человек на 150), казармы (человек на 100), контора (где потом помещался Н. Г. Чернышевский) и полиция, где помещались русские государственные (см. П. Ф. Николаев, «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге», Москва, 1906, стр. 3—5).—*Ред.*

ственных преступников, откуда его приносил ему казак. Ходил он лето и зиму в теплом халате и валенках, воротник рубашки всегда расстегнут. Гулять по двору он не любил, а выходить за ворота ему не полагалось. Однажды, впрочем, когда комендант выезжал куда-то ненадолго, и его обязанности исполнял плац-майор Заборовский Н. К., последний разрешил Чернышевскому приходить в помещение государственных. Тогда Н. Г. читал товарищам по заключению несколько своих произведений. В это же время составлялся театр, на котором играли какую-то пьесу его же сочинения. Была также поставлена еще другая пьеса Ландовского, бывшего начальника польских жандармов во время восстания. Но с возвращением коменданта эти посещения кончились, и Чернышевский снова засел в свою комнату. Зная, что Н. Г. не любит пустых разговоров, соседи обыкновенно старались не отнимать у него без надобности напрасно времени. Что касается помещения, то, думаю, что он едва ли бы и заявил претензию на что-нибудь лучшее. Но вот произошла болезнь среди поляков, на них почти всех напала охота учиться играть на скрипке. Это, конечно, довольно естественный исход у людей, обреченных на полнейшую бездеятельность,—не могли же они перейти в положение сурка, как это сделал казак. Достаточно было одному, двум сыграть несколько песен, особенно патриотических, и вот вызван энтузиазм, который, продолжаясь, перешел в болезнь. К несчастью Чернышевского, состав меломанов был подобран не совсем удачно. Вышло как-то так, что по соседству с Чернышевским помещались поляки мастеровые, по ремеслу колесники. Очень может быть, что эти люди, привыкшие к скрипу колес, относились к этому скрипу не только спокойно, но даже с некоторым энтузиазмом, так как этот самый скрип напоминал им их лучшее время, их родину, семью. Поэтому нельзя удивляться, что мелодии этого своеобразного оркестра довольно хорошо напоминали скрип колес, особенно если принять во внимание, что самые скрипки были изготовлены не у Циммермана, а этими же колесниками. И вот раздавались эти мелодии с правой и левой стороны комнаты Чернышевского с утра до вечера. По утрам каждый колесник играл соло, после обеда начинали они группироваться в дуэты, трио и квартеты и к вечеру доходили до наибольшей ярости. Не подумайте, что эти господа хотели из ненависти к москалю сделать Чернышевскому неприятность. Нет, напротив, они были уверены, что услаждают его слух и потому даже иногда приглашали его к себе на часок, и Чернышевский приходил к ним и слушал музыку, при чем, конечно, наиболее ярые колесники не участвовали. Чернышевский выражался об этой музыке: «это ужасно, ужасно». Выходил он из этого положения таким образом, что во время наибольшего пароксизма меломании спал, а работал обыкновенно по ночам. Он много читал и писал, но написанное, к сожалению, почти всегда уничтожал.

Другое неудобство, которое испытывал Чернышевский, это недостаток книг. В помещении «государственных» были книги и их, конечно, было достаточно для других, но не для Чернышевского, у которого запас знаний был такой, при котором эти книги ему ничего дать не могли. Таким образом, несмотря на знания, какими обладал Чернышевский, ему нельзя было приступить к какой-нибудь крупной работе, для которой, как он сам говорил, ему нужно делать постоянные справки. Чтобы размяться, он иногда, но впрочем очень редко, выходил на небольшой дворик, в котором стояло здание бывшей конторы, и начинал ковырять землю чем попало.

Из государственных довольно часто посещал Чернышевского Стахевич. Этот человек мало отвлекался посторонними занятиями, но больше читал и всегда, когда у него набирался известный запас вопросов, требовавших раз'яснения, он отправлялся к «стержню» (так звали государственные Чернышевского) за раз'яснениями. Чернышевский был всегда доволен приходом Стахевича, относился к нему очень радушно и говорил о нем: «вот из него бы, вероятно, и вышел человек, если бы судьба не завела его сюда». Стахевич до того отдался Чернышевскому, что писал впоследствии мне во время ссылки на поселение (в Яндинской волости Иркутской губ.), нельзя ли ему как-нибудь устроиться, чтобы быть вместе с Чернышевским, который был тогда в Вилюйске, хотя бы в качестве слуги. Стахевич, конечно, хорошо знал, что Чернышевскому никакого слуги не надо было, и сам он, кажется, менее других был способен исправлять обязанности слуги. Если же он писал об этом (№ 5 «А. К.»), то, конечно, чтобы показать, как он дорожит близостью Чернышевского.

Начальство относилось к Чернышевскому хорошо и готово было б сделать для него кое-что, но Чернышевский ничего не требовал, а начальство само до такой степени было связано по рукам и ногам, что не решилось бы ни на какое серьезное облегчение. Я даже и не придумаю, что могло бы сделать в пользу Чернышевского самое лучшее начальство. Свое внимание к Чернышевскому оно проявляло тем, что позволяло себе иногда завернуть к нему и перекинуться несколькими словами. Я думаю, что у начальства, занесенного в такой медвежий угол, как Александровский завод, являлась иногда потребность услышать слово-другое от такого человека, как Чернышевский. Чаще других являлся к Чернышевскому смотритель тюрьмы, поляк, капитан Волынский. Это был человек, быть может, самый дурной из смотрителей. Ему можно поставить в вину его поведение больше чем другому, так как он все-таки был развитее других. Конечно, он был бессилен ухудшить положение ссыльных, так как он был безгласен при коменданте, но зато он старался терроризировать комендантов, как только он замечал, что они будут подчиняться его влиянию. Он делал по-

стоянные доносы, что поляки затевают какие-то бунты. Доносы эти дошли до генерал-губернатора, который немедленно командировал для расследования заведывавшего тогда политическими ссыльными полковника Купенкова. Впоследствии, во время совместной службы со мною в Ленском золотопромышленном товариществе, Купенков отзывался очень дурно о капитан Волынском и прибавлял, что он был почти уверен, что все эти доносы—пустая выдумка, но раз они поступали к нему, оставить их без внимания было нельзя. Капитану Волынскому, конечно, нужно было проявить свое усердие, а может быть он и сам через своих приближенных старался между ссыльными провести мысль о возможности освобождения путем бунта, чтобы потом усмирением выслужиться.

Когда поступил комендантом Кноблох, то слухи о бунтах затихли, и сам капитан Волынский убрался куда-то. Кноблох был несомненно человек умный и понимал, что бунт в степи—бессмыслица, и если бы действительно произошел какой-нибудь бунт, то громадное большинство поляков погибло бы без всякого преследования со стороны властей. Начальство причинило бы политическим ссыльным несравненно больше вреда, если бы оно предоставило им полную свободу отправиться в пределы Китайской Империи, как о том мечтали поляки. Дело в том, что разговоры о возможности бунта и ухода были, как, напр., в Забайкальской области, где несколько человек уверили толпу простолюдинов, что если они взбунтуются и пойдут бережком, бережком, то дойдут до Галиции. Толпа простолюдинов не имела никакого понятия о том, где они находятся и где Галиция, и только думали, что люди, обещающие им лучшее будущее, их доброжелатели, а все остальные изменники и враги. В Забайк. области громадное большинство и не думало приставать к желавшим отправиться в Галицию, и дело несомненно кончилось бы само собой без всякого вмешательства войска, если б предоставить политических самим себе. Нечто похожее на бунт было в Сиваковой, в 30 верстах от Читы. Дело было так: из Нерчинских заводов проходила партия политических ссыльных, человек 100, на поселение. Так как в ограде, где помещалось уже около 700 политических ссыльных, поместиться было негде, то эту партию поместили в казарме за оградой. В этой казарме ничего не было приготовлено—ни дров, ни воды, а дело было в декабре. Поляки обратились с просьбой дать им дрова и воду к зауряд-хорунжему Тоскину. Тоскин отказал. Когда они снова обратились к нему, он их послал к чорту с прибавлением крепкого словца. Тогда человека два взяли Тоскина и вытолкали из казармы. Рассвирепевший Тоскин, очутившись на дворе, стал реветь благим матом: «Стреляй, режь, коли поляков!» Это услыхали в ограде, и немедленно разнеслась весть, что наших бьют, режут. Конечно, вы можете представить, что произошло при этом. Все ссыльные бросились к воротам на помощь своим. У ворот была гауптвахта.

Из гауптвахты вывели несколько человек казаков и поставили под ружье. Было совершенно темно. Ворота и забор моментально сломали. Всех казаков было около 100 человек. Понятно, что многие разбежались, или попрятались, полагая, что тут будет резня, но ни один человек не вышел даже за ограду, кроме старосты политических Фр. Соколовского, которого послали узнать в чем дело. И когда пришел староста и рассказал, что ничего особенного не случилось, то все ушли по домам. Комендант Заборовский, бывший в это время в Чите, приехал ночью в Сивакову и обошел казармы, где поляки уже преспокойно спали.

Конечно, эта история не прошла так. Был прислан из Иркутска для производства следствия полковник Симонов, который собрал всех политических ссыльных и стал их упрекать в неблагодарности за те благодеяния, какие им оказал генерал-губернатор, разрешивший иметь тюфяки и самовары. После этой речи Симонов распорядился надеть всем политическим ссыльным кандалы, но местное управление знало, что значит заковывать такую ораву. Опыт с заковкой уже был раньше, но оказалось, что некоторые приходили заковываться уже раза по четыре. Ларчик открывался просто: закованный по приходе в ограду снимал оковы и продавал их по 15 коп. Так как дело было весной, то многие обзаводились огородами, для которых нужны были грабли. Кузнецы в ограде моментально переделывали оковы в грабли. Начальство заметило, что таким образом никогда не удастся перековать всех ссыльных и бросило заковывать, а потому и распоряжение Симонова «заковать» осталось без последствий. Тех же политических ссыльных, которые выпроводили Тоскина и вообще оказались наиболее виновными в нанесении оскорблений ему,—Лихтонского, Шлезингера и Ососко судили в Чите военным судом и сослали в Акатуй на бóльшие сроки, которые, впрочем, были потом года через два по манифесту отменены.

Будь Заборовский дома, по всей вероятности, ничего подобного не случилось бы, так как он вошел бы в положение вновь прибывших людей и велел бы удовлетворить их требования. Да и в самом деле, где же должны были взять прибывшие с мороза ночью люди воду и дрова? Случись что-нибудь подобное в Александровском заводе при Кноблохе, он наверное послал бы ссыльных мести улицы, и тем бы история кончилась. Полковник Кноблох понимал очень хорошо неуместность некоторых требований, относился к ним совершенно равнодушно, хотя и принимал вид начальнический. Так, напр., однажды два государственных преступника уехали в лес за жердями для своей надобности и, когда пробили зóрю, их еще не было. Узнав об этом, он немедленно потребовал к себе старосту Баллода. Когда я явился к нему в сопровождении смотрителя Боровитинова, то Кноблох обратился ко мне с вопросом: «Почему у вас беспорядки?» Я сказал: «Какие беспорядки? Я ни о

Обращаюсь къ Вамъ, Өеодоръ Өеодоровичъ,
съ надеждою на Вашу доброту, съ просьбою
вывести насъ (Современникъ) изъ затруд-
ненія: г. [illegible], узнавъ объ отпускѣ, не
[illegible], кромѣ другихъ статей, которыми
[illegible] журналъ [illegible], прочесть одну ста-
тейку, которую неудобно было бы намъ
отлагать, и я прошу Васъ объ испол-
неніи [illegible]: принять на себя трудъ
просмотрѣть ее, вмѣстѣ съ приложе-
ніями [illegible] [illegible] [illegible]
Съ искреннимъ уваженіемъ
имѣю честь быть
Вашимъ покорнѣйшимъ слугою
Н. Чернышевскій

Автограф письма Н. Г. Чернышевского к Ф. Ф. Веселого.

каких беспорядках не знаю».—«Как, разве у вас все дома?»—«Да, двое еще не вернулись, но вероятно что-нибудь случилось—колесо сломалось или что-нибудь другое».—«Ничего этого быть не должно. Знайте, что к зо́ре все должны быть дома».—«С завтрашнего дня, — обращается он к смотрителю,—здание государственных преступников запереть, выходить кроме Баллода никто не должен». Я ушел вместе со смотрителем, который сказал мне:—«Завтра вы постарайтесь пораньше накормить своих лошадей, коров и свиней, а затем вас запрут, а когда дедушка (комендант) встанет, наверно опять велит отпереть». Так все и случилось.

Когда подобный случай произошел в Акатуе, то офицер-смотритель Кузнецов не велел бить зо́ри до тех пор, пока не вернутся двое ксендзов, которые ушли в лес на прогулку и заблудились. Ксендзы вернулись в первом часу ночи, и тогда только стали бить вечернюю зо́рю (№ 8 «А. К.»). Зная нечистые побуждения разных доносчиков, которым оказывалось раньше доверие, и если не покровительство, то внимание, Кноблох был с ними довольно суров. Однажды смотритель Боровитинов обратился ко мне с упреком: «Про вас идет дурная молва»... Я, не зная ничего, в чем бы можно было меня упрекнуть, спросил: «Какая молва? я ничего не знаю». «Если вы даете честное слово, то я спокоен, значит все пустяки»,— сказал смотритель. Так как об этом смотритель Боровитинов заговаривал несколько раз, то я обратился к нему с такими словами:—«Да скажите, в чем дело, и тогда мы выясним, что правда, что неправда».—«Вот видите,—сказал смотритель, — был у меня алгачинский смотритель и передал, что ему заявил политический ссыльный Вадзинский, что вы ведете тайную переписку с кем-то в Петербурге, передаете ее крестьянину Александровского завода Иогансону, который доставляет ее в Сретенск». Я рассмеялся и сказал, что это вздор. Но Боровитинов высказал опасение, что во время посещения комендантом Алгачинской тюрьмы Вадзинский может заявить об этом ему и сказать, что он говорил об этом смотрителю алгачинской тюрьмы Слетневу, а последний скажет, что говорил ему, Боровитинову, и выйдет скандал.

Тогда я предложил смотрителю отправиться к коменданту и сообщить об этом. «Да вы не будете на меня за это в претензии?»—спросил смотритель.—«Ничуть, я вас прошу об этом, надо это выяснить». Смотритель отправился вместе со мною и, дойдя до коменданта, сказал:—«Так смотрите, сейчас у вас будет обыск». Дело было вечером, но тем не менее, минут через 20—30 явился плац-ад'ютант и просил меня показать ему свои вещи. Я, конечно, высказал удивление по поводу обыска и спросил: «Да вы что ищете?»—«А это наше дело, да что у вас найдешь? В Петербурге ничего не нашли, а тут захотели!... А это нехорошо,—сказал он, увидев немного шрифта: дедушка запорет горячку». Вслед затем я был отведен к коменданту, который сказал, что он должен меня

арестовать, посадив отдельно, и что завтра он узнает в чем дело. Меня поместили в больницу, в отдельную палату и приставили часового. Дорогой смотритель упрашивал меня: «Пожалуйста, не проговоритесь, а то будет беда».—Я сказал: «Я-то не проговорюсь, вы не проговоритесь». После этого немедленно был отправлен нарочный в Алгачинский рудник, находившийся от Александровского завода верстах в 30, с предписанием доставить Вадзинского в Александровский завод, и сделано распоряжение об обыске у крестьянина Иогансона. Ночью явились к нему и сделали обыск, ничего не нашли и потом спросили, какие у него были сношения со мной. «Да, были сношения,—отвечал Иогансон,—Баллод покупал у меня картошку, капусту».

На следующий день призывают меня к коменданту. Комендант при смотрителе обращается ко мне с упреком: «Как это вы, г. Баллод, позволяете себе делать такие вещи? Мы делаем для вас всех решительно все возможное, а вы все-таки позволяете себе бог знает что». Мне эта сцена показалась смешной, и чтоб не рассмеяться и не выдать таким образом Боровитинова, я кусал себе язык. Комендант не переставал делать упреки, и наконец я сказал: «Скажите, полковник, в чем дело? Я ведь решительно ничего не понимаю, из-за чего произошло все это».—«Как, вы не знаете? Не знаете?»—«Ничего ровно не понимаю».—«Ну, да я был почти уверен, что все это вздор, но я должен был так поступить».—Тут он рассказал в чем дело.—«У Иогансона,—продолжал он,—был сделан обыск, ничего не нашли, и через час вы увидите виновника этой суматохи и сами будете просить за него, а теперь можете продолжать ваши занятия». Скоро после этого был доставлен Вадзинский к коменданту, который в сердцах напустился на него: «Ты откуда узнал о том, что государственные преступники ведут тайную переписку?»—«Года два тому назад,—отвечал Вадзинский,—я лежал в больнице, и там слышал разговор об этом больных».—«Почему же ты тогда же не донес об этом? Ты врешь теперь. Приковать его к тачке и держать на гауптвахте!»—сказал комендант. Когда узнали об этом поляки, то наотрез отказались посылать ему обед, и Вадзинский обратился к государственным, которые и посылали ему обед и чай в продолжение нескольких дней, проведенных им на гауптвахте.

Если комендант и вообще почти все начальство относились так внимательно ко всем ссыльным, то понятно к Чернышевскому относились еще внимательнее. Они несомненно сделали бы для Чернышевского все, за что не рисковали бы подвергнуться ответственности, но начальство само было крайно стеснено, и затем, как я уже выше сказал, Чернышевский никогда ни о чем не просил.

По окончании срока испытуемых, в 67—68 г., Николай Гаврилович был выпущен на вольную квартиру за оградой, но там он держал себя так же, как будто эта квартира все же была в тюрьме—он никуда не выходил из дому.

Недолго, однако, пользовался Чернышевский и этой ограниченной волей: вскоре пришло распоряжение снова поместить его в тюрьме. Но я убежден, что эта перемена не имела никакого значения для Николая Гавриловича, он относился к ней совершенно равнодушно. Сам комендант навещал ссыльных вообще довольно редко, и так как его визиты были всегда в сопровождении смотрителя, то, во избежание доносов, он никогда не оставался долго у Чернышевского, хотя ему и очень хотелось бы поговорить иногда с ним. Люди наименее желательные, как гости—как Волынский, Щеглов—просиживали иногда у Чернышевского подолгу. Насколько такие посещения входили в программу высшего начальства—не знаю, но комендант Кноблох не только не препятствовал, но, напротив, даже рекомендовал эти посещения. Так, например, он говорил смотрителю Боровитинову: «Вы должны сближаться с государственными, стараться на них подействовать и дать им другое направление». Едва ли комендант Кноблох говорил это серьезно. Думаю, что он просто повторял строчки из имевшейся у него инструкции. Сами офицеры, служившие в комендантском управлении, хотя и посещали Чернышевского, но никогда не пытались изменить образ мыслей не только Чернышевского, но и других. Да и как бы чины комендатуры стали исправлять образ мыслей Чернышевского, когда они даже не знали, за что он сослан? Меня спрашивали Щеглов и Боровитинов, за что Чернышевский сослан в каторгу. Я говорил, что им это дело должно быть известно лучше, так как статейные списки находятся в комендатуре. На это они отвечали, что из статейных списков решительно ничего не видно. Когда я передал об этом Чернышевскому и спросил его: «Да вы помните, что такое вам читали в приговоре?»—то он отвечал: «Что-то читали, а что—решительно ничего не помню». Когда смотритель Боровитинов передавал мне о поручении коменданта стараться влиять на государственных, то прибавлял: «Вот подите—нашел что сказать: влияй и исправляй, действуй. Чему я научился в корпусе, чтобы влиять на Чернышевского, на вас? Нет, попробуй сам. Вот ты и в университете был, а поди-ка! Нет, сам не идет, а посылает,—нашел кого! Правда, даже забавно! Ну, что я скажу Чернышевскому?»

Добряк Боровитинов, конечно, был высокого мнения о Чернышевском, и ему хотелось чем-нибудь проявить свое уважение к нему, он готов был бы, кажется, сам сесть на место Чернышевского, но так как он был не больше, как тот же конвойный, то и свое сочувствие он мог проявить только на словах. Однажды Боровитинов пригласил меня зайти вместе с ним к Чернышевскому, и мы пошли. По приходе к нему Боровитинов между прочим стал высказывать свое чувство, конечно, не лично к Чернышевскому, а вообще к положению заключенных ссыльных. Чернышевский не дал даже высказаться Боровитинову и стал упрекать его: «Все вы говорите одно и то же, а ничего не делаете и делать не станете. К чему эти пустые

слова?». Это, сколько мне помнится, единственный случай когда Чернышевский говорил с упреком и был даже несколько несдержан. Вообще он был очень сдержан и к своему положению относился стоически. Приходивших к нему ссыльных он встречал приветливо и всегда готов был оказать всякую услугу. Когда я выезжал на поселение, то он настойчиво предлагал мне взять его золотые часы—единственную имевшуюся у него ценность. «Понадобятся,—говорил он,—деньги, продадите, все рублей тридцать дадут». Приходивших к нему государственных преступников он всегда старался угостить чаем и при этом всегда самовар ставил сам, употребляя для этого, как поддувало, свой сапог. Любил он поговорить, пошутить, но никогда ничьего самолюбия не задевал, хотя и не скажу, чтобы в отношениях к посещавшим его не было некоторой разницы. В его присутствии все предпочитали его слушать. Повидимому, это был самый миролюбивый человек. Когда выходили иногда совершенно естественные в нашем положении некоторые недоразумения между государственными, то Чернышевский говорил мне, как старосте: «Да вы бы устроили маленькую пирушку, пригласили бы на нее оппозицию и поверьте—все бы пошло как по маслу. Ведь у нас на Руси все так делается и при начале, и при окончании всяких дел. Да разве у вас какие-нибудь серьезные столкновения? Ссоритесь просто для разнообразия, для забавы. Ну и кончайте все какой-нибудь шуткой, пирушкой».

Действительно, иногда ссоры были довольно комичны. Мужик продал нам козу (ямануху). Ходил у нас за скотом Д. А. Юрасов. В один прекрасный день Юрасов говорит, обращаясь к своему товарищу: «Вот видите, Николай Павлович, вы ходили в хлев и выпустили ямануху, а она влезла на зарод. Ведь вы же знаете — она суягна. Упадет с зарода и скинет».—«Ну, с чего вы взяли, Дмитрий Алексеевич, что ямануха упадет—ведь это для нее привычное дело лазать не только на зарод, а по забору».—«Нет уж, Николай Павлович, будете ходить во хлев, то ямануху не выпускайте, а то что же? упадет—скинет».—Иногда это серьезное препирательство продолжалось несколько дней, так как суягная ямануха всегда успевала выскочить из хлева во двор. Но вот в один прекрасный день казак говорит: «Что вы, Дмитрий Алексеевич? Какая это ямануха? Ведь настоящий, как есть, яман!» Побежали оба приятеля смотреть ямануху и, осмотревши, с хохотом возвращаются и смеются друг над другом, что купили ямануху, оказавшуюся яманом. Юрасов и Странден были очень дружны между собой, но это не мешало им почти каждый день хоть на полчаса поссориться из-за ямануxи, или из-за токарного станка, на котором Николай Павлович вместо куска дерева по ошибке стал обтачивать свой палец.

Нам нужно было непременно иметь несколько пудов мыла, которое мы взяли у приходорасходчика с обязательством возвратить ему мылом же. Наш мыловар Волков пока варил мыло только для

своих, то оно сходило,—никто не хотел из-за куска какой-то слизи входить в препирательство; но когда пришлось посылать мыло кому-нибудь постороннему по требованию приходорасходчика, то наш мыловар оказался несостоятельным. Чтобы сварить мыло настоящее, собралось три пары, которые должны были независимо одна от другой добиться [уменья] варить мыло. Юрасов и Странден варят, Муравский, Степанов—тоже и, наконец, я с Петрунькой, как звал я своего товарища по мыловарению—Петра Дмитриевича Ермолова. Заручившись всякими техническими руководствами по мыловарению, мы принялись за стряпню. Мыловар Волков считал себя свое дело знающим, а потому изучать мыловарение отказался. Мой товарищ Ермолов был помощником у Волкова, а потому считал себя уже несколько компетентным в этом деле. Я же никакого понятия не имел об этом, и когда я присутствовал при варении мыла Волковым и видел, как решительно он распоряжался, и так как оснований для его распоряжений я совершенно не понимал, то подчиняться Ермолову я уже считал обязательным: когда потом я заметил, что Ермолов тоже делает только гадательно, то пытался высказать свое мнение, но Ермолов все не мог отделаться от авторитета Волкова и продолжал делать по-своему. То он находил, что щелок очень крепок, то слишком мало его, то извести мало, то много, то соль нужна, то соли много. Но что мы ни делали, а по приходе на другой день находили, что у нас было чистейшее сало без признаков мыла. «А ведь как хорошо пенилось,—надо было думать, что у нас мыло»,—рассуждали мы.

Постоянные неудачи, повторявшиеся из дня в день, стали колебать нашу уверенность в возможности научиться варить мыло. Сначала мы шутили сами над собой, потом друг над другом и, наконец, когда шутки стали приниматься за оскорбление, то поссорились. Тоже произошло и с другими, и все порешили, что лучше купить мыла, чем возиться без конца, А так как я был больше других заинтересован в этом деле—я брал мыло у приходорасходчика, а взять в лавках было немыслимо, так как в них простого мыла не было, а местные жители довольствовались мылом или подобием мыла, которое производилось такими мыловарами как Волков,—то мне пришлось продолжать варение мыла одному. Целых три месяца я варил мыло положительно каждый вечер и наконец добился. Когда я добился, то сам отставной мыловар Волков просил меня, чтоб я взял его на одну варку себе в помощники. «Как это просто», сказал Волков, увидев весь процесс варки; «мыловар Возницкий, у которого я учился», продолжал он, «решительно сам не учился, оттого у него часто мыло не удавалось. Он все показывал вид, что делает какие-то особые приемы, всыпал какой-то порошок и все это проделывал украдкой от нас,—просто шарлатан».

Большинство, конечно, было довольно, что удалось сварить мыло, и таким образом получился новый источник для заработков. Но

были и недовольные. Мой товарищ по мыроварению—П. Д. Ермолов—почему-то вообразил, что я смотрю свысока на него, а может быть и на других. Он был человек честный и добрый, но не мог не ворчать. Он ворчал, ворчал и на себя, а для этого у него было всегда достаточно поводов. Так, напр., ему почему-то вздумалось самому готовить обед себе, и вот возьмет, поставит в печку горшок с мясом и забудет про него, а там от обеда и след простыл—вода выкипела, мясо сгорело и горшок лопнул. Неудача со щами,—давай жаркое стряпать: схватит кусок мяса, положит на сковородку и в печку—и опять-таки ни жаркого, ни мяса. А однажды, если я не ошибаюсь, он по рассеянности и вследствие близорукости вместо мяса положил в горшок рукавицу и варил ее себе на обед.

Еще одно обстоятельство могло быть некоторым поводом к столкновению. Я был старостой и, следовательно, пользовался в сравнении с другими некоторой свободой. Большинство решительно, по крайней мере сначала, отказались принимать на себя роль старосты. Когда Акатуй закрыли и меня перевели в Александровский завод к государственным, среди которых у меня не было ни одного знакомого, то на меня сейчас же взвалили обязанность старосты, так как это дело мне знакомо,—я был старостой работ в Сиваковой среди поляков и артельщиков к Акатуе, где главным образом были помещены ксендзы, которых там было около 70 человек. Когда я пробыл старостой около полутора года, то некоторые непрочь были принять на себя обязанность старосты. А так как большинство не хотело никакой перемены, то недовольные стали высказывать свое неудовольствие на некоторые действия старосты.

Чернышевский был прав, когда считал эти ссоры ничтожными и предлагал их кончать какой-нибудь грошовой пирушкой. Когда мы вышли на поселение, то все эти ссоры почти сейчас же были забыты. Так, когда я уже в Якутской области заговорил со Странденом о моем отношении к Ермолову, то Странден уверял меня, что он ничего не знает, и что Ермолов относится ко мне вполне товарищески. Мне кажется, что вся тяжесть каторги у нас в том и состояла, что нам приходилось в мелочах сталкиваться друг с другом, и мы делались мелочными, обидчивыми. Кроме того, конечно, мы испытывали тяжесть от потери нескольких лет, проведенных нами без всякого смысла для кого бы то ни было...

П. Д. Баллод.

Редакция Н. А. Алексеева.

Среди политических преступников [1]

Николай Гаврилович Чернышевский

1.

Статья Николая Гавриловича «Антропологический принцип в философии», помещенная в апрельской и майской книжках «Современника» за 1860 год, была прочитана мною летом 1860 года, через несколько недель после окончания гимназического курса, и произвела на меня заметное впечатление. Природа человеческого организма едина, дуализма в нем нет; «если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь; и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет». В другом месте статьи: «Физиология и медицина находят, что человеческий организм есть очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью». За последние три года пребывания в гимназии мне случалось неоднократно участвовать в разговорах на эти темы; некоторые собеседники являлись противниками материализма, другие—сторонниками; но такого обстоятельного, связанного, последовательного изложения темы я до того времени еще не слышал и не читал; статью справедливо было бы назвать символом веры материалистов. Насколько могу припомнить, она была или без подписи, или подписана начальными буквами, которые мне ничего не говорили.

Через несколько месяцев, будучи уже студентом медико-хирургической академии, я прочел в январской книжке «Современника» за 1861 год политическое обозрение, трактовавшее о расторжении союза Северо-Американских штатов. Обозреватель высказывал ту мысль [2], что наилучшим выходом из данного положения было

[1] «Из моих воспоминаний» глава VII.

[2] Это взгляд не самого Ч., а умеренного аболициониста Джона Абботта, на книгу которого: «South and North», (New York, 1860), Ч. ссылается. См. Полн. Собр. Соч. Ч—го, т. VIII, стр. 371.

бы мирное расторжение союза; неизбежным последствием расторжения были бы массовые побеги невольников из пограничных южных штатов; линия невольничества отодвигалась бы все дальше на юг, и в скором времени оно, так сказать, умерло бы естественной смертью. Затем обозреватель излагал причины, вследствие которых мирное расторжение союза представляется ему мало правдоподобным; больше вероятия, что произойдет война, в которой северные штаты несомненно окажутся победителями, так как на их стороне огромный перевес сил материальных и нравственных. Обозреватель считал возможным компромисс между северными и южными штатами, паллиативный, не решающий в сущности ничего; этот выход из данного положения был бы, по его мнению, наихудший. Впрочем, заканчивал обозреватель, «это хорошо говорить нам посторонним: нам нечего жалеть людей, благоприятствующих рабовладельцам: они не родня нам. Но ведь северным свободным людям они братья по происхождению, по прежнему дружному и славному прошедшему. Север слишком, слишком готов щадить их».

В этом обозрении все было так ясно, понятно; изложение было такое толковое, дельное, и вместе с тем оно было насквозь проникнуто сочувствием делу свободы и справедливости. В числе моих товарищей студентов было несколько человек, имевших коекакие знакомства в литературном мире. Я попросил их разузнать: кто автор этого обозрения, а уже кстати—кто автор статьи «Антропологический принцип в философии». Через несколько времени товарищи сказали мне, что автор обоих статей—Чернышевский, и что вообще его можно назвать душою этого журнала—«Современника».

Чтение двух упомянутых статей я считаю началом моего знакомства с миросозерцанием Николая Гавриловича и с его политическими сочувствиями. Некоторое представление о его наружности я получил значительно позже. В конце 1861-го или в начале 1862-го года Николай Афанасьевич Сачава, один из моих товарищей студентов, добыл его фотографическую карточку от кого-то из лиц, имевших прикосновенность к тогдашнему литературному миру вообще и к редакции «Современника» в частности (кажется, от Надежды Прокофьевны Сусловой, которая начала посещать лекции медико-хирургической академии, если память меня не обманывает, с сентября 1861 г.). Это та карточка, которой снимок (в несколько увеличенном размере) приложен к восьмому тому полного собрания его сочинений (издание его сына, Петербург, 1906). Показывая карточку мне, Сачава передавал со смехом: «Он отлично знает по-английски, но на свой выговор нисколько не надеется, и когда был в Лондоне [1], писал на клочках бумаги вопросы, как ему пройти

---

[1] Поездка Ч. в Лондон имела место в июне 1859 г. Об этой поездке говорится в письме Н. А. Добролюбова к И. И. Бордюгову от 28 июня 1859 г. (см. «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, стр. 521) и в письме

туда-то, правильно ли он направляется в тот или в другой пункт Лондона, и эти записки подавал встречающимся пешеходам. И все выходило гладко: иной на словах ответит, иной напишет. Забавно, не правда ли?»

Николай Гаврилович был арестован в июле 1862 года; о причинах его ареста знакомые мне студенты ничего не знали и никаких догадок не строили. Я был арестован в марте 1863 года и посажен в том же месяце в Петропавловскую крепость. В августе 1863 года меня привезли из крепости в сенат; сопровождавший меня полицейский чиновник привел меня в огромную комнату, расположенную около присутственной комнаты, посадил около длинного, предлинного стола и куда-то удалился. Минут через десять или через пятнадцать дверь присутственной комнаты отворилась, чиновник позвал меня туда, и там началось чтение вопросов, заданных мне следственной комиссией и моих ответов на эти вопросы; об этой стадии моего процесса я рассказал в первой главе моих воспоминаний.

В те десять—пятнадцать минут, которые я пробыл в комнате, соседней с присутственною комнатою, я успел заметить, что на противоположном конце того стола, возле которого я сидел, какой-то человек в очках занимается перелистыванием толстого канцелярского фолианта, часто наклоняется к этому фолианту очень низко, так что бородою почти касается рассматриваемых листов, и быстро набрасывает заметки на бумаге, лежащей около фолианта. Я сидел спиной к окнам, на человека в очках свет падал слева; хотя я близорук, и расстояние между нами было довольно значительное (сажени три с чем-нибудь), однако, его профиль я видел довольно отчетливо и заметил большое сходство с тою карточкою, которую показывал мне когда-то Сачава; на карточке был изображен человек безусый и безбородый, у этого есть усы и борода, но они изменили физиономию очень мало. Я был почти уверен, что вижу перед собой одного из наших знаменитых писателей—Чернышевского. Перелистываемый им фолиант огорчил меня. Очевидно, подумал я, этот фолиант—канцелярское дело о его провинностях, действительных или воображаемых; дело толстущее; много, должно быть, обвинений против него; помоги ему Бог выпутаться из этой передряги.

В 1867 году, когда он и я находились в тюрьме Александровского Завода, пришлось как-то к слову, и я полюбопытствовал: в августе 1863 года приводили ли его из крепости в сенат? [1] и делал ли он тогда

самого Ч. к К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888 г. (будет напечатано в 3 томе «Литературного наследия Н. Г. Чернышевского»); в последнем письме Ч. пишет между прочим: «Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра; я медведь. Я ломаю людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся; я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова), он вертелся передо мной, как школьник»...

[1] Ч. был арестован 7 июля 1862 г.; его привозили из крепости в сенат для чтения составленной о нем «записки» 13 августа 1863 г. (см. Лемке, «Полит. процессы 60-х г.г.», М., 1923, стр. 445).

выписки из канцелярского дела о нем? Привозили, делал. Значит, я не ошибся: видел в сенате действительно Николая Гавриловича.

2.

В июне 1864 года я находился в Тобольской тюрьме, в том отделении, где в то время помещались поляки, ссылаемые в Сибирь за участие в восстании. Вот однажды некоторые из поляков, заходившие по свои делам в тюремную контору, прибежали оттуда и позвали меня: «Идите в контору, земляка вашего привезли, русского». Войдя в контору и взглянувши на привезенного человека, я тотчас узнал в нем Николая Гавриловича по сходству с упомянутой фотографической карточкой. На этот раз он был без усов и без бороды, как и на карточке; но он был острижен совсем коротко, а на карточке у него роскошная шевелюра, и ее отсутствие заметно меняло физиономию. Одежда на нем была собственная: черный сюртук, брюки, заправленные в голенища сапогов; сапоги, впрочем, не охотничьего фасона, т.-е. с голенищами невысокими, не доходившими даже до колен и имевшие вверху довольно широкие отвороты красного цвета. С разрешения тюремного смотрителя, я повел его из конторы с собой, предполагая, что он будет пока-что в здешней тюрьме на таком же положении, как и я, т.-е. будет помещен совместно с поляками в какой-нибудь из двух больших камер, составлявших политическое отделение тогдашней Тобольской тюрьмы. Но через несколько минут пришел смотритель и сказал, что он получил распоряжение поместить Чернышевского отдельно, в одной из маленьких камер так называемого «секретного коридора». Впрочем, смотритель не препятствовал мне заходить иногда к Николаю Гавриловичу.

Из наших тогдашних собеседований у меня осталось в памяти очень немногое. Во-первых, ему было сказано, что он пробудет в Тобольске недолго, всего несколько дней; «распаковывать чемодан на такое короткое время и потом опять запаковывать—не хочется; скажите, какие книги у вас есть с собой; я что-нибудь выберу на эти дни, чтобы не так скучно было сидеть тут». Из перечисленных мною книг он выбрал физиологию Функе (на немецком языке). Через несколько дней, возвращая книгу, сказал мне:

— С большим удовольствием нашел в этой книге почетное упоминание о научных работах наших русских людей: Сеченова, Якубовича, Овсянникова. А кроме того, вот подите же, какая для профана странность: у верблюда кровяные шарики не такие, как у других млекопитающихся, а как у птиц.

Во-вторых, кто-то из поляков знал, что Николай Гаврилович— специалист в политической экономии, и попросил меня осведомиться у него, какую книгу он порекомендует человеку, желающему ознакомиться с доктринами и программами социалистов. Николай

Гаврилович назвал две книги: Considérant—«Destinée sociale»[1], Louis Blanc—«Organisation du travail».

В-третьих, я спросил его: справедливы ли ходившие в Петербурге толки, что правительство имело намерение обратить его в своего наемного писаку, старалось подкупить его? Называли даже точную цифру, которая была предложена ему—сорок тысяч рублей. Он ответил: «вздор, ничего подобного не было». Кажется, в связи с этим разговором (а может быть и по какому-нибудь другому поводу) он сказал мне:

— Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо-таки полезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит—особого рода реклама[2].

Припомнивши теперь эти слова и задумавшись над ними, я прихожу к заключению, что в то время, в июне 1864 года, Николай Гаврилович был той уверенности, что в ссылке он пробудет недолго, в скором времени будет освобожден, восстановлен в правах, тотчас вернется в Петербург и примется за свою прежнюю работу—за журналистику. Если таково было его тогдашнее мнение—какое жестокое последовало разочарование! Почти двадцать лет пробыл он в Сибири; по возвращении оттуда—Астрахань; в конце-концов—Саратов...

Я твердо помню, что он выразился именно этими словами: «как для журналиста». Возможно, что с ним произошел в данном случае lapsus linguae, что он употребил слово «журналист» вместо слова «литератор» или «писатель». Если так, то приведенная выше тирада означала бы только, что, по его мнению, вследствие ссылки его авторское имя получит известность в более обширных слоях публики, спрос на его сочинения увеличится, и из этого произойдет материальная выгода, может быть—в близком будущем, может быть—в далеком будущем, может быть—для него самого, может быть—для его наследников, а его в то время уже и на свете не будет.

---

[1] «Destinée sociale» фурьериста В. Консидерана упоминается в «Что делать?» в числе книг, которые Лопухов давал читать Вере Павловне.

[2] Об этой «рекламе», созданной ему ссылкой, Ч. писал позже жене в письме от 12 января 1871 г. (см. «Чернышевский в Сибири. Переписка с родными». Вып. I. СПБ, 1912, стр. 23—24):

«А что касается лично до меня, я сам не умею разобрать, согласился ли бы я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который подвергнул тебя на целые девять лет в огорчения и лишения. За тебя, я жалею, что было так. За себя самого, совершенно доволен. А думал о других,—об этих десятках миллионов нищих; я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их...». Далее, предвидя столкновение России с Западной Европой, Ч. пишет: «Бедный русский народ, тяжело придется ему в этом столкновении. Но результат будет полезен для него. И тогда, мой друг, понадобится ему правда».—Как видим, дело заключалось не в одних материальных выгодах для автора письма и его близких от правительственной рекламы. Предположение Стахевича, что Ч. в 1864 г. ожидал скорого освобождения и восстановления в правах, кажется нам совершенно ошибочным.

Впоследствии, в 1867—1870 годах, когда он и я находились в тюрьме Александровского завода, мы видались довольно часто; и мне казалось, что его настроение—ровное, спокойное; он не был похож на человека, который имел какие-то радужные ожидания и потерпел жестокое разочарование. Но надо помнить, что он был из числа тех людей, которые отнюдь не расположены выставлять напоказ свои огорчения.

О его пребывании в Тобольской тюрьме прибавлю еще несколько слов. Некоторые из поляков дали мне свои записные книжки и просили его в этих книжках написать несколько слов на память. Один из его автографов попал в книжку Иосифа Михайловича Рыбицкого, о котором я говорил во второй главе моих воспоминаний; и этот автограф я помню, может быть, в силу его лаконичности: «Н. Чернышевский, литератор», год, месяц и число.

В Тобольской тюрьме Николай Гаврилович пробыл приблизительно неделю; несколько недель—в Усольском солеваренном заводе [1], расположенном верстах в шестидесяти от Иркутска, не доезжая версты на три в сторону от большого тракта (из Томска в Иркутск). В этом заводе, кроме нескольких десятков поляков, находился русский—Зайчневский, о котором я говорил в третьей главе моих воспоминаний. Один из поляков (фамилию я забыл), находившихся в Усольском заводе во время пребывания там Николая Гавриловича, впоследствии рассказывал мне:

«Зайчневский у себя дома не любил сидеть; все у кого-нибудь в гостях;—то у смотрителя, то у акцизного чиновника, то еще у кого другого. И в комнате у него — столпотворение вавилонское: книги на столе и под столом, на кровати и под кроватью; тут же и грязное белье разбросано и сапожные щетки; ну, словом,—хаос какой-то. А как приехал этот ваш Чернышевский, смотрю: у Зайчневского книги все в порядке расставлены и разложены, которые на полочке, которые на столике, и Зайчневский дома сидит, читает, пишет; совсем другой вид стал,—должно быть, Чернышевский пробрал его здорово за беспорядок-то».

На пути от Усольского солеваренного завода до Кадаи продолжительных остановок у Николая Гавриловича, кажется, не было. Кадая находится приблизительно в тридцати верстах от Александровского завода, о тюрьмах которого я рассказывал в пятой и шестой главах моих воспоминаний. В каком именно месяце 1864 года Николай Гаврилович был привезен в Кадаю, я не знаю. Меня привезли в Акатуй в ноябре 1864 года, а его привезли в Кадаю, должно быть, несколько раньше этого времени. В тамошней тюрьме, кроме Николая Гавриловича и нескольких десятков поляков, на-

---

[1] В Усольский завод Ч. прибыл 10 июля 1864 г., а в половине августа был уже в Кадае (см. «Чернышевский в Сибири», вып. I, СПБ., 1912, стр. XII и XIII).

ходился еще один русский,—Михаил Илларионович Михайлов, о котором я упомянул в четвертой главе моих воспоминаний; он умер в 1865-м или 1866-м году [1].

3.

В первых числах февраля 1867 года в той тюрьме Александровского завода, которая носила название «полиции», содержалось девять арестантов: восемь человек русских (я в этом числе) и один поляк; все девять человек были только что перемещены комендантским правлением в эту тюрьму из других тюрем, подведомственных правлению. Очень скоро после нашего переселения в «полицию», может быть на другой же день, во всяком случае не дальше, как через два или через три дня—комендантское правление поместило в эту же тюрьму Николая Гавриловича, привезенного из Кадаи [2]; а еще через несколько дней—шестерых, сосланных по процессу Каракозова. С течением времени население «полиции» увеличилось еще шестью человеками, осужденными за разные преступления. Все обитатели «полиции» названы мною поименно в предыдущей главе; и о каждом я сообщил подробные сведения, насколько сам их имел.

Николай Гаврилович прожил с нами в «полиции» около года, может быть, немного меньше года или же немного больше. По освобождении из «полиции» (приблизительно в феврале 1868 года), он жил в том же Александровском заводе на квартире; на официальном языке это означало, что он был перечислен из разряда «испытуемых» в разряд «исправляющихся». В воскресные и праздничные дни он с разрешения начальства приходил к нам в тюрьму вечером и оставался у нас до следующего дня.

Вскоре после насильственной смерти несчастного Красовского [3], о которой я рассказал в предыдущей главе, Николай Гаврилович был опять посажен в тюрьму (в конце лета или в начале осени 1868 года), но уже не к нам русским, в так называемую «полицию», а в ту тюрьму Александровского завода, которая носила название «конторы». Расстояние между этими двумя тюрьмами незначительное, шагов двести или даже меньше; каждый из нас, обитателей по-

---

[1] М. Л. Михайлов умер 3 августа 1865 г.

[2] В Александровский завод Ч. был переведен в конце сентября 1866 г., на квартире жил приблизительно с 13 июля 1867 г. до половины мая 1868 г. (см. письмо к жене от 12 января 1871 г. «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 21).

[3] Как сообщает Стахевич в главе VI своих «Воспоминаний», Красовский, Николай Афанасьевич, б. кавалерийский подполковник, был арестован в 1861 (или 1862) г. в Киевской губ. и сослан в каторжные работы за пропаганду среди солдат. Будучи переведен в разряд «исправляющихся» и получив позволение жить на «вольной» квартире, К. весною или летом 1868 г. сделал попытку побега и был найден убитым и ограбленным в 40 верстах от Алекс. завода.

лиции, легко получал разрешение начальства пойти в контору к Николаю Гавриловичу и пробыть там несколько часов; но ему дозволялось приходить к нам в «полицию» только в большие праздники, значит—гораздо реже прежнего.

В тот промежуток времени, когда Николай Гаврилович жил в «полиции», я и прочие обитатели этой тюрьмы видели его очень часто, почти ежедневно. Его внешний облик был в то время приблизительно таков.

На вид ему было лет около тридцати пяти, я, по крайней мере, дал бы ему не больше этого, скорее даже меньше. В действительности ему было тогда почти сорок лет; но это, если не ошибаюсь, общее правило; блондины кажутся моложе своих лет. Рост средний; телосложение посредственное: плечи заметно покатые и грудь несколько впалая, волосы длинные, густые, светло-русые, заметно волнистые, но никаких зачатков кудреватости я не приметил; к слову «светло-русые» прибавлю: оттенка очень светлого, как бы среднего между светло-русым и так называемым льняным. На усах и на небольшой бороде волосы имели рыжеватый оттенок. Сероватые глаза, поглядывающие добродушно через стекла очков, иногда поверх стекол; без очков я его никогла не видел. Переносье низковатое, широкое и, так сказать, расползающееся; скулы заметно выдаются; это переносье и скулы много раз вызывали во мне мысль о примеси финской или даже монгольской крови. Цвет лица слегка желтоватый, без румянца. Голос Николая Гавриловича подкреплял впечатление, производимое его взглядом,—впечатление добродушия и простоты. Он почему-то довольно часто насмехался над своим голосом: «особенно, когда я иной раз наедине стану выводить рулады, происходит что-то неописуемое, являются какие-то непостижимые доли тонов; для постороннего уха—ужасно».

П. Ф. Николаев в своей брошюре упоминает, что Николай Гаврилович «в сумерки, а иногда и перед обедом, прохаживался по дворику и во время прогулки, если никого не было, распевал какие-то греческие гекзаметры; пел он их очень диким голосом и чрезвычайно смущался, если кто-нибудь из нас заставал его за этим занятием». Пения Николая Гавриловича я ни разу не слышал; может быть, для пения его голос был совершенно непригоден. Но его разговоры, рассказы, чтение я слышал многое множество раз; и мне всегда казалось, что он обладает прекрасным голосовым аппаратом, превосходно исполняющим свое главное назначение—выражать мысли, чувства и настроения человека.

Одет он был постоянно в халате из черного сукна, подбитого мехом из белой мерлушки, все края были оторочены такою же мерлушкою; на ногах имел большею частью валенки. Когда он жил в Заводе на квартире и оттуда приходил к нам, на нем бывал иногда черный сюртук, довольно щеголеватый, иногда просторный серый пиджак, попроще сюртука, но сшитый, очевидно, тоже из

очень хорошего материала и очень хорошим портным. Когда его поместили в контору, его постоянною одеждою сделался по-прежнему мерлущчатый халат.

В «полиции» он занимал ту комнату, которая находилась от входа в коридор направо, и два окна которой были обращены во двор; она имела около пятнадцати шагов в длину и семь или восемь шагов в ширину; свету в ней было достаточно. Несколько времени он помещался в другой комнате, которая находилась от входа в коридор тоже направо, но у которой два окна были обращены к пустырю, превратившемуся впоследствии в наш огород. Эта вторая комната имела в длину около пятнадцати шагов, как и первая, но в ширину только четыре или пять шагов. Причиною временного переселения его во вторую комнату были, кажется, какие-то переделки, производившиеся в первой комнате. На той квартире, которую он нанимал в Заводе, я не бывал ни разу и разговоров о ней не помню. В конторе он помещался в комнате, которая была размерами меньше, чем даже вторая из вышеупомянутых комнат полиции, и свету в ней было меньше; вообще конторская квартира была гораздо хуже, чем в полиции.

При очень редких посещениях нашей тюрьмы комендантом мы, всегда предуведомленные, надевали заблаговременно кандалы и встречали начальство, так сказать, в нашей парадной форме. Требовалось ли исполнение этой формальности также от Николая Гавриловича, не знаю; я его ни разу в кандалах не видел. Когда он жил в Заводе на вольной квартире, а потом, по распоряжению начальства, в конторе, о кандалах уже не могло быть и речи: по своду законов перечисление в разряд «исправляющихся» сопровождалось освобождением от кандалов.

Наш староста почти каждый день совершал более или менее обширное странствование по Заводу, вызываемое заботами о наших хозяйственных надобностях. Каждый из нас, если желал, мог легко получить от начальства разрешение итти вместе со старостой; насколько могу припомнить, Николай Гаврилович ни разу не просил о таком разрешении, даже когда был в полиции, а после, когда был в конторе, и подавно.

По тюремному двору он прохаживался довольно редко, и эти его прогулки бывали обыкновенно непродолжительны. Когда его поместили в конторе, где двор был еще меньше, чем в полиции, его прогулки по двору почти прекратились.

Когда мы получили от начальства разрешение превратить в огород довольно обширный пустырь, расположенный около полиции, этот пустырь во все время огородных работ считался как бы вторым двором нашей тюрьмы; размеры этого второго двора были довольно значительные; притом он не был обнесен высоким, тоску наводящим частоколом; вместо частокола была легонькая изгородь совершенно примитивного устройства. В течение всего дня каждый

из нас мог итти в огород и оставаться там неопределенное время. Но Николай Гаврилович, насколько могу припомнить, не был в нашем огороде ни разу. Я почти уверен, что он заводил с начальством разговор о предоставлении ему права бывать в нашем огороде, но начальство отказало ему и отказало, вероятно, в очень мягкой, вежливой форме: войдите, дескать, в наше положение; увидят заводские обыватели, пойдут у них разговоры, полетят в Петербург доносы,—и т. д. в этом вкусе.

К принудительным работам начальство привлекало нас очень редко, самые работы были совершенно пустяковые и кратковременные. Николая Гавриловича начальство не требовало никогда ни к каким работам.

Домашних работ у нас было немного: привезти из Таламы воды, перетаскать эту воду ушатами из бочки в кухню и в камеры; очистить картофель для нашего общего обеда; наставить общественный самовар два раза в день (изредка случалось и три раза); зимой—истопить печи. Все эти работы мы исполняли по очереди; но Николая Гавриловича не включали в очередные списки, выражая этим способом, хотя и очень слабым, наше уважение к знаменитому литератору, к наставнику радикальной молодежи, к патриарху нашей тюремной колонии. Он любил пошутить и однажды при нашем общем смехе и шутках возложил на себя титул «стержень добродетели». Этот титул так у нас и утвердился за ним и скоро принял сокращенную форму—«стержень»; разговаривая о нем между собой, мы очень редко называли отсутствующего «Николай Гаврилович», а вместо того почти всегда говорили «стержень». Слово добродетель мы считали равносильным французскому «vertu» и, следовательно, для нас титул имел значение «столп доблести».

Освобождая Николая Гавриловича от очередных домашних работ, мы, по правде сказать, оставались все-таки в большом долгу перед ним: наши маленькие услуги—пустяк; а он, между тем, немало времени тратил на сочинение для нас театральных пьесок, на рассказы и чтения; обо всем этом я буду говорить подробнее в своем месте.

Сам Николай Гаврилович как будто считал себя почему-то обязанным участвовать в одной из упомянутых домашних работ, именно в чистке картофеля для обеда. Я не раз бывал свидетелем такой сцены: двое, трое или даже четверо из нас, до которых по списку дошла очередь, стоим в кухне и срезываем кожицу с картофеля; выходит Николай Гаврилович с ножичком в руках, становится рядом с нами и начинает делать то-же самое. Иногда нам удавалось уговорить его, и он уходил обратно, а чаще так-таки на своем и упрется; очистим вместе с ним всю назначенную поваром порцию картофеля, тогда только и уйдем вместе с ним.

Обед Николая Гавриловича был такой же, как у всех прочих обитателей полиции; особых кушаний для него не готовилось. Но

мы знали, что по его желанию повар всегда старался зажарить и даже, так сказать, засушить посильнее тот кусок жаркого, который он отложил для Николая Гавриловича. Свое желание иметь сильно засушенный кусок жаркого он об'яснял нам, к слову пришлось, таким образом: «Такое жаркое для меня вкуснее и для моего здоровья полезнее. Я вот тоже с удовольствием и без вреда для себя ем корки сыра, жесткую кожицу свиного сала, сухую, рассыпающуюся кашу. Об'ясняю это вялостью желудочных стенок, все эти жесткие предметы, должно быть, возбуждают желудок к надлежащей деятельности».

В недавнее время я услышал от П. Д. Баллода, что была еще одна особенность в изготовлении жаркого для Николая Гавриловича: по его желанию оно поджаривалось не на масле, а на сале.

Когда он жил на квартире, он получал обед от домохозяев; когда его поместили в контору, обед носили ему от нас из полиции.

В качестве домашнего лечебника он имел в числе своих книг сочинение Кунце «Kompendium der praktischen Medizin», но заглядывал в эту довольно об'емистую книгу, по всей вероятности, не часто, так как никаких признаков мнительности не было у него заметно. Иногда у него на лице появлялась некоторая припухлость, как будто он не выспался; когда кто-нибудь из нас обращал на это внимание, он говорил: «Это у меня по временам бывают отеки от малокровия; надо будет принять железа». Насколько могу припомнить, у него был заготовленный для подобных случаев рецепт от давних времен, наш староста брал у него этот рецепт, заходил в больницу и приносил из тамошней аптеки какой-то железный препарат.

Курил он много, табак употреблял картузный, кажется довольно высокого сорта, свертывал из него внушительные папиросы, длинные и толстые, мундштук был тоже довольно длинный, вершков около трех. Если считать картузный табак предметом роскоши, то вот это и была единственная роскошь в его тогдашней материальной обстановке. Во всем остальном он жил так, как каждый из нас; о наших хозяйственных обстоятельствах я рассказал подробно в предыдущей главе.

Николай Гаврилович получал ежемесячно двадцать пять рублей, мне говорили, что это была пенсия, назначенная ему обществом литературного фонда. Казна отпускала для него паек такой же, как для всех прочих арестантов, подведомственных комендантскому правлению; наш староста в известные сроки получал от приходорасходчика пайки, причитающиеся всем обитателям полиции, в том числе и Николаю Гавриловичу.

4.

Николай Гаврилович книг имел с собой не особенно много; он охотно давал их для чтения каждому желающему из нас, и мы

в большей или меньшей степени пользовались ими; я поименовал их в предыдущей главе. Из наших периодических изданий ему присылали «Отечественные Записки» и «Вестник Европы», из французских — «Revue des deux Mondes», из английских — «Westminster Review» и «Athenaeum». О присылке заботился, кажется, Пыпин.

Книги были содержательные, очень пригодные для удовлетворения нашей любознательности, но для научной работы этот запас был недостаточен; однажды Николай Гаврилович высказался приблизительно такими словами:

«Я пробовал писать сочинение по политической экономии,— трактат, изложенный догматически, а не в форме полемики. Главы были бы расположены в том порядке, который я считаю логическим, вытекающим из существа этой науки. Отдельные теоремы были бы развиты с большею или меньшею подробностью в соответствии с теперешними запросами общественной жизни и с теперешним состоянием наших знаний. Начал, пишу, дохожу до такого пункта, где надо бы мне навести справку в таких-то книгах,— их нет. Ну, хорошо, думаю, этот пункт обойду как-нибудь, продолжаю; опять дохожу до другого пункта, о котором необходимо справиться, и нужных книг опять нет. Вижу, ничего не выходит, так и оставил эту работу».

Но привычка—вторая натура; обстоятельства на долгое время лишили Николая Гавриловича, сроднившегося с литературной работой, возможности писать статьи научного или публицистического содержания,—он стал писать беллетристические вещи. Между прочим он написал несколько пьес для тех спектаклей, которые два или три раза в году устраивались в тюрьме бывшими среди нас любителями сценического искусства. Когда я еще не имел в руках первой части десятого тома его сочинений (в издании его сына),—если бы в то время кто-нибудь попросил меня рассказать содержание пьес, я не был бы в состоянии сделать это: забыл, решительно забыл. Но, получивши книгу и прочитавши в ней три пьесы: «Другим нельзя», «Великодушный муж» и «Мастерица варить кашу», я по мере чтения припомнил, что именно эти пьесы были разыграны нашими любителями.

Той комедии—водевиля без названия, о которой очень сходными словами рассказывают Шаганов и Николаев в их брошюрах, я не помню; в собрании сочинений Николая Гавриловича ее тоже нет. Конечно, рукопись могла затеряться; полагаться безусловно на свою память не могу; очень возможно, что одновременно с ними я тоже видел эту пьесу, но впоследствии забыл.

Не произошло ли и с ними подобное забвение пьес, которые, как мне припоминается, существовали и были построены в таком роде: девушка-сирота состоит под опекой, опекун мотает ее имущество и затем старается выдать замуж за богатого старика или

за развратника, вообще за человека, который пригоден для прикрытия преступлений опекуна; хорошие, честные люди сокрушаются о девице, ломают голову, как бы это ее выручить из беды,—ничего придумать не могут; является практический человек, способный бороться с опекуном его же оружием, т.-е. хитростями и преступлениями, но только, в отличие от опекуна, сочувствие практического человека—на стороне обижаемой сироты и ее добрых хотя, к сожалению, неумелых друзей; он действует на свой лад, завлекает опекуна в лютую уголовщину (вроде подлога или воровства со взломом), грозит преданием суду, таким образом принуждает его совершить, что следует на пользу обижаемой девицы; не забывает и для себя получить хорошенький куртаж за хлопоты. Мне как будто припоминалось, что, несколько раз посмотревши подобную пьесу, я подводил итог в таком роде: пока Робеспьер и Дантон были союзниками, они побеждали общих врагов; впоследствии Робеспьер погубил Дантона, вскоре после того погиб и сам.

Теперь, по прочтении брошюр Николаева и Шаганова, в которых говорится довольно обстоятельно о наших тюремных спектаклях и, однако, нет ни слова о подобных пьесах, я склоняюсь к той мысли, что таких пьес, пожалуй, и не было; а мои припоминания следует в таком случае об'яснить тем, что в моей памяти переплелись и спутались в клубок следы впечатлений, вызванных когда-то двумя из названных пьес: «Мастерица варить кашу» (тут есть сирота, которую барыня якобы приютила и воспитала, а в действительности ограбила) и «Великодушный муж» (тут есть человек, который «преступлением утверждает добродетель» и, стало быть, приходится Дантону сродни).

5.

Когда Николай Гаврилович находился в «полиции», он приблизительно в каждую неделю раз (обыкновенно в воскресенье), а иногда и чаще, приходил вечером из своей камеры в нашу, большую (расположенную от входа в коридор налево); извещенные нами о его приходе, сюда же собирались обитатели прочих камер, и он читал нам свою беллетристику, сколько успел написать за неделю или вообще за предыдущие дни. Иногда написанного ничего не было, он рассказывал то, что предполагал написать; рассказывание шло так гладко, что слушающий, закрывши глаза, мог бы подумать, что Николай Гаврилович читает по тетради. Когда он жил в Заводе на квартире, он приходил к нам в тюрьму в воскресные и праздничные дни вечером, и чтения происходили попрежнему. Но когда он помещался в конторе, ему дозволялось приходить к нам в полицию только в большие праздники, значит—гораздо реже прежнего.

Первое беллетристическое произведение, которое он отчасти прочел, отчасти рассказал нам, называлось «Старина»[1]. Это был роман, в котором изображалось наше провинциальное общество времен, непосредственно предшествующих крымской войне. В начале романа рассказывается о Волгине, молодом человеке, который только что окончил университетский курс и едет в провинцию на службу; он сидит на почтовой станции в ожидании лошадей и перелистывает свою записную книжку. Там в числе прочих заметок оказывается несколько строк о крестьянской избе; строки имеют тот смысл, что если бы это жилье было назначено для коровы или для лошади,—хлев был бы не особенно хорош, но, можно сказать, сносен. В другой заметке упоминается, что сочинение Мара по ветеринарии было для своего времени очень удовлетворительно.

Когда студент выехал со станции, на одном из переездов он делается случайным очевидцем такой сцены: дорога идет берегом реки; на реке густой ледоход; на противоположном берегу видна толпа крестьян, о чем-то галдят, размахивают руками, указывают один другому на какой-то предмет, барахтающийся в некотором расстоянии от их берега; из барской усадьбы подбегает к толпе барышня, говорит с ними несколько секунд, выхватывает у кого-то из них длинный шест и начинает перепрыгивать с одной льдины на другую, направляясь к барахтающемуся предмету; ее отвага увлекает нескольких человек из толпы, и они общими силами вытаскивают утопавшего.

Приехавши в губернский город, место своей службы, Волгин поселяется у своих родителей, с которыми устанавливается у него очень сносный modus vivendi, так как простодушный консерватизм одной стороны и холодный, анализирующий радикализм другой стороны оказываются по многим важным житейским вопросам ничуть не враждебными между собой. Я помню, как было изображено в романе отношение обоих сторон к одному из житейских вопросов, который, повидимому, мог бы оказаться причиною раздора между двумя поколениями, однако не оказался,—к вопросу о взяточничестве[2]. Старикам оно представляется учреждением, существующим спокон веков, действующим в рамках, так сказать, обычного права, не заслуживающим, вообще говоря, никакого особенного внимания и осуждения, за исключением тех, сравнительно редких, случаев, когда человек черезчур увлекается и «не

---

[1] «Старина» была послана с оказией А. Н. Пыпину, — о чем свидетельствует письмо Ч. без даты и подписи, полученное Пыпиным в июле 1870 г.,— но не дошла по назначению. См. Полн. Собр. Соч. Ч—го, т. X, с р. 29.

[2] О взятках упоминается в саратовском дневнике Ч—го от 9 января 1853 г.: «...не могу делать ничего, расстроен разговором о том, что следует еще дать денег А. И. М. для Николая Дмитриевича (Пыпина, двоюродного дяди Ч.), чтобы получил он место. Маменька не хочет». См. Полн. Собр. Соч., т. X_2, стр. 7).

по чину берет». Их сын так же мало склонен горячиться по поводу взяточничества, как и его родители: ему оно представляется не корнем болезни, а только одним из ее симптомов; корень другой, «коль лестницу мести, так надо сверху», в противном случае сор, как ни мети с нижней ступени, очень скоро опять свалится на нее с верхней ступени. В этой части романа автор коснулся подобным же образом некоторых других житейских вопросов; но припомнить их теперь я уже не в состоянии.

Волгин влюбляется в Платонову, ту барышню, которую он видел спасительницей утопавшего человека. У барышни несколько поклонников; один из них не совсем обычного вида, и о нем стоит сказать несколько слов. Он—губернский прокурор, происходит из разночинцев, ненавидит дворянство; «если бы эти остолопы не лежали бревнами поперек дороги моей и подобных мне, я, конечно, давно был бы уже министром; а по милости этих паразитов и застряну здесь прокурором». Он отлично изучил между прочим «Ami du peuple» Мара, многие места цитирует наизусть. Когда до него доходят дела о злоупотреблениях помещичьей властью, он неумолим и неподкупен; в других делах—взяточник бесцеремонный. «Вот два скота ведут между собой тяжбу о наследстве. Институт наследства—сам по себе нелепость; неужели я стану стараться о беспристрастной оценке доказательств, представляемых сторонами. Кто из этих скотов больше даст, того доказательства я и приму за более веские; и тогда уже моею обязанностью будет подкрепить эти доказательства ссылками на законы и на практику наших судов. Я даром денег не возьму; доказательства противной стороны с грязью смешаю; при моих знаниях и при моей памяти это удастся мне всегда и непременно». Какую фамилию дал автор этому поклоннику Платоновой, я не помню; а о наружности кое-что помню: брюнет самой темной марки; лицо худощавое, желчное; глаза—темные и блестящие, как уголья со вспыхивающими искрами.

Платонова—барышня бойкая, веселая, любит танцы и вообще развлечения, но кроме того она довольно усердно занята добыванием каких-то сведений и справок, нужных ей для оказания помощи сиротам, имуществом которых завладел какой-то пройдоха и чуть ли даже не самозванец, т.-е. он появился в городе под тем именем, которое, как подозревает Платонова, ему не принадлежит. Я не могу вспомнить подробностей этого эпизода в романе, но помню, что для получения желаемых сведений Платонова принимает иногда у себя каких-то женщин почтенного возраста и совершенно не почтенной наружности; при появлении кого-либо из поклонников эти подозрительные особы довольно быстро удаляются, но у поклонников шевелится мысль: «ведь это какие-то, должно быть, сводни». Каждого из них и без того грызет жестокая ревность; встреча с предполагаемыми своднями—последняя капля в напол-

ненный стакан; происходит бурное требование об'яснить свои поступки; Платонова отвечает коротко и ясно в том смысле, что не желает входить ни в какие об'яснения; «а вас прошу заметить раз на всегда, что опекуны и надзиратели не нужны мне, я их не выношу». Если поклонник не исчезает из ее свиты после первой головомойки, она через некоторое время проделывает какую-нибудь штуку, еще более компрометирующую ее по внешности.

Любовь Волгина особенная: он предан Платоновой беззаветно, не пред'являет никаких претензий и сомнений; что по ее мнению хорошо,—значит, оно и есть хорошо, хотя бы другим казалось, что оно—не хорошо, хотя бы даже ему самому казалось так, как и другим. «Мы все ошибаемся, и больше ничего; а она не может ошибиться, потому что натура у нее великолепная. Соловей не может каркнуть по-вороньему, если бы даже захотел».

Дело оканчивается их свадьбой. Во время обряда венчания в церкви довольно много любопытствующих, как это бывает обыкновенно. Некоторые особы женского пола устремили на жениха и невесту особенное внимание в то время, когда они приближались к ковру, разостланному перед налоем: кто станет на ковер первым. Произошла маленькая заминка, которой любопытствующие кумушки никак не ожидали: перед самым ковром жених и невеста остановились на несколько секунд; а потом было заметно, что жених легонько толкнул невесту, так что она чуть-чуть покачнулась и волей-неволей ступила на ковер первая.

Довольно обширным эпизодом в романе являлся крестьянский бунт. Для автора чрезвычайно характерна относящаяся к этому эпизоду заключительная сцена: бунт усмирен силою оружия, но предводитель бунтовщиков скрылся; через несколько дней к Волгину заходит человек, одетый в чуйку, повидимому, какой-то мещанин,—это и есть разыскиваемый властями предводитель бунтовщиков; у него с Волгиным происходит непродолжительный разговор, в конце которого Волгин неожиданно для собеседника наклоняется к его руке и целует ее. Он добывает в скором времени паспорт и несколько денег для этого человека; и тот устраивается в каком-то городе в качестве мелочного торговца (по тогдашнему—в звании купца третьей гильдии).

Я изложил содержание «Старины», насколько оно сохранилось в моей памяти, преимущественно с тою целью, чтобы указать на существующую в этом романе примесь автобиографического элемента, примесь очевидную и довольно значительную. Если рукопись «Старины» затерялась, считаю эту потерю очень прискорбною прежде всего и больше всего для будущего биографа Николая Гавриловича. Но, кроме того, думаю, что и для нашей беллетристической литературы эта потеря далеко не безразлична. В вопросах беллестристики я мало сведущ,—заурядный читатель, из каких состоит большинство нашей читающей толпы; следовательно,

мое мнение имеет значение очень неважное; тем не менее решаюсь высказать его: слушая в чтении Николая Гавриловича «Старину», а впоследствии «Пролог пролога», я пришел к тому заключению, что люди, события и времена, изображенные в «Старине», по своему общественному значению далеко уступают изображенным в «Прологе»; и несмотря на то, картины в «Старине» ярче, выпуклее, живее, чем в «Прологе»; чувствуется (т.-е. чувствовалось мною), что автор изображает мысли, чувства и события, которые глубоко запали ему в душу в молодые, свежие, бодрые годы его жизни,— в наилучшие годы. Мне кажется, что беллетристический талант Николая Гавриловича проявился в «Старине» с большею силою, нежели в каком-либо другом из его произведений на поприще беллетристики.

6.

Вслед за «Стариной» Николай Гаврилович отчасти прочел нам, отчасти рассказал роман «Пролог», состоявший из двух частей: «Пролог пролога» и «Дневник Левицкого»; этот роман вошел в полное собрание его сочинений, в первую часть десятого тома. Напечатанный текст кое в чем отступает от той версии, с которою автор ознакомил нас в те давние времена; но отступлений немного, и, вообще говоря, они незначительны. Так, напр., в тогдашнем изложении Волгин был по профессии не литератором,—он был адвокатом при коммерческом суде (согласно с письмом Николая Гавриловича, которое Пыпин получил в июле 1870 года и которое напечатано на 28—30 страницах 1-й части 10-го тома). Разговоры Волгиной с Нивельзиным и Мироновым (стр. 67—88) были гораздо короче. В дневнике Левицкого эпизод с Анютой (стр. 196—210 и 216—218) или совершенно отсутствовал, или был сокращен сильнейшим образом. В разговоре Соколовского с Волгиным (стр. 115—121) тирада Волгина: «По его (Нивельзина) мнению, крымская война почти то же для России, что война 1806 года была для Пруссии. Я полагаю, что союзники взяли Петербург и Москву, как тогда французы Берлин, а во власти русского правительства оставалась только Пермь, как тогда у прусского—Мемель»,—эта тирада была отодвинута почти к самому концу разговора и притом была выражена словами более резкими, приблизительно такими:

— Все наши реформы, как произведенные, так и предстоящие,— мишура, о которой не стоит говорить. Если бы союзники взяли Кронштадт... нет, Кронштадт мало... если бы союзники взяли Кронштадт и Петербург... нет, и этого мало... если бы они взяли Кронштадт, Петербург и Москву,—ну, тогда, пожалуй, у нас были бы произведены реформы, о которых стоило бы говорить.

Когда Николай Гаврилович читал и отчасти рассказывал нам этот роман, особенно понравились нам следующие места: встреча Нивельзина и Волгиной с Соколовским и Тенищевой (стр. 98—

107), последовавший за этою встречею разговор Волгина с женою и с Нивельзиным (стр. 107—111), обед у Савелова с участием графа Чаплина (стр. 142—151), обед у Илатонцева с участием Волгина (стр. 169—182), разговор Волгина с Левицким или, точнее сказать, монолог Волгина, изложенный в дневнике Левицкого (стр. 211—215). Перечитывая указанные страницы напечатанного текста, я испытывал теперь почти такое же удовольствие, какое чувствовал тогда, сорок лет назад, внимательно слушая чтение Николая Гавриловича, стараясь не проронить ни одного слова...

Повесть «Тихий голос» в тогдашнем изложении Николая Гавриловича была значительно короче текста, напечатанного в 1-й части 10-го тома его сочинений, а именно: о мечтаниях рассказчицы (стр. 42—52) говорилось очень мало; эпизод с Лачиновым (стр. 53—69) был рассказан гораздо короче; о свадьбе Машеньки Каталонской (стр. 75—90) или ничего не говорилось, или говорилось совсем мало. Может быть, вследствие этих сокращений тем резче выдвигались на первый план и тем сильнее приковывали к себе внимание слушателей слова Лачинова о тягостном положении рассказчицы, из круга которой фатальным образом уходят молодые люди, получившие образование (стр. 64 и 65); а также слова доктора о необходимости для рассказчицы слушаться медиков и о вреде для нее всякого аскетизма (стр. 107 и 108). Тирада по адресу Гончарова (стр. 130) «не первый и не в последний раз я выставляю в произведениях нашей литературы мысли, которых не было в головах авторов. Критик не обязан угощать публику своими соображениями о лице автора и домашними дрязгами о том, что автор не понимал смысла картин, которые изображал»,—эта тирада и относящееся к ней подстрочное примечание Николая Гавриловича почему-то крепко засели у меня в памяти и сохранились там с большею отчетливостью, нежели многие другие места повести.

Из тех рассказов, которые Николай Гаврилович, так сказать, читал нам наизусть, т.-е. без рукописи, в моей памяти особенно ярко выделяется один с такой фабулой: молодой человек, окончивший университетский курс, приезжает на свою родину в провинцию и через некоторое время становится женихом девушки, репутация которой сомнительна; приятель делает ему предостережения в соответственном смысле и дает доброжелательные советы; жених выслушивает предостережения и советы, повидимому, довольно хладнокровно и даже возражает в шутливом тоне; но, оставшись наедине, он чувствует жесточайшую ненависть к доброжелательному советчику и жгучую потребность отомстить ему; на столе лежит перочинный нож, он машинально вертит его туда и сюда, делает себе на пальце глубокий надрез,—кровь, однако же, не выступает из надреза. «Значит, очень сильный прилив крови в мозгу»,—мелькает у него в сознании. Мало-по-малу он соби-

рает свои мысли воедино, идет к доброжелательному советчику, принуждает его к немедленной дуэли и убивает. Этот рассказ запечатлелся у меня в памяти чрезвычайной яркостью изложения: все это как будто перед глазами живое проходило.

Николай Гаврилович упоминал о некоторых темах, намеченных им для будущих «Рассказов из Белого Зала». Первая тема захватывала (по внешности) седую древность: по деревням самнитов гонцы, посланные старейшинами, выкрикивают весть о войне с этрусками (или с каким-то другим соседним племенем) и прибавляют, что самнитским воинам назначено старейшинами собраться там-то, тогда-то; глашатаи заканчивают свои выкрикивания напоминанием об исконном законе самнитов, в силу которого воин, явившийся последним, будет предан смертной казни. На сборный пункт последним пришел молодой самнит, недавно женившийся; должно быть, трудно было ему расставаться с юною подругою жизни,—вот и замешкался. Закон неумолим; о возможности помилования ни у кого и мысли не возникает; сам преступник не считает возможным просить своих единомышленников о милости, о нарушении священного закона. Но в последние минуты перед казнью к собравшемуся отряду подбегает, запыхавшись, едва дыша от усталости вследствие продолжительной, быстрой ходьбы,— подбегает еще один человек, такой же молодой, как и стоящий у плахи преступник. Они оба долго и упорно ухаживали за девушкой, которая стала, наконец, женою первого из них. К сборному пункту они отправились из своей деревни одновременно, но второй умышленно сбился с дороги, проплутал некоторое время и тогда уже явился в назначенному месту, чтобы положить под топор свою голову и отвести этот удар от человека, которого любит она, владычица его души...

Вторая тема была из средних веков, из времен борьбы свободных крестьян, обитавших где-то по берегам Немецкого моря, с баронами, старавшимися обратить их в своих крепостных людей. В этом рассказе должна была играть первую роль девушка, по имени Эльза; самый рассказ предполагалось озаглавить «Эльза Гвидаторе», т.-е. Эльза Предводитель; но почему итальянское прозвище «Гвидаторе» забралось на север Германии, я теперь уже не могу припомнить.

Третья тема намечалась из нашей, российской жизни последнего времени. Герою этого рассказа Николая Гаврилович предполагал дать имя «Алферий», пояснивши нам, что по-гречески это имя означает «Свободный» (Елевферий). Этот предполагавшийся рассказ имел ли какое-нибудь отношение к той неоконченной повести под заглавием «Алферьев», которая напечатана во 2-й части 10-го тома его сочинений, я не знаю.

Четвертая тема предполагалась тоже из российской жизни: главным лицом рассказа являлась ученая барышня, которую родственники и близкие приятельницы зовут уменьшительно-ласка-

тельным именем «Лоринька»; из какого имени они образовали эту уменьшительно-ласкательную форму, я забыл [1]. В рассказе было бы упомянуто, что барышня успешно трудится над составлением энциклопедии юридических наук, и у нее том за томом вырастает сочинение, имеющее для юристов значение вроде того, какое для астронома имеют летописи гринвичской обсерватории; «таких книг никто на свете сплошь читать не в состоянии, а только ученые, когда нужно, раскрывают их для справок». Значительная часть рассказа изображала бы барышню почти воплощением отвлеченного разума, так сказать, жрицей холодной, бесстрастной науки; в дальнейшем течении рассказа постепенно обнаруживался бы живой человек, кость от кости нашей и плоть от плоти нашей,— человек со слабостями, но тем не менее очень хороший человек.

В течение нескольких вечеров Николай Гаврилович пересказывал нам о государственном перевороте во Франции 2-го декабря 1851 года, упомянувши, что в своем изложении он руководствуется сочинением Кинглека о крымской войне. Прочитавши во 2-й части 10-го тома его сочинений статью «Рассказ о крымской войне по Кинглеку», я увидел, что он пересказал нам тогда с наибольшей подробностью ту часть статьи, которая принадлежит Кинглеку, и по отношению к которой он является лишь переводчиком; с меньшей подробностью—те многочисленные и обширные примечания, которыми он сопровождает текст Кинглека; и, наконец, совсем не излагал нам послесловия статьи (стр. 143—173), в котором содержатся его собственные рассуждения о великих правителях, о проекте раздела Турции и о виновности русской публики в возникновении войны. Рассказывая о том, как Флери искал подходящего для их шайки генерала, которого можно было бы назначить на должность военного министра, и нашел Сент-Арно (стр. 79), Николай Гаврилович присоединил упоминание об арабах, которых Сент-Арно задушил дымом костров, разложенных у входа в пещеру, в которой укрылись арабы [2]. Рассказывая о действия Морни в ночь на 2-е декабря и о французском административном механизме, благодаря которому министр внутренних дел может распоряжаться

---

[1] Лоринька — уменьшительное от Аврора; это имя упоминается в «Рассказах А. М. Левицкого» (продолжение «Рассказов из Белого Зала»), произведении, несколько листков которого было отобрано у Ч. в Вилюйске при обыске 30 декабря 1873 г. (они одни сохранились и находятся в копии в Архиве Октябрьской Революции, переменн. фонд, оп. 2, дело № 230, ч. 26), а также в его повести «Отблески сияния», написанной в Вилюйске, попавшей там к некоему Меликову и доставленной в 1917 г. Мих. Ник. Чернышевскому чрез Академию Наук (хранится в Доме-музее имени Н. Г. Чернышевского в Саратове).

[2] О том, как Сент-Арно, подражая Пелиссье, удушил в 1845 г. 500 арабов, укрывшихся в Шеласской пещере, дымом костров, разложенных у входа в пещеру, рассказывается Ч—ким во 2-й (ненапечатанной) части «Рассказа о Крымской войне по Кинглеку» (хранится в Архиве Октябрьской Революции).

всею нацией (стр. 85), Николай Гаврилович с горечью и с некоторым раздражением вставил сентенцию: «Франция управляется до последнего времени в сущности так же, как она управлялась при Людовике Четырнадцатом».

Рассказывая о Флери, выставляя его наиболее энергичным из всех членов шайки, произведшей переворот, Николай Гаврилович с особенной яркостью изложил ту сцену (стр. 84), когда один из членов шайки стал пятиться назад; Флери отвел его в соседнюю комнату, пригрозил ему заряженным пистолетом; когда оба через две-три минуты возвратились к прочим товарищам-заговорщикам, колебавшийся товарищ был бледен, как смерть, но ни о каких колебаниях уже не заикался. Эта сцена довершала впечатление, производимое рассказом о всех вообще действиях Флери; получался итог: безшабашный авантюрист.

Рассказывая о военносудных комиссиях, учрежденных новым правительством, и об их свирепой деятельности (за несколько недель более 26.000 было отправлено этими комиссиями в Алжир и в Кайенну), Николай Григорьевич выразился словами Кинглека, что комиссии этими ссылками отборных людей обезлюдили Францию (стр. 114), и прибавил: «Кинглек говорит, что если бы в Англии выхватить отборных людей в таком же количестве двадцати шести тысяч и отправить их куда-нибудь в Ботани-Бэй и в другие заморские тюрьмы, то и в Англии стало бы возможно завести порядки вроде турецких; и я соглашаюсь с его мнением». В напечатанном тексте я не нахожу таких слов Кинглека по отношению к Англии; может быть, они находятся в дальнейших главах его сочинения, которые не переведены Николаем Гавриловичем.

Наполеон Бонапарте, во имя которого был произведен переворот, в пересказе Николая Гавриловича являлся совершенно посредственным человеком, личностью дюжинной, неважною, мелкою. В его пересказе упоминалось, что теплые ребята, совершившие переворот, когда увидели благополучный для них исход этого разбойничьего предприятия, без всяких рассуждений предоставили Наполеону полнейший простор заниматься сочинением новой конституции для Франции; сами они этими пустяками не интересовались, высказываясь, приблизительно, такими выражениями: «будет ли одна палата или две палаты—какая в том важность. Пусть будет хоть семьдесят семь палат, править-то будет наш кружок, настоящая-то власть будет в наших руках; в этом вся суть; а всякие там главы, параграфы, палаты—наплевать». О таких мнениях членов шайки в напечатанном тексте статьи не говорится; может быть, это есть в дальнейших непереведенных главах сочинения Кинглека.

Раз'езды Наполеона по полям Мадженты и Сольферино (стр. 118) были изображены с большою живостью в пересказе Николая Гавриловича; и тут он тоже прибавил подробность, которой в напе-

чатанном тексте я не нахожу, а именно: когда являлись курьеры с разных пунктов поля битвы с докладами о ходе сражения и требовали посылать через них соответственные приказания, Наполеон только и знал, что обращался к сопровождающим его офицерам генерального штаба и лепетал: «avisez» (распорядитесь).

Однажды Николай Гаврилович принес с собой книжку «Westminster Review» и сказал, что хочет прочесть нам небольшую статью о польском восстании 1863 года, помещенную в этой книжке; развернул книжку и, следя глазами за английским текстом, пересказал нам всю статью. Главный смысл статьи был тот, что восстание было явлением как бы стихийным; автор приводил подлинные слова нескольких участников восстания, которые говорили ему, приблизительно, так: «Многие из нас прекрасно помнили об огромном перевесе сил, которые могут быть двинуты русским правительством против нас; помня это, не имели ни малейшей надежды на успешный исход восстания, и тем не менее присоединялись к повстанцам, увлекаемые каким-то могучим потоком национального энтузиазма». Тон статьи был сдержанный, деловой, но вполне сочувственный к полякам. Окончивши пересказ статьи, Николай Гаврилович обратился к нам: «Ну, как находите, господа? Статейка, мне кажется, недурненькая». Особенно горячего одобрения статьи никто из нас не высказал, но и осуждения ее ни от кого не было. В это время мы уже знали из газет и журналов о тех землеустроительных мерах на пользу населения, которые были осуществлены правительством, очевидно, под влиянием восстания: о понижении выкупных платежей за замельный надел бывших помещичьих крестьян в Литовских губерниях и о наделении землею значительной группы крестьянского населения в Царстве Польском.

Прочитавши упомянутую статью о восстании, Николай Гаврилович не счел нужным сказать два-три слова об этих земельных мероприятиях, явившихся последствием восстания; и из нас в этот раз никто не заговорил об этом предмете. Впоследствии мне случилось, разговаривая с Николаем Гавриловичем, выразиться в том смысле, что нельзя считать польское восстание бесплодным для массы населения; и я указал на земельные мероприятия, упомянутые выше. Николай Гаврилович ответил почти безразличными словами, вроде «пожалуй, так-то оно так», и не обнаружил расположения заниматься дальнейшим разбирательством этого вопроса; но по его тону и манере я заключил, что его мнение сводится, приблизительно, к такому итогу: выигрыш-то, пожалуй, есть, но заплачено за него слишком дорого,—не стоит он такой цены.

По связи предмета упомяну здесь еще об одном случае, подавшем Николаю Гавриловичу повод сказать несколько слов, относящихся к Польше. В числе сосланных поляков находился Ляндовский (имени его не знал и не знаю), которого я видел раз-другой мельком; красивый брюнет, лет, повидимому, двадцати пяти и даже,

пожалуй, моложе. Никаких подробностей о его аресте и о суде над ним мне не рассказывал никто, но несколько человек из среды поляков передавали мне, как несомненный факт, что Ляндовский, известный среди революционеров под псевдонимом «Коса», в течение довольно долгого времени был в Варшаве начальником революционной жандармерии, т.-е. начальником так называемых жандармов-кинжальщиков и жандармов-вешателей. Комендантское правление поместило его сначала в Акатуйской тюрьме (значительно позже того времени, когда я и несколько десятков поляков были перемещены из этой тюрьмы в Александровский Завод), а потом, приблизительно в 1867 году, в той тюрьме Александровского Завода, которая называлась «первый номер». Как-то раз он зашел к Николаю Гавриловичу, пробыл у него час-полтора. Никому из нас, разумеется, и на мысль не приходило задавать когда бы то ни было вопросы Николаю Гавриловичу о содержании его разговоров с кем бы то ни было из его посетителей; но очень скоро после разговора с Ляндовским, или в тот же самый день, или в один из ближайших дней, он сам упомянул о нем и прибавил: «Потолковали мы с ним о том, о другом. Ну, что же, говорю: как ни рассуждайте, а русская армия вас всегда задавит. Д-да (некоторая пауза). Какое мое мнение о Турции? Гм... Какое же мнение может быть, кроме худого? Ведь тамошние порядки... Что об этом говорить?»

7.

Для меня и для некоторых других сотоварищей по тюрьме было на первое время совершенною неожиданностью, что теоретические мнения Николая Гавриловича были решительно в пользу политической свободы[1]. Мы, тогдашние молодые люди, которых поли-

---

[1] Горячим поборником политической свободы и непримиримым врагом самодержавия Ч. был уже в студенческие годы, о чем свидетельствуют многие страницы его Дневника. См. в особенности запись в Дневнике от 20 января 1850 г., где говорится:

«С год тому назад писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих об'ятиях до конца развития в нас демократического духа, так что, как скоро начнется народное правление, правление de jure и de facto перейдет в руки самого низшего и многочисленнейшего класса—земледельцы плюс поденщики плюс рабочие, так чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низших, что это противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном: монарх, а тем более абсолютный монарх,—только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежит к ней... Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше; пусть народ неприготовленным вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться потому, что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже

тические мнения сложились в значительной степени под влиянием «Современника», т.-е. под влиянием Николая Гавриловича, Добролюбова и их сотрудников,—мы исповедывали символ веры, приблизительно, такой: в жизненном строе народа наибольшую важность представляет материальное благосостояние массы населения; к этому благосостоянию следует стремиться неуклонно; все прочее приложится,—зажиточный народ приобретет просвещение, проявит чувство личного достоинства, завоюет политические права, в случае надобности, переделает политические учреждения; политические формы—сами по себе ничто: конституция и республика могут совмещаться не только с благосостоянием масс, но также и с их нищетой; абсолютизм может совмещаться не только с нищетою масс, но также и с их благосостоянием. Мелким, но довольно характерным проявлением нашего вероисповедания была наша манера отзываться о тех немногих товарищах-студентах, которые интересовались и увлекались вопросами чистой политики (в противовес вопросам экономики): мы пренебрежительно говорили о них «занимаются политическими бирюльками». И вот при одном из первых же наших собеседований с Николаем Гавриловичем в «полиции» он заявил себя горячим сторонником политической свободы. В конце нашего бурного спора он выразился так:

— Вы, господа, говорите, что политическая свобода не может накормить голодного человека. Совершенная правда. Но разве, например, воздух может накормить человека? Конечно, нет. И, однако-же, без еды человек проживет несколько дней, без воздуха не проживет и десяти минут. Как воздух необходим для жизни отдельного человека, так политическая свобода необходима для правильной жизни человеческого общества.

Я сказал ему:

— Вы видите, Николай Гаврилович: мы люди молодые; разобраться в решении какого-нибудь сложного вопроса нам трудно, потому что знаний у нас недостаточно для того; мы часто и во многом полагаемся на своих руководителей. Наше равнодушие к политическим формам сложилось под разными влияниями, между прочим, в значительной степени и под влиянием «Современника». Зачем же вы и ваши сотрудники писали там о политических формах зачастую так пренебрежительно?

и в средних классах; а низшим, которые ты предоставил на решительное угнетение, на решительное иссосание средним, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что они угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что им нет надежды ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым» (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие. Т. I. М., 1927, стр. 496).

Он ответил:

— Иногда нужно бывает писать именно так [1].

Меня этот ответ не удовлетворил: что значит «иногда»? При каких именно обстоятельствах следует писать так, при каких иначе? Но дальнейших вопросов я не задал. И я, и прочие сотоварищи чувствовали, что обе стороны слишком взволнованы и разгорячены,—и мы, и он. В дальнейшие дни, когда мы были спокойны, вопрос уже не поднимался вторично. Повидимому, каждая сторона молчаливо осталась при своем: он—сторонник политической свободы; мы (точнее сказать, некоторые из нас)—с предвзятою решимостью встретить политическую свободу хмурыми и подозрительными взглядами; ведь эта лукавая дама, хотя и может принести трудящемуся люду нечто осязательно полезное, но также может принести вместо того одни только красивые слова, которые при данном соотношении общественных сил не могут воплотиться в жизни и, следовательно, остаются пустыми звуками.

Крайне пренебрежительное отношение Николая Гавриловича к нашим земским учреждениям показывало, что он не усматривает в них никакого намека, ни даже самого слабого, на конституционные учреждения, никакого шага, ни даже самого крошечного, который приближал бы нас к политической свободе. Я не помню за все три года (с марта 1867 года до марта 1870 года) ни одного случая, чтобы он сам заговорил о земских учреждениях, и помню только один случай, когда он был, так сказать, втянут нами в разговор на эту тему, и, втянутый, он высказался приблизительно такими словами:

— Вы много раз видели, как происходит у нас во дворе кормежка поросят; они сбегаются к корыту с гнилой картошкою и разною бурдой, толпятся, толкают и кусают один другого, хрюкают, взвизгивают—это и есть наши земцы.

О действиях судебных учреждений Николай Гаврилович разговаривал, напротив, довольно часто, особенно охотно о случаях столкновений между адвокатами и председателями судов, о протестах адвокатов против стеснения защиты и об их угрозах уйти

---

[1] «Иногда нужно бывает писать именно так».—В силу цензурных условий Ч—кому приходилось писать так, чтобы развиваемые мысли имели *с виду* благонамеренный характер; за этим *явным* смыслом читатели не всегда угадывали *сокровенный*. Ч. рассчитывал, что его поймут хоть когда-нибудь: «Мы оставались равнодушными даже тогда, когда слышали укоризны себе от людей, которых уважаем более, чем кого-нибудь; надеемся оказаться равнодушными к порицаниям против нас и вперед, пока будем сами чувствовать, что хотели говорить правду и может быть успели достичь того, чтобы в наших словах была хоть тень ее, хотя какое-нибудь самое неполное и слабое указание на нее, которое будет понято хотя одним из десяти между нашими читателями, понято хотя не в ту минуту, когда он читает наши попытки говорить ее, а хотя когда-нибудь...» («Современник», 1860, май, политика; Полн. Собр. Соч., т. VI, стр. 517).

из залы заседаний суда, если стеснение защиты будет продолжаться. Надо и то сказать: судебные уставы, действовавшие в те годы, были еще не теперешние; дух, господствовавший в тогдашних судебных учреждениях, был тоже еще не теперешний. Между прочим, Николай Гаврилович высказал однажды свое мнение о генезисе наших преобразованных судов:

— Дворянство задает тон всей нашей общественной жизни. Пока существовало крепостное право, дворянство не могло допустить судов теперешнего устройства с их гласностью и с состязанием равноправно-поставленных сторон: засекание людей на барских конюшнях, поругание женщин в барских гаремах, ужасающая жестокость крестьян в тех случаях, когда они теряли терпение и становились бунтовщиками,—все это выплывало бы на божий свет, вызывало бы широко распространенные разговоры и рассуждения, подрывало бы основу государственного строя—крепостное право. Этого дворянство не могло допустить. Но вот, так или иначе, по тем или по другим причинам, крепостное право пало; хорошие суды теперь не страшны дворянству,—они и вводятся.

Но суды—сами по себе, административная расправа—сама по себе. По поводу ее кто-то из нас высказал мысль, что у медали две стороны, и что правительство, разбрасывая неблагонадежных суб’ектов по градам и весям нашего обширного отечества, тем самым содействует распространению революционных понятий в населении; вследствие этих ссылок политические вспышки могут обнаружиться в таких местах, которые сами по себе, без ссыльных, оставались бы спокойными. Николай Гаврилович покачал головой.

— Это не так, уголья в куче горят, разбросанные—гаснут.—После некоторой паузы он еще раз покачал головой и прибавил:—А вдобавок и уголья у нас худые: в куче—и то гаснут.

Насколько могу припомнить, из числа обитателей «полиции» ни один не относился с одобрением к покушению Каракозова; некоторые находили его не имеющим смысла при данных обстоятельствах; другие и я в их числе были того мнения, что оно не может иметь смысла ни при каких обстоятельствах [1]. Однажды завязался между несколькими из нас разговор на эту тему, разговор спокойный и даже, можно сказать, флегматический,—настолько флегматический, что я ощутил расположение и возможность сделать экскурсию идиллическую и довольно длинную ко временам моего детства и заговорил в таком роде:

— В Путивле, господа, возле того дома, в котором я родился на божий свет и прожил до одиннадцатилетнего возраста, находилась довольно обширная площадь; одна сторона этой площади

---

[1] Покушение Каракозова имело место 4 апреля 1866 г. Разговоры о нем в присутствии Ч. могли вестись не раньше, как около полугода спустя, так как Ч. был привезен в Александровский завод в конце сентября 1866 г.

представляла впадину, не особенно, впрочем, глубокую; в эту впадину обитатели соседних домов выбрасывали навоз и всякий мусор; а на этом навозе и мусоре разросся великолепнейший бурьян, среди которого преобладали толстые, крепкие стебли дурмана. Мы, мальчуганы из соседних домов, часто избирали дурманную заросль местом для своих забав: протискивались между стеблями, мяли их, иногда ломали (с большими усилиями), иногда вырывали с корнем (вырвать стебель легче, нежели сломать, но все-таки и вырывание—вещь не совсем легкая); кое-где в заросли появлялись как будто маленькие плешинки, но в скором времени все опять выравнивалось. Я иногда вспоминаю эту дурманную заросль и задаю себе вопрос: а если бы мы принялись вплотную и вырвали бы все стебли дурмана до последнего? Что тогда вышло бы? Надо думать, не вышло бы ничего: некоторое количество зерен осталось бы в почве, или ветер занес бы их из соседних местностей; а почва для зерен была так хороша, что они разрослись бы очень быстро до прежних размеров. Вот, господа, моя длинная присказка; а за нею следует совсем коротенькая сказка: французы казнили Людовика Шестнадцатого, прогнали Карла Десятого, прогнали Луи Филиппа, а в конце концов царствует у них Наполеон Бонапарте,—и хрен оказывается не слаще редьки. Из всего этого мой вывод: было бы болото, а черти всегда найдутся.

Некоторые собеседники поддержали меня и напомнили, что существует еще одна меткая поговорка с таким же смыслом: было бы корыто, а свиньи всегда найдутся. Другие задали мне вопрос:

— А как же по вашему с дурманом поступить? Махнуть на него рукою, что ли? Пускай себе разрастается и процветает?

— Совсем нет. Надо действовать на почву всеми средствами—механическими, физическими и химическими в таком направлении, чтобы она сделалась непригодною для дурмана и благоприятною для растений других пород. Как говорил Кузьма Прутков: нужно смотреть в корень вещей.

Николай Гаврилович, присутствовавший при этом разговоре, не вмешивался в него, но о моем заключительном мнении высказался одобрительно:

— Действовать на почву непременно следует; это хорошо, полезно, необходимо; главное, не надо поддаваться квиетизму,—все, дескать, делается силами природы и истории, от нас не требуется никаких усилий и борьбы. Как это можно! Без усилий и без борьбы не получим никогда ничего.

Какие приемы политической борьбы Николай Гаврилович считал наиболее целесообразными у нас, в России, при наших общественных отношениях, я не знаю. Из тех мнений, которые он высказывал в разное время по разным поводам, большею частью мимоходом, вскользь,—из них я мог сделать только тот вывод, что он не одобряет тактики прямолинейной. В предыдущей главе я при-

вел его отзыв о прямолинейном революционерстве Муравского[1]; здесь приведу его слова, сказанные в другое время по какому-то другому поводу:

— Жизнь сложна; компромиссы приходится делать на каждом шагу. Вот, например: мы здесь, можно сказать, все отрицаем брак в том виде, как он теперь существует; а ведь нельзя же не жениться. В вопросах религии мы все приближаемся более или менее к свободным мыслителям; и однако, если бы власть оказалась в наших руках, мы, пожалуй, были бы не прочь потолковать: не следует ли прибавить архиереям жалование. Не правда ли, Сергей Григорьевич? Можно бы прибавить?

Почему эти последние слова были обращены именно ко мне, а не к кому-нибудь другому из слушателей, это я сейчас об'ясню. Когда нам случалось говорить о посещении церковных богослужений массою нашего населения, я всегда высказывался в том смысле, что наш простолюдин получает от всей вообще церковной обстановки и от всей богослужебной обрядности множество необычных впечатлений, которые непременно вносят хоть какую-нибудь освежающую струю в его жизненный обиход, скучный, тусклый, серый; при этом я иногда ссылался на изречение Вольтера: l'église c'est l'opéra des gueux. Кто придает значение благолепию церквей и благообразию служб, кто видит в том и другом источник некоторой материальной, физиологической пользы для массы населения, к такому человеку можно обратиться полу-шутя, полусерьезно со словами о каких-нибудь церковных порядках, хотя бы, например, и о жаловании архиереям.

8.

Все свои книги Николай Гаврилович охотно давал для чтения каждому желавшему из нас. Если кто обращался к нему с просьбой раз'яснить какое-либо недоразумение, он охотно исполнял такую просьбу, как это мне известно по личному многократному опыту. Один раз случилось, что я зашел к нему со своими вопросами, а он был, повидимому, занят, что-то читал; я извинился и хотел зайти в другое время; он сказал:

— Нет, нет; оставайтесь и будем толковать. Для меня давно уже прошло то время, когда человек с наслаждением и с жадно-

---

[1] Приводим со слов автора настоящих воспоминаний отзыв Ч—го о Муравском:

— «Он принадлежит к разряду тех прямолинейных революционеров, которые не умеют, да и не хотят принимать в соображение обстоятельства времени и места. В критические моменты народной жизни эти люди пронесут свое знамя чрез сцену действий; это они умеют делать и сделают. Но критические моменты редки и коротки; до них и после них надо махнуть на этих людей рукой: ничего из них нельзя извлечь, или разве очень мало. Святые младенцы: святые—правда, но и младенцы—тоже правда» (Стахевич, гл. VI).

стью увеличивает запас своих знаний. Сочинение Фейербаха о религии—последняя книга, которую я читал с захватывающим интересом. А после нее совсем не то. Давно уже я чувствую удовольствие не в том, чтобы накоплять знания, а в том, чтобы их распространять; мне приятно делиться своими знаниями.

Собеседования наши с Николаем Гавриловичем имели своим содержанием большею частью темы исторические и политико-экономические. Постараюсь изложить с возможною точностью некоторые из собеседований, оставшихся у меня в памяти; начну с исторических тем.

Прочитавши у Шлоссера о спартанском коммунисте Агисе, я обратился к Николаю Гавриловичу с вопросом, приблизительно, такого содержания:

— Агис жил так давно, слишком две тысячи лет назад; общественные отношения тогдашней Спарты, насколько они известны нам, были очень непохожи на общественный строй теперешних государств. Уподобляясь Кифе Мокиевичу, я задаюсь вопросом: если бы, положим, у нас в России энергичный государь, с характером вроде как у Петра Первого, провозгласил бы переворот в земельных отношениях на пользу массы населения, выражаясь проще—отдал бы помещичьи земли крестьянам без всякого выкупа, что последовало бы дальше? Устоял бы новый порядок, или нет?

Николай Гаврилович первыми словами своего ответа поддержал мой шутливый тон [1]:

— Если бы слон снес яйцо, скорлупа была бы очень толстая... Шутки шутками; а если оставить шутки и посмотреть на ваше предположение, как на особого рода задачу, вроде арифметической, мой ответ таков: всего правдоподобнее, что в первое время помещичий класс был бы поражен ужасом, все в нем притаилось бы тише воды, ниже травы; но известно, что за свою собственность люди готовы драться с таким же ожесточением, как за свою жизнь, и даже с большим ожесточением, чем за жизнь; очень скоро эти привилегированные люди, считая себя обиженными, стали бы составлять

---

[1] Сравни размышления Волгина (т.-е. Чернышевского) в «Прологе» (Полн. Собр. Соч., т. IX, стр. 173):

... «Потому-то он и улыбался с угрюмою ирониею, размышляя о том, какую буколику строит он в пользу помещиков, и как несходно с нею то, что они не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа. Должно—и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука. Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение—злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих, заграбленных у народа доходах; безнаказанны за все угнетения и злодейства; противно, обидно за справедливость,—и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен...».

заговоры против царя-грабителя, стали бы распространять в населении тревожные слухи вроде того, что царь недоволен крестьянами и хочет повернуть все по-старому; или—хочет всех крестьян зачислить в военные поселяне, как при графе Аракчееве было, или—хочет всех переселить на границу, кого на турецкую, кого на китайскую; и так дальше в этаком роде. Кроме того, науськивали бы крестьянские селения одно на другое: этим, дескать, земля досталась хорошая, а вот тем—худая. Я уверен, что предполагаемое в вашей задаче поголовное отнятие земли у помещиков без всякого вознаграждения за нее имело бы одним из своих первых последствий значительную взволнованность населения. Дальше—не знаю; задача неопределенная, допускающая много разных решений; всегда могут возникнуть обстоятельства неожиданные и непредвиденные. Вспомните, например, Гракхов: они искренно желали народу добра и были, повидимому, близки к успеху; но они не имели намерения обманывать народ, считались с обстоятельствами данного времени, с соотношением общественных сил и обещали народу то, что считали достижимым. Их противники сознательно старались обмануть народ; они стали щедро обещать народу золотые горы, и именно потому были щедры, что твердо решили не дать народу даже ломаного гроша. Ну, народ и отшатнулся от Гракхов: чересчур они умеренны, скупы; а вот те—другие, те настоящие благодетели народа... При стечении соответственных обстоятельств эта пьеса могла бы быть разыграна и у нас. Надо твердо помнить правило: будьте чисты как голуби и мудры как змеи.

Вторая тема—падение Рима. Николай Гаврилович много раз, по разным поводам и с заметным одушевлением излагал нам то одно, то другое доказательство в подтверждение своего мнения, что Римская империя пала не от каких-нибудь внутренних причин, не от каких-нибудь смертельных недугов, будто бы пропитывавших насквозь ее общественный строй, а от чисто внешней причины,—от наплыва диких орд, которые раздробили империю на много частей и во всех раздробленных частях приостановили развитие наук и гражданственности на целое тысячелетие. Перечитывая статью «О причинах падения Рима», помещенную в восьмом томе собрания его сочинений, я убедился, что все, сказанное нам об этом предмете изустно, содержится в напечатанной статье, и что все слышанные нами доводы изложены в статье с большой подробностью и последовательностью. В собрании сочинений указано, что статья входила в состав майской книжки «Современника» за 1861 год; насколько могу припомнить, в том же году эта книжка была в моих руках, и я просматривал в ней, между прочим, и эту статью, но просматривал очень поверхностно и потому заметил из нее очень мало. Прочим обитателям «полиции» статья была, повидимому, совершенно незнакома. При разговорах на эту тему

кто-то из нас задал вопрос: христианство оказало ли влияние на ход дел в Римской империи? Ведь первые христиане проповедывали коммунизм и словами, и самою жизнью, это была коммунистическая община. Кто-то другой возразил, что у нас в Крыму лет пятьдесят назад отставной солдат по фамилии, кажется, Капустин основал молоканскую секту, и живут они тоже вроде коммунистов; какое же было их влияние на ход дел вообще в России? Да никакого не было; вот подобное соотношение, количественное и качественное, существовало восемнадцать веков назад между общиной первых христиан и Римским государством. Николай Гаврилович сказал пару слов в том смысле, что и он представляет себе соотношение названных элементов в те времена, приблизительно, в таком же виде.

Третья тема—сочинение Бокля «История цивилизации в Англии», в особенности глава о влиянии духовной власти на жизненный строй Испании [1]. Слова Николая Гавриловича были, приблизительно, таковы:

— Не поддавайтесь свыше меры влиянию мнений Бокля: его ученость далеко не так обширна и многостороння, как представляется на первый взгляд. Он ссылается на великое множество

---

[1] О Бокле Ч. упоминает в статье «Полемические красоты» («Современник», 1861, № 7; Полн. Собр. Соч., т. VIII, стр. 265) и в одном из примечаний (не напечатанных) к своему неоконченному переводу «Введения в историю XIX века» Гервинуса, писанных в крепости в апреле 1864 г. В Доме-музее имени Чернышевского в Саратове хранится экземпляр «Истории цивилизации в Англии» (на английском языке, второе издание, Лондон, 1858—1860) с весьма многочисленными критическими замечаниями Ч. на полях. В конце перечня книг, которыми пользовался Бокль, имеется подсчет: «всего ровно 600. Из них французских 175, немецких 9, английских переводов с немецкого 12, французский 1, древних и средневековых латинских 11, переводов с восточных языков 7». В одном замечании Ч. говорит о Бокле: «Насколько понимает, очень любит прогресс и очень горячо ненавидит зло. Но много вредит: 1) то, что приступил к делу без философского образования или с отсталыми сведениями о немецких философах—Теннеман и Кант, дальше он не пошел (да и вообще немецкий язык, вероятно, затрудняет его); 2) что рылся в книгах без всякого дельного выбора, как читают юноши, бросающиеся на всякую дрянь». Относительно исторической роли духовенства Ч. (в примечаниях к Гервинусу) выражается так: «Общий исторический факт состоит в том, что духовное сословие, как духовное сословие, проповедовало и действовало, сознательно или бессознательно, в интересах действительной власти, а эта власть—светская власть—покровительствовала такому учению и сословию пастырей, заботившемуся о его распространении, усилении, поддержании. Было много частных исключений из этого: духовные пастыри иногда становились демагогами, иногда проповедниками национальной борьбы против иноземцев,—что ж делать? Они были люди и увлекались иногда мотивами, противоположными характеру их звания и общих своих убеждений. Например, во время Лиги католические священники примыкали к демократам. Но это были временные и местные исключения, не сглаживавшие общего характера, с каким является духовное сословие: говоря вообще, оно всегда служило—по духу своих религиозных наставлений народу—слугою существующего порядка, предержащих властей».

сочинений; попробуйте сосчитать число страниц только в некоторой части указанных книг, и вы убедитесь, что в течение целой жизни человека нет физической возможности прочитать столько страниц; иные книги он, должно быть, только перелистовал, в других прочитал по несколько страниц или даже по несколько строк. В Испании, как и в других государствах, господином положения всегда была и есть светская власть, она верховодит и распоряжается, а не власть духовная. Бокль впадает в ошибку по той причине, что он придает значение различным фактам в том виде, как они представляются поверхностному наблюдателю, не вникающему в происхождение этих фактов и в их связь с другими фактами. Посмотрите хотя бы и у нас: обедня кончилась, губернатор подходит приложиться к кресту, целует руку архиерея; судя по этой внешности, светская власть смиренно преклоняется перед властью духовной; но мы все хорошо знаем, что в действительности власть губернатора чувствуется всем населением губернии несравненно чаще и несравненно сильнее, чем власть архиерея.

Четвертая тема—о Петре Первом [1]. «Человек был с характером. Нам необходимо было сближаться с европейцами, учиться у них;

---

[1] Вот взгляд Ч—го на Петра I, изложенный им в письме к А. Н. Пыпину из Астрахани, от 7 декабря 1886 г. (будет напечатано в 3 томе «Литературного Наследия»):

«Мое мнение о Петре Великом имеет некоторое сходство с мнением Костомарова о нем; разница та, что я отбрасываю уступки, которые Костомаров делает хвалителям Петра. И, разумеется, у меня нет заимствований из славянофильства, какие вероятно есть (не помню теперь, есть они или нет, но думаю, что есть) у Костомарова. Я смотрю на дело исключительно с точки зрения существенных интересов русского населения тогдашнего государства. Оно было бедно и невежественно. Ему было нужно облегчение лежавших на нем тяжестей. Петр увеличил их. Русским нужно было просвещение. Но было ли нужно принуждать их учиться у западных народов? Я полагаю, нет, потому что они сами имели, я полагаю, влечение к этому. О том свидетельствует еще Флетчер. Россию держали в положении, в каком до недавнего времени держали Японию. Только потому просвещение мало переходило с Запада в Россию. Достаточно было, чтоб снято было запрещение, и русские сами стали б учиться. Кто принуждал учиться турецких славян? Не обошлись ли они и без принуждений учиться? Отношение русских к просвещению было не иное, как отношение турецких сербов. Кто принуждает турецких армян учиться? Они стараются учиться. Меры, принимаемые Петром для так называемого «просвещения» народа, имели характер, отталкивающий русских от просвещения, возбуждали ненависть к просвещению. А то так называемое «просвещение», о котором заботился он, было просто технической муштровкой специалистов по военной службе и другим официальным надобностям. Так «просвещал» Египет Мегмет-Али, так просвещал Пенджаб Ранджит-Синг, а раньше того так просвещал гуннов—Аттила. Это не деятели просвещения. Гуннам, вероятно, не могли повредить никакие меры Аттилы. Эти дикари по своим привычкам во всяком случае должны были погибнуть, погубив, насколько смогут, своих соседей. Прежде, нежели могло совершиться смягчение их нравов, они были должны уж погибнуть, потому что зашли в средину народов, грабить которых было ремеслом слишком прибыльным, по их сравнительному бо-

мы и делали это, и со времен Ивана Третьего наши заимствования становятся уже очень заметными. Петр действует как будто в этом же направлении; энергично пересаживает к нам как будто ту самую технологию, к которой мы тянулись и до него; декретирумые им новшества в покрое одежды, в развлечениях, в семейном укладе как будто те самые, которые полегоньку, да потихоньку пробирались к нам и до него. Да, как будто... Но прежние новшества, если не всегда, то очень часто клонились к пользе, удобству и удовольствию обывателей; его новшества почти всегда клонятся к пользе и к возвеличению правителя. Ход наших нововведений можно изобразить в таком виде: до него наши кузнецы и слесари,

---

гатству. Так было потом с аварами, пришедшими в ту же землю. Когда пришли туда венгры, кругом была уж бедность; потому соблазн грабежа был менее велик, и венгры успели несколько образумиться, прежде чем дошло дело до полного их истребления грабимыми соседами; «велика ль добыча? а нас много убито в походе; посидим дома, пока оправимся»,—это спасло венгров. У гуннов и аваров не могло явиться такой мысли, потому что добыча была еще велика. Итак, за погибель значительной части—быть может половины, быть может большинства—гуннов в походах Аттилы я не виню Аттилу: это был народ с такими обычаями, в таком географическом положении, что дело было неизбежно. Потому я не считаю особенно повредившей гуннам «просветительную» деятельность Аттилы (он приглашал техников, других всяческих дельцов из цивилизованных стран; вероятно, хлопотал также, чтобы гунны учились у них). Правда, военные машины и другие вещи, которые приобрел Аттила этими заботами о «просвещении» гуннов, помогли ему проникать с гуннами и дальше в глубину цивилизованных земель, чем могли бы проникать они без «просвещения», заведенного у них Аттилой; потому цивилизаторская деятельность Аттилы была вредна для соседей гуннов; но сами гунны—на Рейне, а не на Марне, в Северной Италии, а не в Средней—погибали б и без «просвещения» в таком же числе, как и с ним, и для гуннов не было особенного вреда от забот Аттилы об их просвещении. Но пенджабцы времен Ранджит-Синга и египтяне времен Мегмета-Али были уж не бездушные и безумные дикари без всяких влечений к чему-нибудь кроме грабежа и распутства. Потому Ранджита-Синга и Мегмета-Али я считаю людьми, делавшими вред пенджабцам и египтянам. Как турецким армянам теперь, как турецким сербам в начале нынешнего века, русским времен Петра была нужна только свобода учиться; принуждение не было нужно. Приобрели ль они от Петра хотя маленькую свободу учиться?—Нет; он во всем ввел только муштровку; муштровка у него была и в школах такая же, как в казармах; и отправляемых за границу учиться он посылал лишь муштроваться по его инструкциям. Свободы учиться он не допускал. Это видим из истории, бывшей с Татищевым. Палка за всякое движение, не предписанное регламентом, была одна и та же в ученом кабинете и на плац-параде. Россия была бедна; Петр разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравшимися на совещание о делах по его смерти). Русский народ имел уж влечение учиться; Петр, насколько мог, внушил ему ненависть к просвещению. Он не в силах был искоренить влечение учиться; оно было уж привычно, хотя еще и слабо; и по географическому положению России неотвратимо должно было развиваться; подавляемое Петром (т.-е. характером забот Петра о муштровке) оно, хотя и ослабело, но пережило Петра; при Екатерине I, Петре II, Елисавете дело пошло, как шло при Алексее, Федоре, Софии: муштровка велась, но вели ее спустя рукава, и благодаря слабости забот о ней, влечение учиться оправилось от угнетения Петра, стало развиваться».

поучившись у европейцев, применяли свое знание и искусство в значительной степени к выделке лемехов, заступов, гвоздей, замков, вообще—к предметам обывательского хозяйства; при Петре—почти исключительно к выделке пушек, ружей, сабель,—вообще к предметам правительственного хозяйства. Без Петра хозяйственное положение нашего обывателя было бы лучше; ему жилось бы удобнее и легче. А что касается его воздействия на наши общественные нравы, тут уже он оказывается совсем вредным человеком: все эти его пирушки и ассамблеи обнаруживают в нем изумительную способность вносить какую-то тлетворную заразу во всякое сборище людей, желающих повеселиться; принимая участие в таком сборище, он тотчас превращает его в кабак и непотребный дом».

Пятая тема—о Луи Филиппе. Прочитавши рассказ о последних событиях его царствования, закончившихся отречением его от престола и бегством из Парижа, я обратился к Николаю Гавриловичу с вопросом: почему Луи Филипп уступил, почти не попытавшись двинуть против бунтовщиков массу вооруженных сил, находившихся в его распоряжении. Должно быть, струсил до крайности? Растерялся?

— Нет, он был человек смелый; это было видно и в его молодые годы, когда он участвовал в сражениях, и в пожилом возрасте, когда он подвергался многочисленным покушениям на его жизнь. В его царствовании было несколько восстаний, усмиренных вооруженной силой; но тогда бунтовали или республиканцы, или голодные рабочие—люди нашего круга, представители как будто особой людской породы, чужой для короля и для окружающих его. Теперь, в феврале 1848 года, заодно с рабочими были люди среднего класса, люди своего круга, не какие-нибудь чужаки; направлять удары на людей своего круга—это уже не так легко; и притом было ясно, что если завяжется настоящее сражение, оно будет очень кровопролитное, упорнее тех сражений прежних, в которых участвовали только республиканцы и рабочие. Фамилия Орлеанов владеет огромными поместьями и вообще очень богата; Луи Филипп жил скромно и даже скупо, делал большие сбережения из своего цивильного листа, имел крупные вклады в банках и, надо думать, понимал не хуже нас с вами, что с денженками можно прожить очень хорошо и без всякой короны, прах ее побери совсем... Ну, вот и все; отрекся и удалился.

Упоминание о денженках так понравилось мне, что я поспешил дать Николаю Гавриловичу реплику: «теперь понимаю, вполне понимаю».

Шестая тема—о современной Англии.

— У англичан то хорошо, что они делают—делают крепко; сделанное не разделывается. Правительственный механизм, находящийся под безусловным контролем парламента; широкое самоуправление; свобода слова и печати; привычка к самодеятельности,

проявляющаяся между прочим в многочисленных союзах взаимопомощи,—все это создает у них такую общественную атмосферу, что при всей горячности политической борьбы призывы к соблюдению законов и к сохранению порядка исходят от вожаков всех борющихся сторон, в том числе и от вожаков рабочих. Когда английскому рабочему говорят: добивайся желаемых тобою целей, но не нарушай законных прав твоих сограждан, пока эти права не упразднены законным порядком, рабочему эти слова понятны, и он принимает их в соображение. На континенте не раз случалось, что рабочие называли подобные слова смешными и бессмысленными, они выросли и живут в других привычках; они находят понятным и принятым, когда им говорят: бей, жги, грабь. Это печально, но иногда, к сожалению, неизбежно: когда палка сильно искривлена,—чтобы ее выпрямить, надо ее перегнуть в противоположную сторону; покорный раб и яростный бунтовщик—две стороны одной и той же медали. В своих стремлениях к улучшению общественных отношений Англия стоит впереди всех народов, и эта передовая позиция, вероятно, еще долго будет занята ею, другие нации нескоро догонят ее. Избирательное право у англичан распространяется все шире, захватывает новые слои населения; рабочий класс приобретает все большее влияние на ход дел. А когда рабочие люди приобщаются к политической борьбе, поступательное движение наций сильно ускоряется. Когда мы, люди среднего класса, становимся сторонниками рабочих, это обыкновенно влечет за собой более или менее значительную потерю для нас в имущественном отношении: ведь существующие имущественные отношения так именно и устроены, чтобы жирные куски доставались нам, людям привилегированных классов, а рабочий чтобы получал об'едки и жил бы всегда впроголодь; и значит, когда рабочий окунается в политику, он не только служит почитаемой им идее, но сверх того подготовляет улучшение своей, так сказать, имущественной карьеры; потому рабочий вносит в борьбу такую цельность и страстность, которая для большинства из нас прямо-таки непостижима; эта-то страстность и ускоряет поступательное движение нации. Да, долго еще Англия будет шагать впереди континентальных наций. Случилось мне недавно прочесть об испанских делах: оказывается, существует у них какая-то литературно-политическая фракция вроде наших славянофилов; эта фракция утверждает, что обновление мира произведут испанцы,—никто другой, а именно испанцы. Ну, на что это похоже? Какая-нибудь Чухлома или Кострома об'явила бы нам, что именно она возродит Россию к какой-то новой жизни...

Седьмая тема—о Китае [1]. В те годы, если кто-нибудь произносил слово «желтая опасность», под этими словами разумелся только

---

[1] Ч. считал совершенно несостоятельным об'яснение исторических судеб того или другого народа его расовыми особенностями (см. его перевод

Китай; Япония в те времена представляла собою то, что на языке дипломатов принято называть une quantité négligeable. О Китае случалось нам говорить не раз; слова Николая Гавриловича были приблизительно таковы:

«Оснований политической экономии» Дж. Ст. Милля, Полн. Собр. Соч., т. VII, стр. 18—21, примечание). Вот что он писал о Китае в неоконченной статье: «Общий очерк положения наук в начале второй половины XIX века» (писана в крепости в январе 1864 г.; не напечатана):

«При нынешнем знакомстве с Китаем, надобно назвать заблуждением обычное выражение «китайская неподвижность»: в Китае жизнь точно так же никогда не останавливается, как и в Европе, как и во всякой стране после выхода из дикого состояния. Не подлежит сомнению, что китайская нация очень долго шла путем прогресса, совершенствовала свои понятия, обычаи, учреждения; что с давнего времени она подверглась обратному движению, и уже несколько веков материальная и умственная жизнь ее попирается. Вообще не знают этого второго факта, и воображают, будто бы все в Китае держится на одном и том же уровне чуть ли не тысячу лет, или больше. Нет; довольно отдаленная старина Китая имеет к нынешнему его состоянию такое же отношение, как времена Александрийской цивилизации к позднейшей Византийской жизни. Но в чем надобно искать причину этого регресса? Всякому известен привычный ответ—«китайская цивилизация не могла развиваться выше известного предела по своей односторонности; ее существенные элементы неспособны к широкому развитию». Но это не ответ, это лишь маскирование неохоты или неуменья об'яснить дело. «Почему явление таково — потому что оно имеет такую сущность. Почему хина излечивает лихорадку — потому что сущность хины излечивать лихорадку, или: потому что сущность лихорадки излечивается хиною». Это не ответы. Логика требует, чтобы в ответе было не пустое, ничего не об'ясняющее слово, а об'яснение специальных условий и отношений, производящих факт, или было честное сознание: «не умею отвечать, потому что не знаю». Впрочем, к прекрасному решению «причина неподвижности заключается в неспособности к движению» почти постепенно прибавляется и указание специального условия—«китайская замкнутость»; предполагается, что китайцы стали неспособны к продолжению своего развития потому, что отчуждены от других народов, замкнувшись в самих себя: не видят разнообразия, лишены возможности сравнивать с собою другие народы, с своими обычаями другие формы жизни, и потому истощились у них материалы для соображений, пресеклись побуждения изменять и улучшать привычное. Продолжать говорить такие вещи ныне значит не хотеть или не уметь принять в соображение факты, известные каждому. Китайцы вовсе и не думали отказываться от сношений с народами других цивилизаций: в Китае живут арабы, евреи. Коренной Китай постоянно расширял границы своей колонизации. Китайцы столько же замкнулись от других цивилизаций, как любой из европейских народов. Весь ошибочный говор об этом основан на том, что в течение некоторого времени китайцы не хотели иметь у себя европейских посольств и пускать европейцев жить в Китае. Но во-первых, эта система принята была очень недавно, существовала всего лет полтораста,—как же распространять ее на историю нескольких тысячелетий? Во-вторых, это была мера, принятая вследствие случайных обстоятельств, прискорбных самим китайцам; китайцы изгнали от себя европейцев точно по таким же соображениям, по каким через несколько времени после того почти все католические правительства изгнали из своих земель иезуитов. Когда Португалия, Испания, Франция в третьей четверти прошлого (XVIII) века закрыли свои границы для иезуитов, это вовсе не означало, что их правители враждебны католичеству или хотя иезуитскому воззрению на католические догматы: им только показалось, что иезуиты вредны для внутреннего по-

— В круг мирового товарообмена они уже втянуты очень заметно и, разумеется, с каждым годом будут втягиваться сильнее. Вместе с тем умножатся и усилятся всякого рода личные отношения к лю-

---

рядка, что удалить их значит уменьшить домашние смуты. И в Китае, как тут, изгнание не имело своим основанием ни национальную исключительность, ни религиозную нетерпимость, а было следствием дипломатических и полицейских надобностей, из особенных временных обстоятельств, а не из общих принципов национальной жизни. Это не более, как особенный случай того, что называется политикой невмешательства. Так Северо-Американские Штаты считали выгодным для себя устраниться от всякого вмешательства в европейские распри. Такую же цель имели китайцы. Еще ближе будет сравнить закрытие Китая для европейцев с обыкновенными распоряжениями и заботами всех правительств об ограждении существующего порядка от враждебного ему действия политических эмиссаров других правительств. Тут нет ничего особенного. Но допустим, взглянем на дело даже и с той обычной точки зрения, неосновательность которой об'яснена предыдущим разбором. Предположим, на минуту, что китайцы действительно замыкались от всякого прикосновения с другими цивилизациями, чего вовсе они не делали. И в таком случае полем и материалом их наблюдений и сравнений, источником сил развития для их цивилизации остается все пространство, на котором господствует их цивилизация. Границы этого пространства—Океан, Зондское море, Гималаи, полоса земли от Гималаев к Аральскому морю, Сибирские тундры или до недавнего времени Ледовитый океан. Это пространство в несколько раз больше того, на котором развивалась до недавнего времени европейская цивилизация.

«Новая Европа начала узнавать Китай в такие времена, когда еще могла бы заимствовать у китайцев не какие-нибудь отдельные внешние изобретения, а уроки и пособия для общего характера своих понятий и обычаев, как заимствовала из греко-римской древности. В XVII веке, даже до третьей четверти XVIII века есть довольно значительные проявления мысли, что европейцы должны стать учениками китайцев. Для примера довольно сослаться на Лейбница и Вольтера: у них есть страницы, проникнутые таким же чувством к цивилизации Китая, с каким Геродот говорил о Египте: почтением, близким к поклонению. Это впечатление—исторический факт; ошибочно ли было оно, или нет, но оно существовало. Из его существования само собою следует, что если бы тогда житейские или хотя умственные сношения Европы с Китаем были сильны, Европа подверглась бы влиянию китайской цивилизации,—может быть и вероятно, менее сильному, чем влияние арабской в предшествующие столетия, но точно также неотразимому. Этого не было, потому что и до сих пор связи Европы с Китаем слишком незначительны. Чего ждать в будущем? Они растут. Нет ни малейшего сомнения в том, что китайская нация начнет переделывать свою жизнь под влиянием европейских учреждений, обычаев и понятий. Но можно ли быть уверенным, что Европа подвергнется взамен сильному влиянию Китая?

«Когда нация, имеющая теперь, по всей вероятности, бóльшую многочисленность, чем все нынешние цивилизованные нации взятые вместе, примет участие в обработке человеческой жизни с пособиями нашей цивилизации, то по натуральному закону следует ожидать что работа пойдет успешнее, и китайцы будут полезными сотрудниками европейцев, как в Европе работа одной нации была всегда полезна прогрессу других наций. Но то будет новая работа, над новою цивилизациею, служащею развитием нынешней европейской».

См. также статью Ч. «О расах», написанную в астраханской ссылке и приложенную к переводу «Всеобщей истории» Вебера, т. VII (Полн. Собр. Соч., X_2, стр. 81—96, особенно стр. 93—95); в этой статье Ч. касается и вопроса о так называемой желтой опасности, считая подобные страхи фантастичными.

дям других национальностей по делам торговли, сухопутной и морской перевозки, устройства путей сообщения, найма чернорабочих и т. д. Это вступление нового члена в мировую семью народов—какое влияние окажет на общий ход всех вообще дел этой семьи? Право, не знаю. Собственно говоря, не об чем бы тут так сильно задумываться, если бы не одно обстоятельство: очень уже их много; и вот это меня несколько смущает. Говорят, четыреста миллионов; значит, больше населения всей Европы. Очень уж много...

9.

При наших собеседованиях затрагивалась иногда политико-экономическая тема о пище населения вообще, а в особенности о количестве мяса, потребляемого рабочими; статистика показывала тогда, как и теперь, что даже среднее количество мяса, причитающееся на каждую единицу населения, представляет собой величину довольно скромную; а так как люди среднего и высшего классов кушают побольше средней величины, то рабочему человеку достается, очевидно, поменьше средней величины, которая и сама-то по себе невелика. У Блокка были приведены, между прочим, за несколько лет цифры потребления конского мяса в Париже, показывавшие, что потребление конины заметно увеличивается; были указаны средние цены конины и других сортов мяса; насколько могу припомнить, сравнение цен давало основание заключить, что потребление конского мяса возрастает вследствие его сравнительной дешевизны. Я задал Николаю Гавриловичу вопрос: почему бы людям не обратить внимание на человеческие трупы, которые сгнивают в земле без пользы для кого бы то ни было, иногда даже со вредом для соседнего с кладбищами населения,—продуктами разложения насыщают почву, заражают водяные источники и колодцы.

— Нет, нет, это совсем не годится. По слову апостола, для чистого все чисто, но в том-то и горе, что в нас таятся многие зверские инстинкты, и надо избегать всяких действий, способных расшевелить в нас зверя. Уровень понятий и привычек массы населения не так велик, как это было бы желательно. Людоедских племен на земном шаре почти уже нет; и слава богу. Но разве так уже давно человек оставил привычку с'едать другого человека. Вы, наверное, в детстве или слышали, или читали сказки, в которых баба-яга убивает человека, из его тела делает начинку для пирогов, этими пирогами угощает странника, заблудившегося к ее логовищу; тот во время еды замечает в начинке человеческий ноготь; и дальше уже там пойдет о другом. Сказки с подобным эпизодом о пироге с начинкой из человеческого мяса существуют решительно у всех племен, которыми занимались этнографы. Эта изумительная распространенность и живучесть эпизода, который

пересказывается и сохраняется в памяти людей из поколения в поколение, доказывает, что мы еще не очень далеко отошли от тех времен, когда мясо одного человека поедалось другим человеком; отошли не очень далеко от предков-людоедов; и потому нам не следует допускать такую пищу, которая может пробудить и расшевелить в нас наклонность к людоедству. Если же мы желаем серьезно заботиться о пользе, которая может быть извлечена нами из составных частей нашего организма, нам надо итти по другой дороге, направить внимание в другую сторону. Сообразите сами: вес взрослого человека составляет, положим, 4 пуда, 5 пудов; в течение года вес выделяемых человеком экскрементов и мочи составляет гораздо больше 5 пудов,—я полагаю, несколько десятков пудов, а если сосчитать вес выделений человеческого организма за все время его жизни, получаются сотни и даже тысячи пудов. И мы знаем, что эти выделения превосходно действуют на многие разряды почв, сильно поднимают их урожайность. Вот эти отбросы человеческого организма следовало бы утилизировать. Отчасти это и делается в Лондоне, в Париже, вообще в больших городах; но значительное количество отбросов пропадает покамест без пользы для человека.

При другом разговоре я коснулся темы о промышленных кризисах, обратившись к Николаю Гавриловичу приблизительно в таких выражениях:

— И в книгах, и в газетах я вижу отзывы о кризисах, как о тяжких народных бедствиях. Некоторые промышленники, пусть даже многие промышленники, разоряются; для них и для их семейств это, конечно, тяжкое бедствие, но при чем тут масса населения, работники? Им-то что? Ведь те предметы, которые представляют собой капитал в научном смысле этого слова, т.-е. те предметы, которые употребляются на содержание работников и на всю вообще обстановку производства,—эти предметы не разрушаются кризисами, как разрушаются они стихийными бедствиями, вроде землетрясений, наводнений, пожаров; при кризисах капитал остается в сохранности, цел и невредим; только право собственности на этот капитал переместилось от одного промышленника к другому, от Ивана к Петру; а рабочему-то—не все ли равно? Почему кризисы оказываются тяжким бедствием для всех, в том числе и для рабочих?

Ответ Николая Гавриловича был приблизительно таков:

— Нельзя сказать, что капитал страны, охваченной кризисом, остается в полной сохранности. Вы ведь помните, что последовательный ход экономических явлений в данном случае таков: капиталы накопляются, конкуренция капиталистов понижает прибыль, промышленники усердно выискивают новые, более выгодные помещения для капиталов, некоторые из них терпят неудачу, разоряются, тянут за собой других, с которыми были связаны

делами,—и пошла писать губерния. Вот в той стадии этого процесса, когда промышленники ищут более выгодных помещений для капиталов, некоторые из них заводят предприятия неудачные, нежизнеспособные; когда неудачник разорился, возведенные им промышленные постройки стоят без дела, пустуют, разваливаются; заготовленные для производства материалы гниют, портятся; значит, постройки и материалы исчезли из капитала страны; со временем постройки будут сломаны, кирпич, железо и проч.—все это поступит опять на обстановку другого предприятия в другом месте, но когда-то еще это будет. Идем дальше: разорившиеся промышленники кредитовались в более или менее значительных размерах у других промышленников, которые теперь, вследствие разразившегося краха многих должников, терпят более или менее значительные убытки. Из числа промышленников, потерпевших убытки, некоторые видят себя вынужденными сократить производство, другие на время совсем приостанавливают производство, третьи впадают даже в несостоятельность, и их предприятия переходят к другим лицам; но переход требует некоторого времени, а в течение этого промежуточного времени предприятие бездействует, т.-е. на время исключено из капитала страны. Предприятие неудачника рухнуло,—работники должны уходить и искать себе занятия в другом месте, значит—должны конкурировать в этом другом месте с другими работниками и своей конкуренцией понижают рабочую плату; предприятие устояло, но временно остановило работу,—для работников нет возможности ждать, они и отсюда должны уходить. Нечто похожее происходит в маленьком хозяйстве какого-нибудь близкого к разорению городского или деревенского обывателя: у него есть корова, теленок, несколько кур; дела его худые, надо всю эту живность продать; он их уже не кормит,—нечем кормить; а нового хозяина еще нет; корова с теленком поревут вдоволь, пока дождутся нового хозяина.

Третья тема—бумажные деньги, не подлежащие обмену на звонкую монету: рабочему человеку какая от них беда? Цены всех предметов поднимаются, в том числе и цена его рабочих рук; значит, реальная рабочая плата не изменяется. Николай Гаврилович ответил:

— Если бы все цены поднимались одновременно, вы были бы правы; но исследования о колебаниях цен в Англии, охватывающие значительный период времени, показали, что цена рабочих рук поднимается позже, чем цена всех прочих предметов; потому при значительных выпусках неразменных бумажных денег реальная рабочая плата падает и потом медленно поднимается до прежнего уровня.

Четвертая тема—производительные ассоциации. Слова Николая Гавриловича:

— Во времена моей молодости у европейских социалистов господствовало такое мнение: сегодня мы произведем переворот, и

завтра же наступит всеобщее благосостояние. Теперь мы видим, что дело идет не таким быстрым темпом; понятия и привычки народа меняются туго; производительные ассоциации нарождаются и растут медленно. Мне кажется, что все-таки мы доживем до того времени, когда эти ассоциации будут не то, чтобы на каждом шагу, а вроде того, как теперь типографии: во многих городишках нет типографий вовсе; ну, а в губернском городе найдете две или даже три. Пока что трудно появляться этим ассоциациям: от правительства помощи им нет, свои сбережения у работников очень маленькие, взаймы дают им неохотно, на тяжелых условиях. Одно обстоятельство благоприятствует ассоциациям: сила сложных процентов очень велика; как только прекращается трехчленное деление произведенного продукта [1], и он поступает сполна в распоряжение трудящегося,—с каждой новой производственной операцией он растет сильнее и сильнее. Этаким-то манером, хоть и медленно, а все же рабочие приобретут кое-какое имущество показистее теперешнего, при лучшем имуществе образования у них станет побольше, и их политическое значение увеличится.

Пятая тема — о фурьеристах и о коммунистах. Шел разговор о ком-то из наших литературных или общественных деятелей; кто-то из нас сказал, что этот деятель по своим экономическим воззрениям—фурьерист и коммунист. Николай Гаврилович возразил:

— Это невозможно. Кому нравится фурьеризм, тому коммунизм не понравится. Это можно сравнить со вкусами гастрономическими: кто привык к изысканным блюдам французской кухни, тот уже будет морщиться, если вы станете угощать его нашими щами да кашей.

Шестая тема—о некоторых сочинениях Маркса. Мне случилось разговаривать с Николаем Гавриловичем о тех двух сочинениях Маркса, которые находились в составе его библиотеки: «Zur Kritik der politischen Oekonomie» и «Kapital», первый том. Первое из этих сочинений представляло собой тощую книжечку, страниц полагаю, не больше 80-ти; второе—солидный том, страниц, думаю, не меньше четырехсот, формата наших толстых журналов. По прочтении «Zur Kritik» я сказал Николаю Гавриловичу, что ничего особенного в этой книжке не нахожу; удивляет меня несколько погоня автора за Гегелевскою обмундировкою очень простых экономических тезисов: у него везде непременно троица—тезис, антитезис, синтезис утверждает, что деньги—товар совсем особенный, выше и превыше всех других товаров; для меня не убедительно.

---

[1] «Трехчленное деление продукта» — т.-е. между землевладельцами, получающими ренту, капиталистами, получающими прибыль, и рабочими, получающими заработную плату. См. «Очерки из политической экономии (по Миллю)», «Современник», 1861; Полн. Собр. Соч., т. VII, стр. 363—416).

Николай Гаврилович ответил какими-то безразличными словами. По прочтении «Капитала», я сказал Николаю Гавриловичу:

— В теоретической части этой книги я не нашел для себя ничего нового; что я знал о капитале из трактата Милля, из ваших раз'яснений к соответственным главам этого трактата, то и теперь знаю, не больше того. Но историческая часть сочинения Маркса для меня нова: я никогда не читал такого обстоятельного рассказа о возникновении и о развитии фабричного законодательства в Англии.

Ответ НиколаяГавриловича:

— Досадно одно: наша публика, прочитавши у Маркса восхваление фабричных инспекторов, проникнется желанием и у себя таких же инспекторов; того не подумают, что на нашей российской почве это чужеземное растение выродится и примет совершенно другой вид, чем там у них.

На книге «Kapital» была сделана карандашем надпись: «пустословие в социальном духе». Этих слов Николай Гаврилович не говорил мне. Возможно, что пренебрежительную надпись сделал не он, а кто-нибудь из обитателей полиции или же литератор Михайлов, находившийся в Кадае одновременно с ним [1].

10.

Несколько раз предметом наших собеседований были темы, не имеющие прямого отношения ни к истории, ни к политической экономии.

Первая тема: Николай Гаврилович сказал, что «иногда в нас возникают по каким-то непонятным причинам душевные состояния странного вида, совершенно неожиданного для нас. Представьте себе, например, такое положение: я зашел к знакомым людям; сидим, разговариваем, чай пьем, папиросы курим; ящик с папиросами стоит на столе; в кармане у меня по обыкновению находится портсигар, в нем десяток папирос. На несколько минут все, кроме меня, отошли от стола и направились в другие комнаты. Оставшись около стола один, я ощутил сильнейшее поползновение схватить из ящика две-три папиросы и запрятать их в свой портсигар как можно проворнее, чтобы никто этого не увидел. Другими словами, я ощутил поползновение украсть вещь, которая, можно сказать, ничего не стоит, да которую вдобавок я и без того имею в достаточном количестве. Согласитесь сами: ведь это же очень странно; загадка какая-то. Правда»?

---

[1] Нелепая карандашная надпись на «Капитале» К. Маркса: «пустословие в социальном духе» также мало могла принадлежать Ч—кому, как и надпись: «революция в розовой водице», о которой сообщает П. Николаев в своих «Личных воспоминаниях о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге» (Москва, 1906). Быть может, она была сделана лицом, по обязанностям службы просматривавшим книги, посылаемые каторжанам.

Из нас многие были знакомы с сочинением Дарвина «О происхождении видов» и потому тотчас же заговорили об атавизме; кто-то (если не ошибаюсь, Ермолов) напомнил о том поразительном случае атавизма, когда человек оказался имеющим в составе своей мускулатуры такую мышечную группу (помнится 5 или 7 мускулов, то-ли шейных, то-ли спинных), которая у человека, вообще говоря, не существует и проявилась у упомянутого суб'екта в виде редкостного исключения; но у некоторых пород человекообразных обезьян эти мускулы существуют правильным образом, как нормальная часть их мышечной системы.

Кто-то другой (если не ошибаюсь, Баллод) упомянул Фогта и его исследования о микроцефалах. Смысл обоих упоминаний был тот, что какой-то отдаленнейший предок может передать некоторые особенности своего телесного устройства потомку, отделенному от предка сотнями поколений; унаследованная особенность в устройстве органа будет предрасполагать к некоторой особенности в деятельности этого органа. Николай Гаврилович не возражал против наших толкований, но, повидимому, находил, что мы погружаемся очень уже далеко в глубину времен, и что об'яснение рассказанного им психологического факта надо бы поискать поближе в каких-нибудь подробностях обстановки данного случая, на которые он тогда в свое время не обратил внимания.

Вторая тема. Я заговорил с Николаем Гавриловичем по поводу его пьесы «Другим нельзя» приблизительно в таких выражениях:

— Вы говорите, что в пьесе изображаются исключительные люди в исключительном положении; потому-то развязка пьесы— сожительство женщины одновременно с двумя мужчинами не годится для других людей, не исключительных и не поставленных в исключительное положение. В действительной жизни мы видим, однако же, совсем другое: друг дома, ménage en trois,—говорят и пишут, что во Франции в средних классах это представляет собою очень распространенное явление, почти получившее, так сказать, санкцию от общественной совести этих классов. Да и не в одной Франции; кажется и немцы, и итальянцы, и мы не очень отстаем от французов. Когда мне говорят, что это явление не должно бы существовать, так как оно противно официально исповедуемым нами правилам нравственности, меня такие слова ни мало не убеждают: официальные правила нравственности у разных классов населения в разные времена бывают очень различны; в Англии например, существовала в свое время нравственность пуритан и почти одновременно с нею нравственность двора реставрированных Стюартов, и обе нравственности были очень несходны между собой. Но, когда мне говорят, что везде, где только существует правильная статистика, она констатирует почти совершенное равенство числа мужчин и числа женщин, и что, следовательно, если одна женщина имеет двух сожителей, то какая-нибудь другая женщина по этой

именно причине не имеет ни одного сожителя,—этого возражения против ménage en trois я не могу оставить без внимания: статистика убеждает меня, что ménage en trois не может быть справедливым общественным учреждением; оно может доставлять удовольствие некоторым членам общества, но это удовольствие построено непременно на огорчении других членов общества. Как вы находите, Николай Гаврилович: правилен ли мой вывод?

— Не совсем. Взрослых лиц женского пола приблизительно столько же, как и мужского пола; это верно, но значительная часть женщин всегда находится в состоянии, так сказать, половой непригодности: менструации, беременность, начиная от известной стадии ее; послеродовое состояние; кормление ребенка грудью до известной стадии этого процесса,—все это устраняет значительное число женщин от половых сношений. И, значит, на каждую женщину, не устраненную физиологическими причинами от половых сношений, насчитывается в населении не один мужчина, а больше. Однако, я повторяю все-таки: другим нельзя.

Третья тема. Несколько раз Николай Гаврилович высказывал в виде афоризма: все великие поэты прогрессивны; между ними не было и нет ни одного ретрограда. Если бы между нами были люди, основательно знакомые с произведениями Шекспира и Гете, они, может быть, внесли бы в этот афоризм некоторую поправку, может быть, стали бы доказывать ретроградный смысл некоторых пьес того и другого. Но из нас большинство было худо ознакомлено с произведениями обоих; некоторые были ознакомлены лучше, но, повидимому, не интересовались ими, потому и споров не возбуждали: и афоризм ни разу не сделался темою для более или менее пространного собеседования.

Четвертая тема. Как литератор и журналист, Николай Гаврилович принимал близко к сердцу вопрос об энциклопедических словарях вообще и о русских энциклопедических словарях в особенности [1]. Он высказывался об этом предмете приблизительно так:

— В наших словарях много лишнего, ненужного и неинтересного для нашей публики; черезчур много включено сведений, которые без дальнейших рассуждений прямо списаны, т.-е. переведены, из иностранных энциклопедий; и без всякой надобности вырастает неуклюжая махина чуть не в сотню томов. Например, Бардили,— кто-нибудь из вас слыхал эту фамилию? Нет? А был такой человек—в Германии, философ. Сомнительно, следует ли давать ему место даже в немецкой энциклопедии, в нашей, русской он уже

[1] Еще в крепости Ч., как показывает его письмо жене от 5 октября 1862 г., задержанное властями, задумывал издание «Критического словаря идей и фактов» (см. Лемке, стр. 220). В 1888 г., за год с небольшим до смерти, он собирался переделать для русских читателей Энциклопедический словарь Брокгауза (см. письма к А. Н. Пыпину из Астрахани от 1 и 16 июля 1888 г.; см. также К. М. Федоров, «Н. Г. Чернышевский», изд. 2, СПБ., 1905, стр. 90—91)

решительно ни к селу, ни к городу; и однако... Кажется не ошибаюсь... Кажется, он там красуется.

Пятая тема. О журналах он высказался однажды так:

— На всем свете политические и литературные партии пользуются журналами, как одним из средств для распространения в читающей публике своих мнений, построений и требований. Обыкновенно журнал при самом возникновении заявляет себя выразителем такой-то партии или партийной фракции. Иногда журнал основывается немногочисленным кружком лиц, которые не гонятся за барышами, стремятся к чисто идейной цели—к распространению в читающей публике тех или иных понятий; предусматривают несомненные денежные убытки в течение нескольких лет, платятся за эти убытки своими карманами; когда журнал начинает процветать в коммерческом смысле, начинает давать барыши, основатели ценят эти барыши прежде всего, как явное, несомненное доказательство распространенности журнала, т.-е. выражаемых журналом идей. У европейцев и у американцев много способов воздействовать на публику, распространять в ней ту или другую политическую программу; у нас, кроме литературы, других способов почти нет. Составилось у вас мнение, что следовало бы сказать читающей публике многое такое, чего ей в данное время никто не говорит,—не шатайтесь по редакциям, не обивайте порогов, не упрашивайте, чтобы вам отвели там из милости хоть крохотное местечко: занимайте тридцать тысяч и основывайте свой журнал.

— Хорошо, Николай Гаврилович, если найдутся люди, которые дадут тридцать тысяч взаймы, а если не найдутся.

— Если вы представляете собой некоторую реальную общественную силу, то ваши векселя будут принимать с удовольствием и дадут вам денег на какое угодно предприятие, не только на основание журнала, но хотя бы даже на оборудование политического заговора; только давайте хорошие векселя, деньги будут.

11.

Когда Николай Гаврилович отчасти читал, отчасти рассказывал нам вторую часть «Пролога», озаглавленную «Дневник Левицкого», в которой под именем Левицкого изображен, как нам было известно, Добролюбов, мы замечали, что по временам лектор чувствует себя взволнованным и в его голосе проскакивают какие-то странные, неровные нотки, как у человека, который вот-вот заплачет. Мы понимали, что Николай Гаврилович имеет чрезвычайно высокое мнение о своем, так рано умершем сотруднике по «Современнику», и что воспоминания о сердечно почитаемом покойнике бывают для него временами прямо таки мучительны; потому мы не удивлялись, что он не вдается в разговоры о Добролюбове. Один только

раз он бросил вскользь слова: «Добролюбов был очень влюбчив, пассий у него было много».

О Сераковском, который изображен в первой части «Пролога» под именем Соколовского, Николай Гаврилович говорил несколько раз. Во-первых он подтвердил, что арест Сераковского в 1848 году и ссылка его в Оренбургские батальоны изложены им в романе (см. 1-ю часть 10 тома его сочинений, стр. 111—115) совершенно согласно с действительностью без всяких прикрас. Во-вторых, Николай Гаврилович рассказывал довольно подробно о деятельности Сераковского во время службы в Оренбургских батальонах. Там он в скором времени убедил начальника, что следует устроить для солдат казенную лавку, простенькую: ну, рукавицы там и другие товары в этаком роде. Приходящие в лавку солдаты по привычке, усвоенной с детства, торговались и между ними и Сераковским, исполняющим обязанность приказчика, вначале происходили разговоры в таком роде:

Покупатель. Дай вот эту пару рукавиц; какая цена?

Сераковский. 60 копеек.

Покупатель. Дорого; возьми 30 копеек.

Сераковский. Эти за 30 копеек нельзя отдать, из 60 копеек ничего нельзя уступить, а вот, если хочешь, другой сорт; эти можно уступить, хоть не за 30 копеек, а копеек этак за 50.

Покупатель. Другого сорта не хочу; уступи те первые.

Сераковский. Эх, вы, умники! бросьте вы эту манеру торговаться, когда ничего в товаре не понимаете. Ведь эти-то вот рукавицы, которые я будто бы уступал тебе за 50 копеек,—они сортом выше, лучше, потому и дороже; я их не могу отдать ни за 50 копеек, ни за 60 копеек, а только за 80 копеек.

Довольно скоро солдаты поняли, что это приказчик особого сорта; брали товар или не брали, смотря по средствам, но в пререкания о ценах не вдавались.

Через несколько времени Сераковский получил от начальника дозволение—в воскресные дни читать евангелие солдатам (Николай Гаврилович не упомянул, но мы сами подразумевали, что дело происходило на каком-нибудь пограничном пикете, где церкви не было, куда и полковой священник заглядывал, может быть, раз в год). Чтения и беседы после чтения имели одним из своих косвенных последствий, что некоторые слушатели восчувствовали бремя жизни с незнакомою им до того времени остротою; им не в моготу стало тянуть солдатскую лямку, и они бежали в Персию. Часть бежавших была поймана; их привели обратно, наказали шпицрутенами; некоторые из них под шпицрутенами и умерли. Это был для Сераковского один из толчков, побудивших его стремиться, насколько позволяют силы и обстоятельства, к уничтожению телесных наказаний в войске. Когда он находился уже в Петербурге, он неустанно вел агитацию в этом направле-

ний. То ли для выяснения постановки этого предмета за границей, то ли для других целей, но только он получил заграничную командировку, во время которой понравился Пальмерстону. При начале польского восстания у главарей движения была сначала мысль оставить Сераковского за границей для дипломатических стараний на пользу повстанцев, но потом передумали, вытребовали его на родину и назначили начальником отряда. Смертельно раненый он был взят в плен, приговорен к смертной казни и повешен по распоряжению Муравьева (Виленского), несмотря на то, что телеграмму государя о замене смертной казни ссылкою Муравьев получил, кажется, за несколько часов до совершения казни [1]. И, кроме того, Сераковскому при его ране предстояло бы прожить во всяком случае не больше нескольких дней. Николай Гаврилович упомянул между прочим о его религиозных воззрениях такими словами: «Он был деист, т.-е. признавал бога и бессмертную душу, все прочее отвергал».

Профессор Кавелин изображен в 1-й части «Пролога» под именем Рязанцева. Однако я не могу припомнить, чтобы Николай Гаврилович выразился о соотношении Кавелина и Рязанцева такими же прямыми, положительными словами, какими он выражался о соотношениях Добролюбова и Левицкого, Сераковского и Соколовского. Однажды он упомянул о бывавших у Кавелина многолюдных собраниях интеллигентной публики более или менее либерального образа мыслей и прибавил:

— Я тоже бывал не один раз. Я да еще несколько человек—мы там любили напоминать о топорах; нечего греха таить: частенько таки напоминали... Смешно, право, как подумаешь... [2].

Эти «несколько человек» не были названы Николаем Гавриловичем. Последние слова его тирады я понял в таком смысле, что смешно было грозить тою силою (готовыми взбунтоваться крестьянами), которая, если и существовала, то далеко не в таких внушительных размерах, как тогда казалось ему и «нескольким». Прибавлю, что такое понимание мною его тирады основывалось на выражении его лица и голоса и на последовательном ходе мнений во всем вообще разговоре. Прямого вопроса ему о значении этого «смешно» никто из нас не задал.

---

[1] Сераковский был повешен 15 июня 1863 г. Об обстоятельствах его казни Ч. мог передавать разве слышанное от других во время своего заключения в крепости (что весьма мало вероятно) или же в ссылке. Проще предположить, что в рассказ Ч—го о Сераковском Стахевич вкладывает кое-что, узнанное из других источников.

[2] О «топорах» говорится в письме к Герцену, напечатанном в «Колоколе» от 1 марта 1860 г. за подписью «Русский человек». Лемке считает Ч—го автором этого письма, хотя в нем встречается, например, такая фраза: «я жил во время войны (крымской) в глухой провинции, жил и таскался среди народа»—чего Ч. не мог сказать про себя, так как во время войны жил в Петербурге. См. М. Лемке, «Политические процессы 60-х г.г.», М., 1923, стр. 167—172.

Из тогдашних литераторов Николай Гаврилович не разговаривал с нами почти ни о ком; о немногих исключениях, очень неважных, сейчас упомяну. Пиотровскому, поместившему в «Современнике» несколько статей литературно-критического содержания, Николай Гаврилович дал совет:

— Вам следует постараться, чтобы в статьях было большее богатство и разнообразие идей и фактов; а для достижения этой цели советую вам на время прекратить писание статей и заняться дополнением и расширением своих знаний, надо подучиться [1].

Пиотровский, кажется, не имел времени воспользоваться этим советом: он умер через несколько месяцев в молодых еще годах. Если память меня не обманывает, его смерть не была естественная, он застрелился или вообще покончил жизнь каким-то из видов самоубийства.

Потанин (не имеющий ничего общего с Григорием Николаевичем Потаниным, совершившим по поручению Географического Общества гораздо позже описываемого мною времени несколько экспедиций в Монголию и в Китай) поместил в «Современнике» роман «Старое старится, молодое растет», задуманный, повидимому, в очень широком масштабе: я прочел начало, состоявшее из нескольких глав, довольно длинных, в которых автор довел однако же своего героя только еще до 10-тилетнего возраста. Дальнейших глав романа я не читал; мне даже кажется, что их и не было, роман так и остался едва начатым; по крайней мере, те из обитателей полиции, которые имели понятие об этом романе, читали только несколько начальных глав, как и я. Не помню, по какому поводу, разговор коснулся этого романа. Мы, читавшие начальные главы, говорили, что нам они не особенно понравились, и главным недостатком их считали чрезмерную растянутость: «размазывает без конца». Николай Гаврилович на это сказал:

— А я читал его моему сыну; понравилось мальчику, и он при появлении в моей комнате дальнейших книжек журнала каждый раз осведомлялся: нет ли чего-нибудь дальше о Васе (имя героя романа). Автор приезжал в Петербург, заходил ко мне. Он занимал где-то в провинции должность смотрителя уездного училища, имел, кроме жалования, небольшой капиталец, взятый за женою в приданое, и намеревался переселиться в Петербург. Я ему решительно

[1] Ср. слова Волгина (т.-е. самого Ч.) в «Прологе»: «Вы знаете, начинать писать рано—значит истощить свой талант. Опять же: писать и учиться—одно с другим плохо уживается. Готовься, готовься.—Руссо готовился сорок лет, потому и мог сказать что-нибудь свое, глубоко-обдуманное, дельное.—А возьмите вы Дидро, Вольтера; может быть, были и не глупее Руссо, но принялись строчить, когда еще борода не росла,—и прекрасно строчили,—только своей мысли ровно ни одной» (Полн. Собр. Соч., т. IX, стр. 94).

По свидетельству А. Я. Панаевой, Пиотровский застрелился, получив однажды от Некрасова отказ в довольно крупном денежном авансе. Ему не было еще 20 лет.

отсоветовал. «Вы, говорю вам, привыкли там в провинции квартиру иметь просторную, да чтобы были кое-какие прихоти домашнего хозяйства, разные соленья, да варенья, да маринады. С такими привычками где уже вам в Петербурге жить; оставайтесь себе там, в глубине России». Человек был рассудительный—послушался меня.

Однажды разговор коснулся Достоевского. Николай Гаврилович усмехнулся и сказал нам:—Самомнение у этого человека огромное. Раз он прогуливался с таким-то (Николай Гаврилович назвал фамилию литератора, но я забыл ее) где-то в садах Павловска или Царского Села; присели они на скамеечку, отдыхают; помолчавши некоторое время, Достоевский говорит своему собеседнику: «Вот мы с вами сидим тут, а через сто лет, может быть, здесь будет поставлен памятник, а на скамье будет надпись: на этой скамье сидели Достоевский и такой-то, тогда-то».

Произнося слова Достоевского, Николай Гаврилович придал своему голосу оттенок маниловской мечтательности и умиленности,—оттенок, вполне подходящий к смыслу произносимых слов [1].

12.

Николай Гаврилович упоминал о своей поездке за границу [2] (кажется в 1859 г.) и о разговоре с Герценом приблизительно в таких выражениях:

— Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола». Если бы, говорю ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем—конституционную или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое: ceterum censeo Carthaginem delendam esse.

Именем Карфагена Николай Гаврилович означал в данном случае, очевидно, самодержавие.

Этот разговор и вообще заграничную поездку Николая Гавриловича я отношу к 1859 году, но почему именно к этому году? От кого и когда я узнал, что поездка была именно в этом году? На-

---

[1] О двух своих личных свиданиях с Достоевским Ч. рассказывает в письме к А. Н. Пыпину от 26 мая 1888 г. (будет напечатано в 3 томе «Литературного наследия Н. Г. Чернышевского»).

[2] О поездке Чернышевского в Лондон см. выше, примеч. 1, стр. 56.

сколько могу припомнить, сам Николай Гаврилович не называл ни этого года, ни вообще какого бы то ни было года; значит, сказал мне кто-нибудь другой; но кто же именно, когда—решительно не могу вспомнить; а только цифра 1859 сидит у меня в голове крепко.

Может быть, при этом же свидании с Герценом Николай Гаврилович услышал от него о Саратовском помещике Бахметеве, который распродал свои имения, уехал заграницу и предоставил в распоряжение Герцена значительную часть вырученных от продажи денег, прося его употребить эти деньги на дело революции. Как велика была сумма, переданная Бахметевым Герцену, с точностью не помню, иногда мне кажется, что Николай Гаврилович называл восемь тысяч рублей, иногда кажется— двадцать тысяч или даже сорок тысяч. Он прибавлял подробности, называя их забавными, о том, как этот чудак (т.-е. Бахметев) вошел к Герцену с каким-то узлом в руках, как он развертывал салфетку, в которой были завязаны денежные пачки, как несколько пачек выскользнули и рассыпались по полу. Слушая этот рассказ, я был того мнения, что Николай Гаврилович слышал его лично от Герцена; однако я не помню, чтобы он именно так и выразился, что слышал это все от Герцена лично. Может быть, мое мнение было ошибочно; и рассказ о Бахметеве дошел до него уже из третьих рук. Но заключительные слова Николая Гавриловича я помню с полною точностью:

— В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева.

При наших разговорах Николай Гаврилович не раз упоминал, что около Герцена всегда вертелось множество агентов третьего отделения; некоторые из них были изобличены с несомненностью; припоминаю только одну фамилию изобличенного: Хотимский (или Хотинский) [1], автор книги, популяризующей астрономию. Упоминания делались в таком тоне, что для меня, одного из слушающих, было ясно: своими глазами Николай Гаврилович этих лондонских агентов не видел; передавал нам то, что сам слышал от других и в том числе, вероятно, от самого Герцена. Слыша эти упоминания, я про себя делал вывод: значит, Николай Гаврилович в Лондоне пробыл недолго, день-два; да пожалуй, и виделись-то они с Герценом в тесном кружке людей избранных или даже наедине. Одно из впечатлений этой поездки Николай Гаврилович выразил такими словами:

— В Англии я тотчас заметил, что в толпе преобладает своя манера смотреть на человека, не такая, какая господствует у нас. С

---

[1] «Астроном-наблюдатель и миссионер Хотинский», как назвал этого агента тайной полиции Герцен («Колокол» от 10 апреля 1863 г.; Полн. Собр. Соч. Герцена, т. XVI, стр. 214), впервые появился в Лондоне в 1863 г., а Ч. был у Герцена в 1859 г., так что говорить о Хотинском хотя бы со слов Герцена не мог.

одной стороны нет надутости, высокомерия; с другой—нет робости, приниженности, подобострастия. Человек смотрит на вас прямо, открыто, смело.

Николай Гаврилович никогда не излагал ни маршрута своей заграничной поездки, ни вообще каких-либо относящихся к ней подробностей. В одном только из его разговоров случайно проскользнуло упоминание о Бельгии; вот этот разговор:

— Я всегда был и теперь остаюсь высокого мнения о Робеспьере (хихикает и бросает вскользь), нахожу в нем большое сходство с собой. (Продолжает серьезно). Но было у меня две или три недели таких, когда я Робеспьера возненавидел. Прочел я, видите ли, Луи Блана историю французской революции; он восхваляет Робеспьера превыше всякой меры. Робеспьер, к примеру скажу, выпил стакан воды: смотрите, как он выпивает этот стакан! великий человек! Робеспьер чихнул: обратите внимание, как он чихнул! вот что значит—истинно великий человек! Ну и все вот в этаком роде. Этот том я дочитывал в вагоне бельгийской железной дороги и подарил его кондуктору. Говорю ему: во Франции эта книга запрещена, поэтому в таможне ее у меня отберут; так лучше же вы ее возьмите; может, сами прочитаете; может, кто другой полюбопытствует.

При одном из наших общих разговоров о Герцене я рассказал о своем свидании и разговоре с Мартьяновым в больнице Красноярской тюрьмы (см. третью главу моих воспоминаний); Николай Гаврилович сказал:

— По моему мнению, Герцен хорошо поступил, посоветовавши Мартьянову не ехать в Россию, не подвергать себя большим неприятностям, которые он несомненно встретит там со стороны правительства, и от которых никакой пользы никому не будет. Мартьянов не послушался, поехал таки; ну, уж тут Герцен не виноват.

В январе или в феврале 1870 года, когда мы прочитали в газетах известие о смерти Герцена, Николай Гаврилович сказал:

— При самом придирчивом отношении к литературным произведениям Герцена невозможно все-таки отрицать, что он обладал замечательным талантом остроумия; и это не какое-нибудь вздорное балагурство и зубоскальство; нет: это настоящее остроумие, острое и умное, легкое и вместе с тем содержательное, блестящее и вместе с тем дельное. Его можно сравнивать с Гейне. Можно спорить: кто из них стоит выше. Но уже самая возможность спора показывает, как велик талант Герцена [1].

---

[1] Ср. примечание Ч. к письму Н. А. Добролюбова Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г.: «Литератор, о котором говорит Николай Александрович, уж имел тогда образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена, и, сохраняя уважение к нему, уж не интересовался его новыми произведениями. Видя, что Николай Александрович огорчается холодными отзывами о них, этот литератор (т.-е. сам Ч.) перешел от раз'яснения причин своего не-

13.

В моей памяти сохранились кой-какие рассказы и мнения Николая Гавриловича, относящиеся к различным периодам его жизни; постараюсь изложить их по порядку времени.

Рассказывая о родственных и о посторонних лицах из времен своего детства, он упомянул, что в числе окружавших его была какая-то старушка, которая в свои юные годы отчасти видела буйные проявления пугачевщины и еще больше слышала о них. Для этой старушки пугачевщина была — простой разбой, только в больших размерах; такое понятие о происшествиях составилось у нее в детстве, сохранилось во всю ее жизнь и накладывало соответственный отпечаток на ее рассказы о тех смутных временах.

В студенческие годы Николая Гавриловича приключился инцидент, имеющий некоторое значение для его характеристики; он так рассказывал об этом:

— Зашел я в кондитерскую, прочел в газете известие о насильственном роспуске национального собрания в Берлине; очень скоро вышел из кондитерской и пошел по улице. Встретивший меня знакомый спросил: что это с вами? о чем вы плачете? А я, знаете, иду, да и не чувствую, что у меня по лицу слезы текут.

Думаю, что этот рассказ относится к ноябрю 1848 года,—ко времени насильственного роспуска первой прусской палаты депутатов (первой—в смысле хронологическом); Николаю Гавриловичу было, значит, тогда двадцать лет с небольшим.

Кажется, в студенческие же годы случилось Николаю Гавриловичу разрешить довольно курьезную житейскую задачу, с которою обратился к нему кто-то из его знакомых. Он рассказывал так:

— Приходит ко мне человек (он назвал фамилию, но я забыл). Я, говорит, ищу какого-нибудь заработка, изо дня в день просматриваю об'явления в полицейских ведомостях; сегодня нашел там: «желаю брать уроки португальского языка, адрес такой-то». Португальского языка я не знаю; досадно. Не придумаете ли чего-нибудь, чтобы извлечь пользу из этой публикации? или уж махнуть на нее рукой? Я ему и говорю: португальский язык принадлежит к семье романских языков; значит имеет довольно большое сходство с языком латинским и французским, а с этими обоими вы знакомы довольно хорошо и, следовательно, вам будет сравнительно легко ознакомиться и с португальским языком. Попробуйте сходить к этому господину и спросите его: не может ли он

довольства некоторыми понятиями Герцена к похвалам тому, что находит у него хорошим, и между прочим говорил о том, что высоко ценит его блестящий литературный талант, что собственно по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену». (См. «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М., 1890, стр. 319).

отсрочить на некоторое время начало занятий? Во время отсрочки вы бы и подучились. А то можно и так: скажите ему, что хотя не знаете португальского языка, но знаете два языка, сходных с португальским; притом имеете еще некоторую педагогическую опытность, ведь вам же не раз случалось давать уроки по разным предметам; так вот, основываясь на этих соображениях, предложите ему такой план, чтобы приступить к изучению этого языка вам обоим вместе, вы будете вроде старшего ученика. Он последовал моему совету и все вышло, как по писанному. Публикация, как оказалось, исходила от приказчика какой-то фирмы, торговавшей фруктами и виноградными винами; по поручению своих принципалов приказчик должен был отправиться в Португалию на продолжительное время. Португальским языком мой знакомый и этот приказчик овладели довольно скоро; приказчик платил за уроки исправно; впоследствии он писал из Португалии своему старшему соученику и в письме между прочим благодарил за помощь при совместном учении.

Однажды я спросил Николая Гавриловича: какая судьба постигла тот адрес о польских делах, который предполагалось подать государю весною или в начале лета 1861 года. Адрес был составлен в духе доброжелательства по отношению к полякам; подписи к нему собирались на множестве отдельных листов по всему городу, между прочим, и в медико-хирургической академии. Не знаю, как шло это дело между профессорами академии; но из числа студентов оказалось порядочное количество желавших подписаться под этим адресом-петицией. На мой вопрос Николай Гаврилович ответил:

— Ничего из этого не вышло и листы с подписями были впоследствии уничтожены инициаторами этого дела. Они надеялись, что соберут довольно значительное число подписей среди людей с некоторым общественным положением, пользующихся некоторою известностью и почетом; но надежда не оправдалась: подобных подписей оказалось очень немного. Студенты да молодые люди, едва сошедшие с университетской скамьи, подписывали в довольно значительном количестве; но их подписи, взятые сами по себе, не могли произвести желаемого впечатления на наше правительство. Если бы состав подписавших был такой, как ожидали вначале, вышло бы не то. Адрес был бы подан; наши правители вообразили бы, что имеют перед собою обширный, широко разветвившийся заговор; лишнюю сотню тысяч солдат разместили бы в Петербурге и его окрестностях, значит—в Польшу отправили бы сотнею тысяч меньше; это чего-нибудь стоит. Немного помолчавши, он прибавил: Конечно, в Петербурге без нескольких виселиц не обошлось бы... Разумеется, несколько человек были бы приговорены к смертной казни... Но ничего не вышло.

По тону всего ответа было ясно, что Николай Гаврилович в свое время имел вполне точные сведения об этом неудавшемся ад-

ресе из надежных источников, по всей вероятности—от инициаторов этого дела.

Для характеристики настроения в те годы (1859—1862) значительных групп петербургского общества могут служить два случая, мелкие и прямо-таки забавные, о которых Николай Гаврилович рассказывал так:

— Много тут собралось народу (он говорил, где это именно «тут»: то ли на судоговорении Серно-Соловьевича и Полетики, то ли на диспуте Костомарова и Погодина, то ли по какому-нибудь третьему случаю, я забыл) [1]. Кончилось; начинаем расходиться. Публика возбуждена; кое-где составляются группы, останавливаются, спорят громко, с жаром. Какой-то молодой человек вскакивает на стул, размахивает руками и вопиет неистовым голосом, усиливаясь преодолеть шум и говор многолюдной толпы: «Позвольте! господа! господа, остановитесь! позвольте мне произнести речь в революционном духе!» К нему протискиваются люди очевидно с дружелюбными намерениями; должно быть, приятели; хватают его за руки, за ноги, стаскивают с импровизированной трибуны, и речь в революционном духе так и остается непроизнесенной.

Второй случай:

— Идет однажды Добролюбов по улице, встречает полковника (Николай Гаврилович назвал фамилию, но я ее не помню; кажется Пузыревский), с которым был немного знаком. Полковник говорит ему: мне надо бы найти репетитора для одного мальчика— арифметику ему преподавать; не имеете ли кого-нибудь в виду.— О! многих имею; хотя бы например... — полковник перебивает Добролюбова: постойте, постойте! я не упомянул: нужно такого, чтобы преподавал в революционном духе.—Добролюбов руками развел: арифметику в революционном духе?.. Нет, такого в виду не имею. В конце концов полковник, скрепя сердце, примирился с беспартийным преподаванием арифметики.

Следующие слова Николая Гавриловича имеют значение по отношению к его деятельности вообще, а в особенности по отношению к его статьям о выкупе надельных земель бывших помещичьих крестьян [2].

— Жизнь меняет человека, приучает его обращать внимание на обстоятельства, на соотношение общественных сил. Знаю, что вот

---

[1] Диспут между Перозио и Смирновым по вопросу о состоянии дел Русского Общества Пароходства и Торговли, при чем Н. А. Серно-Соловьевич и В. А. Полетика были посредниками, а Е. И. Ламанский—суперарбитром, происходил 13 декабря 1859 г.; диспут между Костомаровым и Погодиным происходил 19 марта 1860 г. См. статьи Н. А. Добролюбова: «Любопытный пассаж в истории русской словесности» («Современник», 1859, № 12) и «Наука и свистопляска» («Современник», 1860, в «Свистке», № 4). (Н. А. Добролюбов, Сочинения, т. 4, изд. Поповой, 1896, стр. 106—123 и 418—440).

[2] Ср. выше примечание 1, стр. 83.

это и это—хорошо; что из того? Необходимо соображать: это и это достижимо ли при данных условиях? Я, например, смолоду разве так думал о надельных землях? Вся земля должна быть крестьянская и никаких разговоров о выкупах и т. п... Ну, пришло время писать, вижу—нельзя так писать; недостижимо, ничего не выйдет... Пошли в ход усадьбы, наделы, выкупы...

Несколько раз я заметил, что при случавшихся иногда упоминаниях о журнальной работе на лице Николая Гавриловича появляется заметная гримаса: он немножко морщился, губы выпячивались несколько вперед—получалось впечатление, как будто человек только-что проглотил или сейчас должен проглотить что-то горькое, неприятное. Я об'яснял себе эти гримасы чрезмерным количеством работы, которую когда-то приходилось ему выполнять; должно быть, думалось мне, эта масса работы временами жесточайшим образом утомляла его, так что ему и вспоминать об этом тяжело, но теперь перечитавши собрание его сочинений, я начинаю думать несколько иначе. В 8-м томе, на странице 78, я обратил внимание на следующие слова, написанные им в январе 1861 года:

«Пиши о варягах, о г. Погодине, о Маколее и г. Лаврове с Шопенгауэром, о Молинари и письмах Кэри к президенту Соединенных Штатов. И сиди за этой белибердой, ровно никому не нужной. Тяжело писать эту дребедень, унизительно, отвратительно писать ее,—а еще тяжелее, унизительнее слушать, что ее хвалят, что тебя многие уважают за нее. Грустно быть писателем человеку, который не хотел бы прожить на свете бесполезным для общества говоруном о пустяках».

Во второй части 10-го тома, в повести «Алферьев», на 6-й странице находятся слова, написанные автором в апреле 1863 года: «У многих журналистов есть и у меня была манера отклонять от литературы всякого порядочного человека; вероятно, по нежеланию делиться с другими приятностями этого дела». Вторая выдержка по смыслу одинакова с первой, от которой отличается своей формой, сдержанной и иронической. Вот эти две тирады заставляют меня думать, что чрезмерное количество журнальной работы было во всяком случае не единственною причиною замеченных мною гримас Николая Гавриловича и, может быть, даже не главною из причин...

14.

В один из первых дней нашего пребывания в «полиции» Николай Гаврилович рассказал нам о некоторых обстоятельствах, предшествовавших арестованию его, и о суде над ним. Постараюсь изложить слышанное, насколько помню; присоединю к этому рассказу свои соображения о разногласиях между словами Николая Гавриловича и статьей г. Лемке, в которой процесс Николая Гавриловича изложен подробно на основании архивных документов.

Задолго до ареста Николая Гавриловича Сераковский передал ему разговор с Кауфманом, директором канцелярии военного министерства (впоследствии этот Кауфман был генерал-губернатором в Туркестане). Кауфман говорил, что Чернышевский имеет вредное влияние на общество и потому должен быть сослан.—Но ведь его статьи печатаются с дозволения цензуры, и он ничего противозаконного не делает: как же его сослать ни с того, ни с сего?—Мало ли что! политическая борьба все равно, что война; на войне все средства позволительны; человек вреден,—убрать.

За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему заявился ад'ютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова; граф был личный друг императора Александра II. Ад'ютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника—уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован.—Да как же я уеду? хлопот сколько!.. заграничный паспорт... Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта.—Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было.—Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему то что до этого?—Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют; сошлют в сущности без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно—сослать писателя безвинно.—Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: не поеду за границу, будь, что будет.

После ареста Николаю Гавриловичу задали вопрос прежде всего о сношениях его с Герценом: Вот у нас в руках письма Герцена к вам.—Письма у вас, не у меня; что же вы ко мне обращаетесь? Я никаких писем от него не получал и за содержание его писем отвечать не могу.

Пробовали обвинить его в сочинении нескольких нелегальных листков: «К образованным классам», «Великорусс»; но почерк нелегальных рукописей был совершенно не похож на почерк Николая Гавриловича. Передавая об этом нам, обитателям «полиции», Николай Гаврилович сказал особенным тоном, каким говорят актеры по ремарке «в сторону»: «я умел писать несколькими почерками». Из этих мимоходом брошенных слов я понял, что некоторые листки были написаны действительно им, но почерк был им умышленно употреблен другой,—не тот, каким он писал для цензуры [1].

---

[1] О деле Ч. см. М. Лемке, «Политические процессы 60-х г.г.», М., 1923, стр. 163—502, где с исчерпывающей полнотой выяснена гнусная роль корнета В. Д. Костомарова, как наемного доносчика и фальсификатора, равно как и полное отсутствие юридических улик против Чернышевского. В свете данных, приводимых Лемке, предположение Стахевича, будто Ч. сам писал карандашную записку, авторство которой он отрицал пред Сенатом, является совершенно ошибочным.

Наконец, много месяцев спустя после ареста Николаю Гавриловичу предложили письмо, писанное якобы им собственноручно от начала до конца, обращенное к Костомарову (кавалерийскому офицеру, одному из знакомых Николая Гавриловича), найденное жандармами у этого Костомарова при обыске. На письме было означено число и месяц 1861 года (или, может быть, Николай Гаврилович сказал—1862, твердо не помню); после имени и отчества адресата следовали слова в таком роде, что вот мы с вами беседовали и пришли к заключению, что надо сделать следующее: учредить столько-то тайных типографий, устроить тайное общество на таких-то основаниях, и т. д.; подпись Чернышевского всеми буквами. Прочитавши письмо, Николай Гаврилович сказал следователям: «Это письмо от первой буквы до последней написано тем самым Костомаровым, у которого оно найдено при обыске; он не счел нужным даже менять почерк; спросите экспертов, и они скажут вам, что это от начала до конца его почерк, а не мой. Но кроме того я прошу вас обратить внимание на дату письма; если дата верна, то письмо писано почти два года назад; я же утверждаю, что чернила совсем свежие, и оно писано не больше двух недель назад. Спросите об этом экспертов-химиков». Следователи не сочли нужным спрашивать экспертов, признали письмо не возбуждающим никаких сомнений в подлинности; и на основании этого письма Николай Гаврилович был приговорен к ссылке в каторжную работу в рудниках на 14 лет за принятие мер к ниспровержению существующего порядка вещей; государь смягчил приговор—на семь лет.

Это коротенькое изложение процесса Николая Гавриловича, слышанное мною и несколькими другими обитателями «полиции» от него лично, во многом не согласуется с тем подробным изложением, которое составлено г. Лемке на основании архивных документов и содержится в его статье «Дело Н. Г. Чернышевского» («Былое» за 1906 год, №№ 3, 4, 5). Мне кажется правдоподобным, что Николай Гаврилович старался дать нам, обитателям «полиции», самое сокращенное изложение дела с тою целью, чтобы оно вследствие этой краткости легче отпечатлелось бы в нашей памяти и крепче удерживалось бы в ней, а впоследствии, когда мы будем освобождены из тюрьмы, сделалось бы через нас достоянием общества и распространялось бы в нем, благодаря все той же краткости, с возможно большею быстротою и с сохранением основной тенденции рассказа, которая была такова: над подсудимым совершено вопиющее беззаконие, он осужден на основании заведомо подложного документа.

Если мое предположение правильно, если Николай Гаврилович действительно имел такую цель, то является вполне понятным его умолчание о воззвании к крестьянам: заговоривши об этом воззвании, пришлось бы значительно удлинить изложение. Умолчавши о воззвании к крестьянам и о всем, что к нему относится, при-

шлось дать другое содержание письму (на имя Алексея Николаевича), лишь бы новое выдуманное содержание носило на себе такой же противоправительственный характер, каким было проникнуто содержание действительного письма.

Ради краткости и для облегчения памяти слушателей не упомянуты ни одним словом лица, стоявшие во время следствия и суда на заднем плане: Сороко, Плещеев, Яковлев. Устранивши из своего рассказа имя Плещеева, Николай Гаврилович должен был назвать какого-нибудь другого адресата письма (на имя Алексея Николаевича),—он и назвал Костомарова, так как эта-то фамилия, все равно, неминуемо должна была фигурировать в его изложении. Одна только мелочь не вяжется с моим предположением о цели рассказа Николая Гавриловича: в своем рассказе он снабдил письмо датою, которой оно в действительности не имело, и упомянул о химической экспертизе, в которой следователи будто бы отказали ему,—в действительности о химической экспертизе он не просил; между тем дата и химики удлиняют изложение. Он просил сенаторов о применении лупы к исследованию почерка письма и однако в рассказе не упомянул о лупе: это умолчание сокращает изложение и потому не опровергает моего предположения о цели рассказа.

Из статьи г. Лемке я впервые узнал о воззвании к барским крестьянам и о карандашной записке, на которой Николай Гаврилович сделал надпись: «эта записка была мне пред'явлена комиссией, и я не признаю ее своей. Этот почерк красивее и ровнее моего». Я уже сказал, что Николай Гаврилович, рассказывая нам о своем процессе, мимоходом бросил слова: «я умел писать несколькими почерками». И сенаторы, повидимому, заметили, что он обладает этим умением: в их определении от 19 июля 1863 года сказано, что «и в отдельных буквах и в общем характере почерка есть совершенное сходство с почерком бумаг, писанных Чернышевским до пред'явления ему его записки; с почерком же, коим писано им об'яснение в Сенат от 1 июня, которое он писал в продолжение девяти дней, никакого сходства нет».—Перечитывая статью Николая Гавриловича «Письма без адреса», помещенную во 2-й части 10-го тома его сочинений, я заметил на 296 странице следующие строки: «Бывшие помещичьи крестьяне, называемые ныне срочно-обязанными, не принимают уставных грамот.—Предписанные добровольные соглашения между землевладельцами и живущими на их землях срочно-обязанными крестьянами оказались невозможными». Таким образом в статье, написанной несомненно Николаем Гавриловичем, сделана такая же точно ошибка в терминологии, какая замечается в воззвании к крестьянам, сочинение которого Сенат приписал ему, основывая свое мнение между прочим на вышеупомянутой карандашной записке, автор которой заботится об исправлении ошибки в терминологии. Собирая все это во-едино: слова Николая Гавриловича «я умел писать несколькими почер-

ками», определение Сената, выдержку из статьи Николая Гавриловича, «Письма без адреса», я не решился бы назвать карандашную записку документом заведомо подложным; мне кажется об этом документе можно думать и так и этак...

Перечитывая воззвание к барским крестьянам, я не заметил в нем таких внутренних признаков, которые показывали бы, что Николай Гаврилович не мог быть автором этого воззвания. Мне кажется, мог быть. Был ли? Не знаю.

В статье г. Лемке (апрельская книжка «Былого», стр. 157 и 171) приведены указания Николая Гавриловича на те статьи свода законов, в силу которых Сенат должен бы был признать свидетельские показания Костомарова и Яковлева юридически ничтожными. На 177 странице той же книжки находятся слова г. Лемке: «Беседуя теперь с опытными юристами, основательно знакомыми с судопроизводством тогдашнего времени, я убедился, что игнорировать эти совершенно элементарные указания Чернышевского можно было только при явном решении вовсе не руководствоваться никаким законом, сколько-нибудь ограждавшим интересы обвиняемого. Сенат вступил на этот путь твердо и определенно...»

Мнение, что Николай Гаврилович был осужден на основании заведомо подложного документа, это мнение, сложившееся у меня в очень давнее время под влиянием рассказа самого Николая Гавриловича о его процессе, пошатнулось очень сильно по прочтении статьи г. Лемке. Но эта статья привела меня к другому мнению, которое с юридической точки зрения ничуть не уступает прежнему мнению, а именно: над подсудимым было совершено вопиющее беззаконие,—он был осужден, вопреки явному, несомненному смыслу наших тогдашних законов об уголовном судопроизводстве, на основании свидетельских показаний, не имевших никакой юридической силы.

15.

Задача всякого биографа—восстановить духовный облик изображаемого человека со всевозможною полнотою, точностью и яркостью. Для будущего биографа Николая Гавриловича, когда он придет к убеждению, что выставленные против Николая Гавриловича обвинения были подкреплены доказательствами, совершенно неудовлетворительными с *формальной* стороны, возникает вопрос: было ли это осуждение столько же несправедливо и по *существу?* Был ли он всегда строгим блюстителем законов, регулирующих политическую деятельность российского обывателя? Действительно ли он не давал ничего в печать помимо цензуры? Действительно ли он всегда был чужд каких бы то ни было тайных обществ? [1] При

---

[1] Кто вникал в смысл литературной проповеди Чернышевского, тому покажется несомненно нелепым самое предположение, будто Ч. «был всегда

разработке этих вопросов будущему биографу, может быть, пригодятся следующие три факта.

Первый факт. Выше я упомянул о словах Николая Гавриловича, что он умел писать несколькими почерками. Если он никогда ничего не давал в печать помимо цензуры, то не было решительно никакого смысла, сказавши нам, что почерки нескольких нелегальных рукописей, собранных обвинителями, были совершенно непохожи на почерк его, Николая Гавриловича, тотчас же прибавить слова: «я умел писать несколькими почерками». При разговорах с ним о тогдашних нелегальных листках я заметил, что он с явственным сочувствием относится к листкам, выходившим в неопределенные сроки под заглавием «Великорусс»; вышло, помнится, три номера. Слушая разговоры Николая Гавриловича, я иногда замечал, что и содержание мыслей, и способ их выражения сильнейшим образом напоминает мне листки «Великорусса»; и я про себя решил, что он был или автором, или, по меньшей мере, одним из соавторов этих листков, в которых проповедовалсь необходимость конституционных преобразований.

В «Русских Ведомостях» за 18 октября 1907 г. (№ 238) помещена статья г. Ветринского «Памяти Н. Г. Чернышевского», в которой приведены следующие слова П. Д. Баллода (человека, вращавшегося во всех оппозиционных кружках Петербурга того времени, как справедливо замечает о нем г. Ветринский): «Хотя меня уверяли, что Чернышевский принимал участие в издании «Великорусса», я утверждаю, что он никакого участия в «Великоруссе» не принимал, и участники «Великорусса» относились к Чернышевскому далеко не симпатично. Я спросил однажды, кого они имеют в виду, как руководителя, и к ужасу узнал, что у них имеет быть главарем генерал-губернатор Суворов. Я не знал, смеяться ли мне, или эти господа смеются. Но они совершенно серьезно находили, что это—единственный человек, и при этом не замедлили бросить грязью в Чернышевского, находя, очевидно, *что будут люди, которые будут стоять за Чернышевского*».

Я вполне понимаю, что мое мнение об авторстве (или соавторстве) Николая Гавриловича в листках «Великорусса» обосновано слабо; и очень возможно, что со временем оно будет опровергнуто убедительными доказательствами. Но слова г. Баллода меня не убеждают. Из его слов я вижу только, что та политическая группа, которая высказывалась в листках «Великорусса», имела (выражаясь парламентскими терминами) правое крыло и левое крыло; руководителем группы правое крыло желало иметь Суворова, левое крыло—Николая Гавриловича. Из этого я делаю вывод, что

строгим блюстителем (!) законов, регулирующих политическую деятельность российского обывателя» и «всегда был чужд каких бы то ни было тайных обществ».

и Суворов, и Николай Гаврилович имели некоторое отношение к политической группе «Великорусс»; какое именно отношение: сильное или слабое, прямое или через посредствующих лиц,—этого я не берусь угадывать. Мне только кажется, что мысль о некоторой согласованной политической деятельности Суворова и Николая Гавриловича нельзя считать вопиющей нелепостью, лишенной самомалейших реальных оснований: прошу припомнить рассказ Николая Гавриловича о его разговоре с ад'ютантом Суворова[1]; а ведь этот рассказ я и несколько других обитателей «полиции» своими ушами слышали.

Перехожу ко второму факту. Сам Николай Гаврилович о своей политической деятельности выразился однажды со смехом и с шутками приблизительно так:

— Мы, т.-е. я, Салтыков и еще кое-кто, составляли план преобразования России... Ха-ха-ха! Ну, вот мы еще не решили, что для нас лучше: монархия или республика; больше к тому склонялись, чтобы утвердить монархию, обставленную демократическими учреждениями. Гм... Легко сказать... А ежели монархию, то ведь надо же иметь, согласитесь сами, своего кандидата на престол. Решили: великую княгиню Елену Павловну. Вот ведь мы каковы; с нами не шутите... Ха-ха-ха!

Он любил говорить шутливо и о пустяковых предметах, и о важных. Кажется, о его шутливости можно сказать те слова, которые он сказал о шутливости Лессинга в своей статье о нем, помещенной в 3-м томе его сочинений (стр. 779): «У Лессинга, как и у всех добродушных мизантропов, шутливость постоянно прикрывала глубокое сострадание к бедствиям человеческой жизни и глубокую скорбь сердца». На этот раз, при подшучиваниях Николая Гавриловича над широкими преобразовательными замыслами какого-то кружка, к которому принадлежал и он, я про себя подумал: шутки шутками; а какие-то политические планы, должно быть, действительно составлялись, и для осуществления их кое-что, должно быть, действительно предпринималось; не с ветру же Зайчневский говорил мне три года назад то-то и то-то.

Слова Зайчневского—это и есть третий из числа тех фактов, которые, может быть, пригодятся будущему биографу Николая Гавриловича. В третьей главе моих воспоминаний я рассказал о своей встрече с Зайчневским (питомцем одной со мной гимна-

---

[1] Из рассказа о разговоре Ч. с ад'ютантом Суворова позволительно вывести лишь то заключение, что Суворов хотел видеть Ч. подальше от столицы и России, и уже одно это не вяжется с предположением Стахевича «о некоторой согласованной политической деятельности Суворова и Николая Гавриловича». Это не исключает, разумеется, возможности того, что кое-кто возлагал большие надежды на либерализм Суворова и даже прочил его в вожди: ведь мог же М. А. Бакунин одно время прочить в Пестели графа Муравьева-Амурского...

зии—Орловской): в августе 1864 года, когда меня везли мимо Усольского солеваренного завода, он подсел ко мне на подводу, и мы ехали вместе с полчаса, беседуя по-товарищески, о чем бог на душу положит. Коснулся разговор между прочим и Николая Гавриловича, который пред этим несколько недель прожил в тюрьме Усольского завода (кажется, во время моего собеседования с Зайчневским он был уже увезен из Усольского завода за Байкал, а, впрочем, не уверен: может быть, он находился еще тут, в Усолье). Зайчневский буркнул сердито:

— Вот тоже хорош. Берется не за свое дело. Человек кабинетный,—ну, и сиди при своих книгах. А он людей в комитет собирает. Мастер, нечего сказать; вот все равно как жену себе выбрал. Нашел кого: Пантелеева, Жука...

Я перебил его:

— Зачем вы называете имена? Мне совершенно незачем их знать и не следует. О его жене не имею никакого представления; и во всяком случае эта статья совершенно особенная; надо помнить мудрое народное изречение: «не по хорошу мил, а по милу хорош».

Вот эти-то слова Зайчневского о выборе Николаем Гавриловичем членов комитета (само собой понятно—революционного) я и вспомнил, слушая в «полиции» его шутливую тираду о его собственной политической деятельности. Зайчневский не мог говорить с ветру, с бухты-барахты: не такой человек. Я и тогда так думал, а впоследствии, узнавши о дальнейших судьбах Зайчневского, еще больше убедился, что он всегда был хорошо осведомлен о личном составе наших политических организаций.

Из трех сообщаемых мною фактов этот третий, очевидно, наиболее веский, наиболее положительный. Я лично вполне убежден, что имя Николая Гавриловича должно занимать место не только в синодике наших литературных деятелей, рядом с именами Радищева, Новикова, Белинского, Добролюбова, Писарева и многих других, но также и в синодике наших политических деятелей, рядом с именами Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола и многого множества других.

Будущий биограф Николая Гавриловича, прочитавши мое изложение разговора с Зайчневским, может усмотреть в этом изложении некоторые внутренние признаки недостоверности (для историка самые важные). Воображая себя на месте биографа, я непременно усумнился бы. В самом деле: молодого человека 22-х лет от роду везут в какую-то из сибирских каторжных тюрем; полтора года тому назад этот молодой человек был медицинским студентом и мелким, дюжинным членом политического тайного общества; теперь он встретился с одним из своих гимназических товарищей и услышал от него две фамилии людей из числа стоявших во главе того тайного общества, в котором он был скромною единицею; услы-

шавши две фамилии, он быстро, мгновенно прерывает собеседника и ни о каких фамилиях ничего знать не хочет. Правдоподобно ли это? Нет. Гораздо правдоподобнее было бы другое: молодой человек проникся живейшим любопытством, выслушал все фамилии и затем засыпал собеседника вопросами об именах и отчествах названных лиц, об их профессиях, откуда они родом и т. п.

Le vrai n'est pas toujours vraisemblable; подтверждаю: все произошло именно так, как я рассказал; и была тому своя причина, а именно вот какая. Во времена студенчества я и те из моих товарищей, которые более или менее интересовались нашими политическими делами, толковали иногда о наших тюремных порядках; не раз возбуждался вопрос, существует ли у нас пытка. Точнее сказать: применяется ли у нас пытка к политическим арестантам. Что она применяется к уголовным арестантам, и даже вовсе не редко, это мы все знали: почти каждый из нас слышал рассказы о полицеймейстерах, частных приставах, исправниках, становых, вообще о политических чиновниках, которые подвергали допрашиваемых арестантов побоям, телесным наказаниям, иногда очень жестоким, а в особенно выдающихся случаях уголовщины кормили подозреваемых виновников преступления селедками и после такой еды не давали им пить, пока они не расскажут о всех обстоятельствах преступления; часто чиновник добивался, чтобы они рассказывали непременно так, как ему желательно, хотя бы желаемый рассказ не соответствовал действительности.

Об уголовных арестантах мы все это знали; но о политических? Точных сведений ни у кого из нас не было. По разным соображениям мы больше склонялись к тому мнению, что политических арестантов не подвергают пыткам. Однако некоторые слышали от кого-то или прочли где-то, что Пестелю сжимали голову железным обручем... Осторожность требовала предполагать худшее, т.-е., что иногда к некоторым политическим арестантам пытка применяется. А так как каждый из нас может оказаться в числе «некоторых», то у нас и выработалось такое правило поведения: в делах тайного общества не дозволять себе никаких расспросов, кроме необходимых по ходу дела; в особенности же отнюдь не разузнавать ни об именах, ни вообще о внешних приметах других членов тайного общества, кроме тех, которые по ходу дела необходимо знать. Каждый из нас старался усвоить это правило как можно крепче, так сказать, претворить в свою плоть и кровь. К моему большому удовольствию, мой разговор с Зайчневским, которого я поспешил остановить после произнесенных им двух фамилий, убедил меня, что упомянутое правило усвоено мною довольно твердо. Дальнейших фамилий я от него не желал слышать и не услышал; о произнесенных двух фамилиях не желал узнавать и не узнал ни имен и отчеств, ни профессий, ни вообще каких бы то ни было подробностей, которые давали бы возможность приурочить эти две фами-

лии к определенным личностям, приурочить с полною уверенностью, не гадательно.

Вот и все, что я могу сказать о конспираторской и вообще нелегальной деятельности Николая Гавриловича. Вопросов в этом направлении я ему никогда не задавал—стеснялся. Если бы во мне самом проявлялся темперамент политического деятеля,—может быть, он и без вопросов сказал бы что-нибудь вроде того и даже больше того, что мне теперь известно. Но с первых же дней нашего пребывания в «полиции» он, конечно, заметил,что мой темперамент—другой, что я не из этого теста выпечен: книгами занимаюсь охотно, но к живым людям отношусь очень вяло, приближаясь к тому разряду людей, которых зовут дикарями, отшельниками, монахами и другими подобными именами. В разговоре с Зайчневским я сказал, между прочим, что мои конспираторские способности ниже всякой критики; это выражение было, может быть, суровее, чем бы следовало, но во всяком случае оно было недалеко от истины; и недостаток конспираторских способностей был, конечно, также замечен Николаем Гавриловичем. Затем понятно: если бы он почувствовал расположение побеседовать обстоятельно о своей конспираторской и вообще о нелегальной деятельности, он пожелал бы иметь своим слушателем уж, конечно, не меня. А кого же?

В предыдущей главе я упомянул, что Николай Гаврилович заметно благоволил из числа обитателей «полиции» к Страндену и Юрасову и свое мнение о них высказал мне однажды такими словами: «Эти двое, как были при народе, так всегда при народе и останутся». Из этого заключаю: если он кому-нибудь из нас излагал подробности о своей конспираторской и вообще о нелегальной деятельности, то нужно ожидать, прежде всего и больше всего, именно вот им, Страндену и Юрасову. Мне говорили, что Странден уже умер; о Юрасове ничего не слышал и не знаю.

16.

Николай Гаврилович ничего не рассказывал о своем пребывании в Алексеевском равелине Петропавловской крепости; один только раз он, к слову пришлось, сказал, что его комната в равелине была сыровата, «и притом не вся она была сырая: положу табак в одной половине ее,—высыхает быстро; положу в другой половине,—не только не высыхает, но даже становится влажным». О его девятидневной голодовке я узнал только из статьи г. Лемке.

Во время дороги Николая Гавриловича из Петербурга в Сибирь был такой случай: он и его конвоиры переправлялись на большом пароме через какую-то речку; конвоиры отошли к краям парома, а Николай Гаврилович завел разговор с ямщиком в таком роде:

— И что тебе за надобность ямщиком быть? Столько у тебя денег, а за прогонами гонишься.

— Что ты, батюшка, Христос с тобой; какие у меня деньги? Никаких нет.

— Рассказывай. Вишь, у тебя на армяке заплат сколько, а под каждой заплатой деньги, небось, зашиты.

При дальнейшем разговоре ямщик понял, что Николай Гаврилович шутит, и разговор закончился словами ямщика:

— Кто за народ стоит, все в Сибирь идут,—мы это давно знаем.

О кратковременном пребывании Николая Гавриловича в Тобольской тюрьме я рассказал в начале этой главы; прибавил там же несколько слов, относящихся ко времени его пребывания в тюрьме Усольского солеваренного завода.

В Кадае материальная обстановка Николая Гавриловича была, по всей вероятности, такая же, как в Александровском Заводе; по крайней мере, я не слышал о каких-нибудь особенностях тамошних тюремных порядков ни от него, ни от поляков. Одновременно с Николаем Гавриловичем в Кадае находился Михаил Илларионович Михайлов, привезенный туда в 1862 (или 1863) году и умерший там в 1865 (или 1866) году. О своих петербургских отношениях к Михайлову Николай Гаврилович ничего не рассказывал. Во время пребывания в Кадае Михайлов, по словам Николая Гавриловича, занимался некоторыми литературными работами; между прочим задумал ряд картин из жизни доисторического человека. Одна из этих картин особенно понравилась Николаю Гавриловичу, и некоторые детали ее он пересказывал нам так:

— В местности, приближающейся по своему общему характеру к теперешнему Индостану или Индокитаю, на берегу большой реки расположилась группа человекообразных существ; эту группу можно назвать стадом в несколько десятков голов, можно назвать разросшимся подобием семьи, можно назвать зачатком племени. Около самого берега высятся громадные деревья; с той стороны деревьев, которая обращена к реке, множество ветвей, длинных и толстых, протягивается далеко над водой. Несколько детей лазят по деревьям проворно и ловко; однако вот один из этих карапузов сорвался с ветки, упал в виду; крокодил хватает его своею страшною пастью и удаляется в тростниковую заросль; стадо взволновано, и волнение проявляется у разных особей на разные лады; но через полчаса или через час все забыто, и вся группа имеет прежний вид. Один из членов группы—старик—расположился в высокой и густой траве прибрежной лужайки, несколько поодаль от остальных. Он собрал порядочную кучу ягод, которая лежит около него; в данную минуту он уже сыт, лежит на траве животом вверх; живот заметно выпятился, очевидно, старику удалось покушать вплотную; когда кто-нибудь подходит к нему, а в особенности если взглядывает на его ягоды, старик сердито рычит. Многочисленные подробности картины были старательно обработаны Михайловым.

Кроме картин доисторической жизни, Михайлов пописывал кое-какие стихи. Одно из его стихотворений имело сюжетом стечение богомольцев на поклонение чтимой населением иконе Божьей Матери; стихотворение заканчивалось насмешливым четверостишием, которое у Николая Гавриловича сохранилось в памяти, и он продекламировал его нам; я запомнил это четверостишие, для печати оно неудобно.

17.

В январе или в феврале 1870 года наш староста, заходивший довольно часто в комендантское правление, при одном из таких посещений узнал, что правление назначило к отправке в первых числах марта меня и еще троих поляков, которые содержались в первом номере, и для которых срок каторжных работ оканчивался в одно время со мною; всех четверых правление отправит этапным порядком в Иркутск; тамошние власти препроводят нас по своему усмотрению в местности, где мы обязаны будем жить в звании ссыльнопоселенцев.

В феврале я по обыкновению заходил несколько раз к Николаю Гавриловичу и в виду предстоящего от'езда разговор склонялся к рассуждениям и предположениям о моей жизни в звании поселенца. Первая трудность: надо заработать средства к существованию. Николай Гаврилович пророчил мне перспективы более или менее сносные; думал ли он так в действительности или только старался подбодрить меня, хотя, впрочем, я не чувствовал уныния,— не знаю.

— Если пошлют вас в деревню, не знаю, что вам сказать... В земледельцы вы, конечно, не годитесь... Но зачем предполагать непременно деревню. Ведь мы хорошо знаем, что многие поляки получили разрешение жить в Иркутске и живут там более или менее сносно. В Иркутске и для вас найдется занятие, хотя бы, например, уроки.

Я возразил, что по действующей ныне инструкции это занятие, как говорят, строжайше запрещено политическим ссыльным.

— Э! Строжайше запрещено... Какой-нибудь там губернский прокурор обязан в числе прочих властей наблюдать за исполнением инструкции, а вы как раз его детям и будете давать уроки... На бумаге мало ли что пишут. Да в Сибири продержат вас недолго; пустят в Россию. Там будете на какой-нибудь железной дороге кассиром; вообще займете одно из мест, созданных (при этом на его губах обозначилась легонькая усмешка) промышленным прогрессом нашего великого времени.

Я спросил, какого он мнения о возможности литературного заработка: перемена обстановки, дорожные происшествия, масса новых впечатлений,—изо всего этого могут родиться кое-какие очерки—полуэтнографические, полубеллетристические. Он опустил го-

лову, помолчал; потом взглянул на меня и медленно, как будто раздумывая о чем-то другом, сказал:

— Ну, что же. В случае чего—обращайтесь к Антоновичу.

При одном из наших последних разговоров Николай Гаврилович сказал мне:

— У меня лежит без всякой пользы «Staats-Lexicon» Велькера. Я в него никогда не заглядывал и никто из обитателей «полиции» никогда не заглядывает; о поляках нечего и говорить. А вы, хотя редко, все же иногда окунались в некоторые выпуски этого многотомного сочинения, и потому мой совет вам и даже просьба: возьмите вы этот лексикон с собой, иной раз, может быть, и пригодится.

— Николай Гаврилович, знаете русское присловие: наше место пусто не живет. Из теперешних обитателей «полиции» никому лексикон не нужен, но ведь завтра же могут поместить там нового человека, только что привезенного, которому лексикон окажется, может быть, очень полезной и желательной книгой. Со мною будет одно из двух: мои материальные обстоятельства будут либо хорошие, либо худые; если хорошие, могу купить желаемую книгу; если худые, не до книг будет.

Этим разговор и кончился; лексикона я не взял. Впоследствии я жалел об этом. Первые два с половиною года моей ссыльно-поселенческой жизни были для меня в материальном отношении довольно таки тяжелы; мой заработок давал возможность существовать лишь самым скромным образом, не позволяя себе ни малейших прихотей; о покупке книг нечего было и думать. Между тем, каждый день у меня было два-три часа свободного времени; случалось пять-шесть часов; изредка выдавались целые дни, не занятые работой. Таким образом являлась возможность прочитать многое, но книг у окружающих меня лиц было вообще очень мало, а таких книг, которые были для меня наиболее желательны, не было вовсе. Вот в эти два с половиною года я много раз со вздохом вспоминал о лексиконе Велькера.

18.

Почти через два года по освобождении из тюрьмы я услышал, что Николай Гаврилович перевезен из Александровского Завода в Вилюйск. Еще через два или через три года дошли до меня смутные слухи о неудавшейся попытке Мышкина увезти его из Вилюйска. Когда я любопытствовал: как он живет в Вилюйске, как себя чувствует, чем занимается, я получал ответы, хотя можно сказать из десятых рук, тем не менее вопрошаемые мною лица давали мне сведения, почти вполне правильные (как я убедился в эти последние три—четыре года из брошюр Шаганова и Николаева): живет в остроге, выходит из него не часто; повидимому, здо-

ров и спокоен; что-то пишет и потом уничтожает; во время тамошнего короткого лета копает какую-то канавку, чтобы осушить какое-то болото, спустить воду из него в Вилюй, должно-быть для моциона работает.

С февраля 1876 года я жил в Иркутске. В числе моих очень немногих знакомых был Николай Васильевич Садовников, секретарь городской думы и вместе с тем адвокат, имевший доверенности от нескольких торговых фирм для ведения их тяжебных дел в административных и судебных инстанциях. Некоторые из его доверителей говорили ему, что иногда, играя в карты с тогдашним начальником Иркутского жандармского управления Янковским, они заводили разговор о Чернышевском; Янковский, вообще говоря, старался в таких случаях перевести разговор на другую тему, но иногда бывал более экспансивен и кое-что сообщал собеседникам; его сообщения почти совпадали с теми, которые я имел из источников неофициальных и которые изложил выше. Янковский прибавил только одну подробность, которой в других сообщениях не было: из Иркутска в Вилюйск посылались жандармы, чтобы наблюдать за Николаем Гавриловичем; каждый год посылался новый жандарм, а его предместник возвращался в Иркутск и продолжал здесь свою службу; и, по словам Янковского, возвратившийся жандарм всегда оказывался заметно сообразительнее и развитее, нежели был до командировки в Вилюйск.

В Иркутске существовало в то время (вероятно, существует и теперь) предместье, называемое «Знаменским» или «Монастырским», через которое пролегает почтовая дорога, ведущая в Верхоленск и далее на север—Якутский тракт. Приблизительно в половине августа 1883 года в 5 или 6 часу вечера я шел по мосту, довольно длинному, соединяющему это предместье с городом. Навстречу мне из предместья в город подвигалась довольно тихо, почти шагом, почтовая тройка; в телеге полусидел, полулежал человек в очках, которого лицо показалось мне чрезвычайно похожим на лицо Николая Гавриловича. Уж не он ли и в самом деле?—мелькнуло у меня в голове. Я оглянулся назад: если он, то тут непременно и жандарм будет. На облучке, рядом с ямщиком, сидит человек, но не в военной одежде, а в какой-то мещанской чуйке. Положим, подумал я, жандармы являются иногда переодетыми; но, если он сопровождает Николая Гавриловича, какая же была бы надобность переодеваться. Нет, должно быть, случайное сходство; а очень похож на него этот человек. Дня через три или четыре вышеупомянутый Садовников сказал мне:—А знаете новость? Вчера увезли отсюда Чернышевского, он пробыл здесь три (или четыре) дня, находился в комнате при жандармском управлении; никто в городе ничего не знал об этом; из властей к нему заходили только жандармский полковник (Янковский) и генерал-губернатор (в то время, кажется, Анучин); везут его в Россию, говорят—в Астрахань.

По капризу судьбы мои крайние, по времени, встречи с Николаем Гавриловичем, первая и последняя, были обе вроде каких-то сновидений. В августе 1863 года я видел его в Сенате и был почти уверен, что вижу именно его; но только—почти, полную же уверенность я получил гораздо позже. Через двадцать лет, в августе 1883 года, я увидел его в почтовой телеге и был почти уверен, что это не он, а кто-то другой, очень похожий на него, и лишь через несколько дней убедился, что это был именно он. Кстати уж прибавлю: никаких влиятельных знакомств в административном кругу Иркутска у меня не было, а потому, если бы даже я был вполне уверен, что виденный мною в почтовой телеге человек—Николай Гаврилович, и пошел бы хлопотать о разрешении мне повидаться с ним, конечно, я получил бы безусловный отказ.

Через некоторое время я услышал, что Николай Гаврилович живет в Астрахани, переводит всемирную историю Вебера, и перевод печатается, только переводчику дана фамилия Андреева. Я не пробовал достать этот перевод, потому что, если бы и достал, не имел бы времени читать его. С теми статьями о расах, о классификации людей по языку и проч., которые он присоединил к некоторым томам переводимого им сочинения Вебера, я ознакомился лишь в последние годы, по выходе собрания его сочинений.

Но статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», которая была помещена в сентябрьской книжке «Русской Мысли» за 1888 год, и которую Николай Гаврилович подписал псевдонимом «Старый Трансформист», я прочел вскоре после ее появления, т.-е. в конце 1888 г.: кто-то из знакомых принес мне книжку журнала и сказал, что некоторые из прочитавших упомянутую статью считают ее автором Николая Гавриловича. С первых же страниц статьи, на которых излагаются сведения и рассуждения о Годуине и о Мальтусе, я получил полную уверенность, что статья написана именно им: и содержание мыслей, и способ их выражения—его.

19.

В октябре 1889 года я жил все еще в Иркутске, где и услышал сообщенное некоторым иркутянам известие о смерти Николая Гавриловича. Во время моего студенчества, в феврале 1861 года, в Петербурге, я с несколькими товарищами отправился на похороны Шевченко; по окончании панихиды друзья и почитатели умершего произнесли несколько речей, из них Кулиш начал свою речь словами: «Яка сыла лягла в домовину» (т.-е. какая сила легла в гроб). Когда я услышал о смерти Николая Гавриловича, мне вспомнились эти слова Кулиша. Какая сила легла в гроб...

Большой ум, обширные, разносторонние познания, темперамент истинного подвижника на пользу человечества,—темперамент ярко очерченный словами, которые Николай Гаврилович сказал,

своей невесте: «я один из тех людей, которые кроют чужую крышу, а свою раскрывают». Вся дальнейшая жизнь Николая Гавриловича показала, что эти слова не были красивою фразою, которая случайно подвернулась ему на язык; нет, этими словами он отчетливо обрисовал, так сказать, центральное ядро своей личности. Прочитавши в его дневнике эти слова, я вспомнил о его тюремном титуле и подумал: вот она, настоящая сердцевина нашего «стержня добродетели»; вот оно, то основное свойство его души, которое накладывало какой-то особый оттенок, своеобразный, неуловимый, неподдающийся точному определению, на всю внешность этого человека, добродушного, простого, расположенного пошутить и побалагурить, которого мы, товарищи его тюремной жизни, так сердечно почитали и любили.

Он крыл чужую крышу, а свою раскрывал... Отстраняя иносказательные выражения, говорю попросту, прямо: заботясь очень мало о своих личных удобствах, он усердно служил человечеству, усердно старался принести пользу согражданам, и потомство наградит его единственною монетою, какую оно имеет в своем распоряжении, чтобы награждать своих избранников из среды умерших деятелей,—оно долго и с любовью будет вспоминать о нем. В упомянутой мною статье г. Лемке приведено письмо Николая Гавриловича от 5-го октября 1862 года, написанное им в Алексеевском равелине для отсылки жене, но не отправленное следственною комиссией по назначению, а вместо того приобщенное ею к делу, чтобы иметь в виду при предстоявшем допросе Николая Гавриловича. В этом письме он, между прочим, пишет жене (книжка «Былое» за март 1906 г., стр. 114):

«Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами».

Я твердо верю, что эти слова окажутся пророческими, и пророчество исполнится с буквальною точностью.

С. Г. Стахевич.

Петербург.
Август 1909 г.

Примечания *Н. А. Алексеева.*

Некоторые сведения об авторе и о лицах, упоминаемых автором в настоящей главе.

Стахевич, Сергей Григорьевич, студент медико-хирургической академии, был арестован в начале марта 1863 г. за распространение листка: «Льется польская кровь, льется русская кровь», выпущенного в связи с польским восстанием; в январе 1864 г. С. был приговорен к шести годам каторжных работ и поселению затем в Сибири навсегда; в 1870 г. вышел на поселение и долгие годы жил в Иркутске. Скончался в Петербурге 13 мая 1918 г. Свои воспоминания С. писал в Петербурге в 1908—1909 гг. Первые две главы были напечатаны в журнале «Былое», 1923 г., кн. 21 и 22. Воспоминания о Н. Г. Чернышевском, составляющие тему печатаемой нами седьмой главы, были частью

изложены автором в газете «Закаспийское Обозрение», 1905 г., №№ 237, 238, 239 и 243.

В гл. VI своих «Воспоминаний» Стахевич пишет: «Чернышевский часто называл меня, подшучивая, «молодым ученым» и однажды произнес обо мне такую характеристику:

— Бывают люди, не имевшие детства с его играми, забавами и шалостями; они сразу вступают в жизнь серьезными. Вот, например, Сергей Григорьевич: ему от роду лет семьсот; он, как только явился на божий свет, тотчас попросил книжку и стал читать; и так вот с тех пор все читает и читает».

Заичневский, Петр Григорьевич (1842—1896), студент московского университета, был арестован в июле 1861 г. за произнесение противоправительственных речей и распространение запрещенных сочинений; в ноябре 1862 г. З. был приговорен к 2 г. 8 мес. каторжных работ и поселению затем в Сибири навсегда. По отбытии каторги был поселен в Киренском округе Иркутск. губ., в 1868 г. был переведен в Пензенскую губ. Скончался в Смоленске в 1896 г., оставшись до конца жизни революционером т. н. «якобинского» толка. См. сборник «О минувшем», СПБ, 1909, стр. 122—188 и Лемке, «Полит. процессы 60-х г.г.», 1923, стр. 3—54.

Мартьянов, Петр Алексеевич (1835—1866), б. крепостной крестьянин, в 1861 г. уехал заграницу, где сблизился с Герценом, в 1863 г. написал Александру II письмо, перепечатанное в «Колоколе», с призывом быть отцом народа, вернулся в Россию, был посажен в крепость и приговорен в 1864 г. к пяти годам каторжных работ и затем пожизненному поселению в Сибири. Скончался в июне 1866 г. в Иркутской тюремной больнице. См. Лемке, «Очерки освободительного движения 60-х г.г.», СПБ, 1908, стр. 335—356.

Муравский, Митрофан Данилович, студент харьковского университета, был арестован в 1859 г. за распространение возмутительного воззвания и приговорен в 1864 г. к девяти годам каторги; летом 1869 г. был отправлен в Бирск, Уфимск. губ., вскоре был вновь арестован и приговорен к восьми годам каторги; скончался в ноябре 1879 г. в Борисоглебской центральной каторжной тюрьме (в Харьковск. губ.). См. Стахевич, гл. VI.

Баллод, Петр Давыдович, студент петербургского университета, был арестован в июне 1862 г. по делу о тайной типографии и печатании противоправительственных воззваний, в ноябре 1864 г. был приговорен к семи годам каторги. В зиму 1870—71 г. был поселен в Иркутск. губ., с 1873 г. служил на золотых приисках в Якутск. области. См. Лемке, стр. 505—596 и Стахевич, глава VI.

Юрасов, Дмитрий Алексеевич, б. студент Московского университета, по делу Каракозова был приговорен к десятилетней каторге. После 6 лет в каторжной тюрьме и 13 лет поселения в Якутской области, Ю. в 1885 г. выехал в Вологду. См. А. Шилов, «Покушение Каракозова 4 апреля 1866 г.», «Красный Архив», 1926, т. 17.

Странден, Николай Павлович, по делу Каракозова был приговорен к двадцатилетней каторге. До 1872 г. С. находился в Александровском заводе на каторжном положении, затем был отправлен на поселение в Якутскую область. В 1884 г. С. выехал в Пензу. См. А. Шилов, «Покушение Каракозова», «Красный Архив», 1926, т. 17.

И. А. Алексеев.

Мои воспоминания [1]

В декабре 1879 г. я, по службе помощник исправника, приехал из Якутска в г. Вилюйск и остановился на общественной квартире под проезжающих.

В то время управлял округом (за исправника) казачий офицер, командированный из Якутска.

При от'езде моем из Якутска я был предупрежден, что содержащийся в Вилюйской тюрьме Н. Г. Чернышевский крепко не ладит с администрацией, поэтому я должен быть крайне осторожным и употребить всевозможные меры к прекращению этих неурядиц, но в то же время строго выполнять инструкцию по надзору, не подавая поднадзорному вида, что он арестант, и что над ним тяготеет надзор [2].

---

[1] Некоторые из передаваемых в настоящих воспоминаниях сведений были сообщены со слов автора А. М. Серебренниковым в статье: «К пребыванию Н. Г. Чернышевского в Вилюйске» («Сибирский Архив», 1913, № 5)—*Ред.*

[2] Н. Г. Чернышевский был привезен в Вилюйск 11 января 1872 г. В то время в Вилюйске было всего десятка два домов и десятка три якутских юрт; жителей насчитывалось около 500 человек. Тюрьма, в которую поместили Н. Г., представляла собою обведенное палью деревянное здание квадратной формы, с пятью камерами, общей комнатой и коридором. Н. Г. занимал угловую камеру, других арестантов не было. По инструкции, Н. Г. не должен был выходить из квартиры без жандармского унтер-офицера, посторонние могли навещать его не иначе, как с разрешения жандармского унтер-офицера или исправника; на ночь дом запирался, и один из унтер-офицеров должен был наблюдать за Н. Г., не обращая на это его внимание... Время от времени строгости усиливались. Так, в сентябре 1872 г., в связи с задержанием и бегством Г. А. Лопатина, имевшего намерение освободить Чернышевского, в Вилюйск был командирован из Иркутска ад'ютант ген.-губернатора для проверки состояния надзора за Чернышевским; в августе 1873 было дано предписание об усилении надзора; в декабре 1874 г. и январе 1875 г. даны такие же предписания; в апреле 1875 г. предписано усилить надзор за перепиской Чернышевского, а в мае—не допускать к нему никого, кроме лиц, обязанных посещением по закону; после неудачной попытки Мышкина освободить Чернышевского, имевшей место в июле того же 1875 г., Чернышевский был временно изолирован в пределах тюремного частокола под присмотром ефрейтора и шести солдат. См. «Минувшие Годы» 1908 г., № 3, статья NN: «Н. Г. Чернышевский в Вилюйске (по архивным данным)».

Такое поручение для меня, тогда еще совершенно молодого, неопытного (мне было 23 года), было очень затруднительно; я даже говоря откровенно, не понимал его. Во всю дорогу до Вилюйска у меня не сходила с ума мысль: как это строго исполнять инструкцию, чтобы поднадзорный не замечал этого? Раздумывая о таком поручении, я пришел только к тому заключению, что ничего я тут не придумаю и бесполезно подготовляться; приеду, познакомлюсь и увидим, как нужно будет поступать. Человек, с которым я должен буду иметь дело, вероятнее всего, сам даст мне возможность, как человеку подначальному, выполнять мой долг службы без ущерба той и другой стороне. Так оно и случилось.

По приезде в Вилюйск я узнал, что Н. Г. за последнее время очень нервно расстроен и при первом моем свидании с ним, вероятно, будет жаловаться на исправника. Этого хотя не случилось, но могло случиться, как я сам убедился потом. Если Н. Г. ничего не сказал мне о том, что творилось в Вилюйске до моего приезда, то, мне думается, только потому, что не хотел поселять раздора между нами или считал это слишком мелочным.

Переночевав на общественной квартире, я на другой день переехал на квартиру старушки вдовы Карякиной, к которой приходил обедать Н. Г. Старушка эта—старая знакомая моих родителей и знавшая меня с детства—очень была польщена тем, что я предпочел поселиться у нее, и при первом же свидании многое сообщила мне про Вилюйск. Между прочим и про Н. Г. она рассказала, что его недавно запирали в тюрьме на три дня без выпуска за то, что он написал что-то такое на бумаге [1]. Запертый Н. Г. сидел в камере и резал перочинным ножом дверь с целью выхода; теперь он сильно скучает; вероятно, скоро придет к вам.

На вопрос мой, у всех ли бывает здесь Н. Г., словоохотливая старушка ответила мне: «Нет, он ходит не ко всем, но к вам придет непременно, потому я говорила с ним о вас, как о своем знакомом, и он высказал, что познакомится с вами», если только я не буду похож на остальных мне подобных».

Из этих разговоров со старушкой я понял, что Н. Г. может свободно выходить из тюрьмы в город и бывать у жителей, что не безызвестно было областному начальству, невыпуск же из тюрьмы последовал только, как мера карательная.

Познакомился я с Н. Г. случайно и в тот же день, как переехал на квартиру к Карякиной. В часа три дня я услыхал из другой комнаты разговор жены моей с кем-то в нашей спальной. Сначала я не обратил внимания на этот разговор, но затем меня поразила интонация голоса одного из разговаривающих. Это был не обык-

---

[1] По предписанию якутского губернатора от 23 февраля 1879 г. за № 680 Н. Г. был лишен права выхода в течение трех дней «за то, что в писании своем допустил ложные и крайне неприличные выражения».

новенный говор, а какие-то стоны: человек, говоривший с женой, не то плакал, не то стонал.

Н. Г., не зная о моем переезде на квартиру к Карякиной, пришел к ней обедать. Хозяйка дома вышла на кухню, а в этот момент вошел Н. Г. и попал в нашу спальню, где он ранее постоянно обедал. В ожидании хозяйки, он сел на стул; в это время входит жена моя и с удивлением видит сидящим совершенно незнакомого ей старичка, в очках, в енотовой шубе. Немало изумился и Н. Г.: он ожидал здесь встретить, по обыкновению, хозяйку, а к нему вышла молодая незнакомая женщина. Я подошел к разговаривающим в тот момент, когда Н. Г. и жена моя, отрекомендовавшись друг другу, начали говорить о том, как Н. Г. попал в эту комнату, по близорукости своей совершенно не заметив перемену в обстановке. Извинившись в своей ошибке, Н. Г. собирался было уходить, но жена моя, предупрежденная мною ранее о том, что мне желательно было бы познакомиться с Н. Г. где-нибудь в частном доме, а не официально в тюрьме, старалась удержать его разговором, желая дать мне возможность выйти к нему. Войдя в комнату, я отрекомендовался, также и Н. Г., а затем он снова начал извиняться, что попал к нам по ошибке. Я ответил ему: «Вам, Н. Г., вероятно, известно, что я приехал сюда на жительство; так или иначе вам придется познакомиться со мною, то не лучше ли начать наше знакомство с этого момента, и если вы ничего не имеете, то я прошу вас остаться у нас и разделить нашу скуку, но предварительно просим вас пообедать». Тогда Н. Г. сказал: «Я думал, что наше знакомство начнется при других условиях, и, конечно, не частно, но случай дал мне понять, что вы предпочли познакомиться со мною частно, а не в тюрьме, и уже, не успев приехать в прекрасный Вилюйск, скучаете; тогда я вернусь к вам». Вслед за этим Н. Г. вышел в другую комнату, где, пообедав, в продолжение не более пяти минут, вошел к нам и, поздоровавшись, сказал: «Ну, теперь здравствуйте, я к вам и уже не по ошибке». Тут Н. Г. как будто повеселел и начал смеяться над собой, говоря: «Нужно же было так случиться, что вместо того, чтобы попасть к Евпраксии Гавриловне (хозяйка), попал в будуар молодой женщины! Ну, будем думать, что это к лучшему».

Далее пошло рассматривание нас и расспросы. Посмотрев на меня, Н. Г. сказал: «Такой молодой, а уже полицейский». Спросил жену, давно ли она замужем, а когда она ответила, что только второй месяц, Н. Г. улыбнулся и сказал: «Ну, ничего, поживете и в Вилюйске, не будете очень скучать, я буду забегать к вам и вот мы, молодая компания, будем пить и веселиться». Я, зная, что Н. Г. не пил вина совершенно, ответил ему: «Компании мы будем очень рады и будем веселиться, если угодно, как это сумеем; но что касается до выпивки, то разве будем пить только чай, а водки и вин ни я, ни жена моя не пьем». Тогда Н. Г. сказал: «Плохо, в таком

случае вы не понравитесь здешней интеллигенции и вас будут сторониться. Ну, да это не беда. Если вы не пьете, то пьяное общество и самим вам не понравится, и вот на этом мы сойдемся».

Затем Н. Г. рассказал нам, что он в жизни только раз почувствовал себя пьяным, выпив на обеде с друзьями рюмку мадеры, при покупке которой произошел такой курьезный случай: в Петербурге в известный винный погребок Елисеева он зашел купить мадеру высшей марки. Отпустили ему за 3 рубля бутылку, достав ее из ящика; в это самое время входит в погребок молодой человек, франтовски одетый, с моноклем на глазу, который потребовал отпустить ему бутылку мадеры в 12 рублей. Продавец, сам Елисеев, нисколько не смущаясь, достал из того же ящика, из которого отпустил и ему, бутылку, завернул ее в бумагу и передал покупателю, заплатившему 12 рублей. Долго Н. Г. оставался в недоумении, не зная, как об'яснить этот случай: он заплатил за бутылку мадеры 3 рубля, а другой за ту же мадеру заплатил 12 руб. Не выяснив такой разницы, Н. Г. не хотел уйти из погребка, почему и обратился к Елисееву с вопросом: следует ли ему доплатить 9 рублей? Елисеев ответил, что у него нет мадеры дороже 3 рублей, а скажи это такому покупателю, как приходивший, то он обесславит фирму и будет кричать на весь Петербург, что у Елисеева нет порядочной мадеры; все равно этот франт выпьет купленную мадеру с полным убеждением, что ее стоимость 12 рублей бутылка.

В это время подали самовар. Я предложил Н. Г. стакан чаю; он, видимо с удовольствием, взял стакан, поставил его подле себя на стол и продолжал разговаривать, а чай так и остался на столе невыпитым. И это повторялось каждый раз; Н. Г. никогда не отказывался от чая, принимал всегда стакан, но почти за пять лет нашего знакомства с ним не выпил у нас ни одного стакана.

Продолжая разговаривать, я услыхал, что кто-то вошел в смежную комнату, и вышел узнать, кто именно. Оказалось, что вошел казачий унтер-офицер из числа стражи тюрьмы. На вопрос мой, что ему угодно, казак ответил: «Здесь Ч—й?». Получив утвердительный ответ, казак, нисколько не смущаясь, сел на скамью, что меня удивило; я вынужден был вновь его спросить: а что ему далее нужно у меня? Тогда казак ответил, что уйдет вместе с Н. Г. Такой ответ привел меня в раздражение, и я, сознаюсь, по молодости своей не выдержал и, упустив из виду, что только за перегородкой сидит Н. Г. и может слышать весь наш разговор, громко сказал казаку: «Раз ты узнал, что Ч—й у меня, то должен удовлетвориться этим и уйти. Я, как полицейский чиновник, буду иметь надзор сам, и Н. Г. в свое время будет в тюрьме; прошу и в будущем этого не делать, когда узнаете, что Н. Г. у меня или у исправника». С этими словами я повернулся и ушел; ушел и казак. Конечно, Н. Г., разговаривая с моей женой, услыхал мой разговор с казаком и когда я, взволнованный, вошел в комнату, он

ласково сказал: «Не волнуйтесь, молодой человек, не то еще увидите. Вот так меня и изводили. Представьте себе, принесут мне книгу—«Вестник Европы» и «Отечественные Записки»—и не уйдут до тех пор, пока я не выдам расписки. Просто возмутительно, не хотят мне поверить моей же книги». Крайне недовольный собой тем, что я позволил себе забыться и громко заговорить—как будто для того именно, чтобы Н. Г. услыхал и мог подумать, что я умышленно заговорил громко, с целью показать свою власть в угоду ему, я несколько призадумался, что, конечно, не ускользнуло от наблюдательности Н. Г., который со смехом сказал: «Ничего, ничего, тут, кроме смешного, ничего нет». Посидев еще с полчаса, Н. Г. начал собираться уходить. Я тоже собрался проводить его, желая пройтись, а он мне сказал: «Разве вы боитесь, что я убегу?» Тогда и я ему ответил: «В декабре месяце при 40 градусах мороза бежать из Вилюйска невозможно. Я хотел только прогуляться и, вероятно, жена не откажется сопутствовать нам». Тогда Н. Г. с видимым удовольствием сказал: «Ну, тогда идемте, а то будет поздно вам возвращаться, хотя здесь совершенно спокойно и вы, вероятно, никого не встретите». Проводив Н. Г. до ворот тюрьмы, мы распрощались, а Н. Г., входя уже во двор, сказал нам: «В следующий раз я вам расскажу, как я заплутался в Вилюйских лесах, отправившись по грибы, и какую здесь подняли тревогу, вообразив, что я бежал». Этот случай был мне известен еще в Якутске. За год до моего приезда в Вилюйск, Н. Г. вышел из города в лес по грибы и заблудился. Нашли его на другой день бродившим в лесу верст за пятнадцать от города, совершенно утомившимся и голодным.

Первое свидание мое с Н. Г. произвело на меня приятное впечатление. Я убедился в том, что с ним можно ладить при устранении совершенно ненужных строгостей и формальностей, очень раздражающих его.

При следующем посещении нас Н. Г. рассказал про тот случай, как он заблудился, а когда я ему сообщил, что про это я знал еще в Якутске, Н. Г. сказал мне: «Значит, теперь вы лишите меня удовольствия ходить в лес по грибы?» Я ответил ему: «Такого запрещения я не намерен делать, но буду просить вас не удаляться слишком далеко от города и прогуливаться по тем местам, где вы можете ориентироваться». Н. Г. мне ответил: «Теперь, наученный горьким опытом, я сам не решусь далеко отходить от города».

Не раз Н. Г. наделял нас грибами, но только, к сожалению, пользоваться ими приходилось не всеми, потому что часть грибов были не из тех, которые мы употребляем в пищу, а другие были настолько старые и червивые, что их невозможно было есть. Собиратель этого не разбирал, а брал все, что попадется.

Н. Г. курил из мундштуков, выделываемых из жимолости им самим. Увидав, что я курю тоже из мундштуков, он не раз снабжал

меня мундштуками своей работы, сделанными настолько аккуратно и чисто, что не отличишь их от мундштуков фабричной работы.

При следующей встрече с Н. Г. я сообщил ему, что, «во избежание всяких разговоров и недоразумений, я решил всю вашу корреспонденцию передавать вам лично, тотчас же по получении, но вы должны будете подготовлять расписочки в получении, которые требуются от нас, и передавать их мне». Этим, видимо, Н. Г. остался доволен и только сказал: «А это для вас не будет обременительно?» В конце каждого месяца Н. Г. передавал мне аккуратно подшитые, пронумерованные расписки и при одной передаче сказал: «Вот вы же нашли способ более просто передавать мне корреспонденцию, почему же ранее так не делали ваш исправник и его помощник, а казак торчал у меня до получения расписки?» Я, желая прекратить этот разговор, ответил ему: «Ну, это, может быть, и не по распоряжению исправника или его помощника, а излишнее усердие казака, как говорит русская пословица: «услужливый дурак хуже врага». Н. Г. усмехнулся и сказал: «С вами согласен, но только отнесу это не к казаку».

На весь Вилюйский округ, с 80.000 населением, во время моей службы было только два чиновника: исправник и его помощник; первый—почти постоянно в округе, а на последнем лежали все остальные обязанности. Тогда не было ни мировых судей, ни следователей, ни почтовой конторы; вся эта часть лежала на обязанности помощника исправника, получавшего 52 рубля жалованья в месяц; он же и вахтер—хлебный, пороховой и соляной, он же и почтмейстер, принимающий и отправляющий корреспонденцию, денежную и простую, как казенную, так и частную. При полицейском управлении не было даже секретаря, а занимались письмоводством, по частному найму, два малограмотных казака. Кроме перечисленных обязанностей помощника исправника, на него возложена была губернатором обязанность, *в свободное от занятий* время, заниматься преподаванием в казачьей школе (конечно, безвозмездно) арифметики, так как учитель школы, казак, был очень слаб в познаниях по этому предмету. Исполняя это поручение, я вынужден был в 9 часов утра отправляться в школу и заниматься с казачьими детьми один час, а затем уже обращаться к прямым своим обязанностям.

Исправника, казачьего офицера, сменил приехавший из Иркутска помощник почтмейстера, Третьяков, старик 80-ти лет, совершенно несведущий в делах по администрации, как специалист только по почтовому делу. Вот с этим-то исправником, с самого приезда его, у Н. Г. пошли неприязнь и неурядицы, доводившие меня до крайне затруднительного положения. Посоветоваться было не с кем и приходилось улаживать эти неприятные отношения с большим трудом, да и то благодаря только тому, что исправник мой, вероятно, чувствуя свою немощность в делах, не слишком

проявлял свою власть, что давало мне возможность почти самостоятельно действовать по управлению и направлять отчасти самого исправника.

При одном из свиданий Н. Г., заметив, вероятно, мое переутомление работой, высказал: «Где же справедливость вашего начальства: кто работает, как бык, тому платят 50 рублей в месяц, а кто ничего не делает, как только шьет затычки к болтам, получает более 100 рублей?» Здесь я должен пояснить, что Н. Г. однажды, зайдя к исправнику по делу, застал его сшивающим из тряпок затычки к оконным болтам. Вот этот случай Н. Г. указал мне, как пример деятельности исправника, да и кроме этого говорил что-то, только я не припомню. Вообще Н. Г. очень неприязненно относился к исправнику и совершенно не стеснялся в моем присутствии в резких выражениях по его адресу, чем иногда ставил меня в крайне неловкое положение.

За время пребывания в Вилюйске Н. Г., при моей службе там (в продолжении 4 лет и 8 месяцев), я не видал его вполне здоровым. Нервы его настолько были расшатаны, что, когда он чувствовал себя нехорошо, то разговор его походил скорее на стоны, и в таком состоянии он не выносил даже плача ребенка, уходя сейчас же от меня, как только услышит плач моей девочки. Бывали и такие случаи, что Н. Г. довольно долго разговаривал и даже шутил; видимо, тогда он чувствовал себя в лучшем состоянии здоровья.

В Вилюйске я вел знакомство с врачом и чиновником акцизного ведомства, они заходили иногда ко мне, и у нас составлялся преферанс. Однажды эти знакомые зашли ко мне, а вслед за ними зашел и Н. Г. Мы вели общий разговор. Прошло полчаса, один из гостей (кажется, врач) задал мне вопрос: «А что, А. Г., сегодня у нас, вероятно, преферанс не составится?» Я промолчал, считая неудобным отвечать, но Н. Г., конечно, не упустил этого случая и с улыбкой сказал: «Ну, так что же, вы хотите заниматься, а я пойду гулять; занимайтесь, занимайтесь, это невинное занятие, во всяком случае гораздо лучше, чем кража со взломом».

Иногда Н. Г. заставал меня дома в охотничьем костюме, когда я собирался пройтись с ружьем. На мне бывало пальто серого солдатского сукна, барашковая шапка, сапоги (по местному названию торбаза) верхоянской выделки из конской кожи. Тогда начинался полный всесторонний осмотр меня и подробный опрос, где и как выделывается такая кожа, при чем даже ощупывалась обувь и получала одобрение. Конечно, и при этом случае не обходилось без критики. После осмотра было сказано: «Настоящий императорский стрелок».

Н. Г., получая казенное пособие—16 рублей в месяц, задумал послать жене своей в подарок мех из лисьих шкурок, которые хотя в то время были недороги в Вилюйске (3 рубля шкурка сред-

него сорта), но тем не менее потребовалась бы порядочная сумма. В уплату этой суммы он просил удерживать часть денег из его пособия, несмотря на мизерность этого пособия, совершенно даже недостаточного на его содержание. Когда Н. Г. обратился ко мне как бы за советом: возможно ли будет исполнить его желание и каким способом,—я был поставлен в затруднительное положение: с одной стороны, мне очень не хотелось отказать ему, а с другой стороны, в моем распоряжении не было никаких свободных сумм, из которых я мог бы сделать заем на покупку шкурок, по крайней мере рублей 120; но тем не менее я пообещал Н. Г. переговорить об этом с местным купцом, Л. А. Кондаковым, выезжавшим тогда на ярмарку в Якутск и занимавшимся покупкой и продажей мехов. Купец этот, к моему удовольствию, сочувственно отнесся к моей просьбе, обещаясь устроить мех из имевшейся у него партии лисьих шкурок, конечно, имея ответственным в платеже лично меня, хоть этого он мне не высказал. Получив такое согласие купца, я вручил ему письмо на имя губернатора, которое предложил купцу лично передать губернатору. В письме этом я просил губернатора, если он не имеет препятствий к выполнению купцом Кондаковым просьбы Н. Г., не отказать разрешить ему исполнить ее. Я сообщил губернатору и предложенный Н. Г. способ уплаты. На письмо мое я от губернатора ответа не получил, но возвратившийся из Якутска купец Кондаков передал мне следующее: «Когда письмо ваше я лично передал губернатору, он, прочитав его, очень любезно предложил мне садиться и, подумав немного, сказал мне: я вас прошу сделать этот мех из лучших лисьих шкурок, стоимость вам будет немедленно уплачена». В тот же день губернатор сделал распоряжение прислать к купцу скорняка. Таким образом, мех был изготовлен в самый короткий срок и передан губернатору, а последний, вызвав купца, показал ему квитанцию почты об отправке ценной посылки на 150 рублей супруге Н. Г. и тут же уплатил купцу 150 рублей. Об удержании из пособия Н. Г. денег, употребленных на заготовление меха, я никакого распоряжения не получал, а пособие выдавалось ему в том же размере [1]).

До возвращения купца в Вилюйск Н. Г. не раз обращался ко мне с вопросом: «А что вы придумали относительно меха, о котором я с вами говорил?» Я отвечал, что сейчас ничего не могу сказать, а вот, когда возвратится Л. А. (купец), я лично передам результат о заготовке меха. После этого я узнал, что Н. Г. чрез день, чрез два заходил к семье купца и справлялся, когда ожидают его возвращения. В день приезда купца, под вечерок, Н. Г.

[1] В июле 1882 г. из Вилюйска в Якутск отправлялся Лаврентий Алексеевич Кондаков. Чернышевский просил чрез Кокшарского губернатора о выдаче Кондакову авансом за счет его содержания денежной суммы в уплату за мех. Губернатор распорядился о выдаче ссуды в 100 руб. из благотворительных капиталов, с начислением в год из 6%.

зашел ко мне и, приняв обычный стакан чаю, который, конечно, не выпил, завел разговор совершенно о посторонних обстоятельствах, не касаясь меха. Между прочим разговором я сообщил ему о возвращении купца, он ответил мне: «Да, я это знаю», но и тут никакого вопроса о мехе. В это время вышла к нам жена, которую я попросил на время оставить нас одних, а когда жена ушла, передал подробно Н. Г. об отсылке меха его супруге. Выслушав меня, Н. Г. встал и, с видимым удовольствием пожав мою руку, сказал: «Искренно вам признателен за ваше содействие; я был почти уверен, что вы что-нибудь сделаете, и поэтому только обратился к вам, а не к исправнику, этот дурак все бы перепутал. Ну, а зачем вы выгнали жену, здесь никакого секрета не было, просите же ее к нам». Не ограничившись выраженной мне благодарностью, Н. Г. написал мне письмо, в котором повторил свою благодарность, а также искренно благодарил губернатора за любезное исполнение его желания. Я полагаю, что письмо это было написано в тех видах, что содержание его будет известно губернатору, писать которому лично Н. Г. не счел нужным. Письмо побывало где следует, а теперь оно хранится у меня.

Мне постоянно приходилось пребывать в городе, а исправник раз'езжал по округу,—хотя и ничего не делал, но уезжал, как говорится по-нашему, по-канцелярски, во избежание переписки. Оставаясь один в Вилюйске, я не стеснял себя форменной одеждой, а ходил в частном костюме, как более удобном и нестеснительном. В таком костюме я не раз заходил в тюрьму. В один вечер я зашел в тюрьму и застал Н. Г. сильно расстроенным. Он сразу обратился ко мне с таким вопросом: «А, вы пришли ко мне по службе, ну, обыскивайте и ищите, что вам нужно». Это меня крайне поразило, и я остался в недоумении, почему именно Н. Г. предположил, что я пришел его обыскивать, так как ранее при моих частых посещениях тюрьмы мне не задавалось таких вопросов; но, отнеся этот случай к болезненному настроению, я ответил ему: «Сегодняшнее посещение мое действительно служебное, и оно заключается только в том, что я принес вам полученные с почты ваши книги и письмо». Тогда Н. Г. почти вскрикнул: «Ну, тогда вы простите меня, старика, и извините за то, что я вас оставлю на минутку», и, взяв письмо, вышел в коридор, где, прочитав его, возвратился; мне показалось тогда, что настроение его несколько изменилось к лучшему, и он спокойно заговорил со мною. Я спросил его: «Ну, как дома живут?» Он ответил: «Ничего, ладно». Уходя из тюрьмы, я все думал о том, чем именно было вызвано предположение Н. Г. о приходе моем с целью обыска и пришел к заключению, что во всем этом оказалась виновной моя форменная фуражка с кокардой, которую я по рассеянности надел с частным костюмом и, войдя в камеру, положил на принесенные книги, что Н. Г. увидал прежде всего. Одевался я в частный костюм от-

части и потому, что мне не хотелось мозолить глаза Н. Г. полицейской формой; тем более я был уверен, что, если я выйду в город в полицейской форме, то Н. Г. никогда не пойдет со мною рядом, а мне частенько приходилось проходить с ним до тюрьмы и даже иногда пройтись и по городу. Такое отступление от порядка ношения форменной одежды я со своей стороны и не считал каким-либо нарушением, так как мне предписывалось иметь строгий надзор и так, чтобы поднадзорный не замечал этого.

По распоряжению областного начальства следовало ремонтировать тюрьму: весь корпус побелить известью, перебрать печи, а в некоторых камерах перестлать полы. Выполнение этого ремонта взял на себя сам исправник и явился в тюрьму в полной парадной форме с револьвером на кушаке, приведя с собой и подрядчика по ремонту. Я в этот раз не пошел в тюрьму, предположив, что там непременно произойдет обычная стычка исправника с Н. Г., при которой мне не хотелось быть свидетелем. Предположение мое вполне оправдалось. Прождав возвращения исправника более часа, я пошел в тюрьму и застал там самый горячий спор между исправником и Н. Г. Последний был в возбужденном состоянии. При входе моем в камеру я услыхал такое выражение Н. Г., обращенное к исправнику: «Зачем вы хотите убить меня медленной смертью? Лучше повесьте, вы способны на это. Ваш ремонт, я уверен, причинит мне смерть: мои легкие, глаза и весь организм не вынесут той сырости, пыли и грязи, какими вы намерены наградить меня. Я положительно протестую против этого и в камеру свою не пущу рабочих по ремонту». Видя, что пререкания исправника с Н. Г. зашли очень далеко, и я не в состоянии прекратить их, я ушел из тюрьмы; вслед за мною вышел и исправник, который собирался выехать в округ, почему распоряжения свои по ремонту тюрьмы возложил на меня, чем и развязал мне руки. Вечером этого же дня Н. Г. зашел ко мне. По голосу его я заметил, что возбужденное его состояние все еще продолжалось. Поздоровавшись со мною, он стал извиняться, говоря: «Ну, вы меня извините, я сегодня хотя и видел вас, но так был расстроен, что даже не поприветствовался с вами; этот дурак чуть не довел меня до белого каления, а с другой стороны мне и не хотелось говорить при вашем глупом начальнике». Я ему ответил: «По поводу ремонта вы будете далее иметь дело со мной, и мы в другой раз поговорим об этом, а теперь не пойдем ли лучше в лес резать палки (жимолость) для мундштуков». Н. Г. охотно согласился, и мы, беседуя, отлично прогулялись; я заметил, что Н. Г. несколько успокоился и даже начал подшучивать. Когда мы подошли к тюрьме, я пригласил Н. Г. к себе напиться чаю, но он, конечно, отказался, сказав: «Я чувствую себя несколько утомленным и после таких прогулок всегда ложусь спать, мне лучше спится; поэтому сегодня меня извините, а завтра я зайду».

На другой день Н. Г. зашел и первым делом завел разговор о ремонте тюрьмы, задав мне вопрос: «Неужели и вы будете настаивать на побелке моей комнаты?» Я ответил ему, что комната его останется без ремонта, а к ремонту остальных камер будет приступлено ныне же; «вероятно, вы против этого ничего не будете иметь?» Ответ: «Конечно, ничего».

Чтобы выиграть время, я затянул ремонт, но сейчас же сообщил губернатору частным письмом, что в виду болезни Н. Г. и отзыва врача о возможном ухудшении его здоровья вследствие такого ремонта (хотя я врача и не спрашивал), не признает ли начальство возможным вместо побелки камеры оклеить ее недорогими обоями, а верх обтянуть недорогой тканью, что, вероятно, незначительно повысит стоимость ремонта. В ответ на это письмо было получено распоряжение немедленно измерить стены и потолок камеры. Тогда я обратился к Н. Г. с просьбой произвести это измерение, так как я сделаю это не особенно аккуратно, а никого другого не имею, чтобы поручить это дело. Н. Г. с видимым удовольствием согласился и при этом даже подсмеялся надо мною, когда я ему посоветовал быть осторожным, когда он будет измерять потолок. Он мне со смехом ответил: «А зачем я полезу наверх? Я измерю пол, и будет одно и то же». Когда измерение было произведено и сведения направлены в Якутск, были получены белые порядочные обои и ланкорд для потолка. Камера была оклеена, а потолок обтянут под руководством и с помощью самого Н. Г. [1]. По окончании работы мы убедились в точности произведенного измерения. Из присланного материала осталось полкуска обоев и вершка 4 ланкорда. Конечно, Н. Г. не оставил это изменение ремонта без об'яснения и настоятельно спрашивал меня—вследствие чего последовало изменение? Я, желая отклонить от себя инициативу, сказал ему: «Вероятно, исправник сообщил об этом», но Н. Г. с недоверием и усмехнувшись сказал: «Ну, тут ничего нет вероятного», а затем я узнал от врача, что в беседе с ним Н. Г. отнес все это ко мне и высказал свое опасение, не на свой ли счет я это сделал; но врач положительно уверил его, что я не мог этого сделать по одному тому, что начальство мое произведет когда-либо осмотр тюрьмы, обнаружит мое произвольное изменение ремонта, и мне придется об'ясниться по этому поводу.

Мне было известно, что Н. Г. в продолжение зимних ночей что-то писал, а под утро все написанное сжигал. Однажды я спросил его, для чего он это делает. Он мне ответил: «Да, вам это известно? Ну, тогда я вам скажу для чего я это делаю: если бы все это время я ничего не писал, то я мог бы сойти с ума, или все пере-

---

[1] Оклейка камеры имела место в августе 1881 г. По измерению Н. Г., камера имела 9 арш. 14 вершк. в длину, 8 арш. 10 вершк. в ширину и 4 арш. 6 вершк. в вышину; 6 кв. арш. площади было занято печью; в камере было два окна, каждое вышиною в 26 вершк. и шириною в 18 вершк.

забыть; а то, что я раз написал, этого уже не забуду, и вам советую, молодой человек, если вы что-либо хотите сохранить в своей памяти, то напишите это, а затем хоть выбросьте». Этим благим советом я постоянно пользовался в дальнейшей моей службе. Во время содержания в тюрьме Н. Г. был воспрещен всякий литературный труд. Однажды, беседуя со мною, Н. Г. обратился ко мне с вопросом: «А скоро вы собираетесь в округ?» Я ему ответил, что никаких сборов пока не делаю, так как мне совершенно неизвестно, предстоит ли мне выезд. Тогда Н. Г. сказал мне: «Да, значит, вы не знаете, что ваш исправник подписал сам себе диплом дурака. Ему лично было поручено губернатором расследование одного довольно сложного обстоятельства в улусе (волости) округа, и он, не зная, как взяться за это дело, вошел к губернатору с представлением, прося его разрешения перепоручить это дело помощнику исправника, т.-е. вам, допустив в этом представлении такое глупое выражение, что он просит перепоручить расследование *для пользы дела*». При этом Н. Г. от души хохотал. Я был поражен тем, откуда Н. Г. почерпнул такие сведения, тогда как об этом ничего я не знаю, и пришел к заключению, что секрет этот выдал письмоводитель исправника. Действительно, так и было. Я принял это поручение и окончил его довольно быстро, но самой бумаги и ответа губернатора на представление исправника я не видал; они были скрыты от меня. Из писем моих сослуживцев в Якутске я впоследствии узнал, что в Якутске чиновники очень смеялись над смыслом такого курьезного представления исправника, а губернатор, при докладе начальника отделения областного управления, сказал ему: «Разрешите исправнику перепоручить это расследование своему помощнику, раз исправник сам сознается, что от него не будет пользы для дела».

Служа с исправником Третьяковым, я был убежден, что он, совершенно непонимающий своих прямых обязанностей, рано или поздно совершит какую-либо колоссальную глупость или противозаконное деяние, за что и пострадает. Это мое предположение впоследствии вполне оправдалось. По тяжбе двух обществ, якутского и крестьянского, о надельных землях Третьяков совершил совершенно противозаконное деяние с корыстной целью (чего я от него не ожидал), в явный разорительный ущерб якутского общества, по жалобе которого генерал-губернатору было назначено следствие. Третьяков, отстраненный от должности, уехал в Иркутск, где и умер до решения этого дела. Так закончил свою служебную деятельность этот пресловутый исправник, оказавшийся не только несведущим в делах, но и корыстолюбивым.

В половине августа 1883 г., под вечерок, я, взяв ружье, отправился прогуляться в лес по тракту на Якутск. Отойдя от города с версту, я услыхал топот лошадей и свернул с дороги в лесок. Спустя немного времени, по дороге из Якутска выехали из леса

на верховых лошадях два жандарма, в полной форме, с проводником и одной вьючной лошадью с багажем. Я сначала подумал, не повторяется ли история, случившаяся за 4—5 лет тому назад (до моего приезда в Вилюйск, некий политический ссыльный, прибывший в Вилюйск в форме жандарма, по фамилии Мышкин, покушался освободить Н. Г.), но, сомнения мои несколько рассеялись потому, что эти жандармы ехали открыто по Якутскому тракту, имели при себе проводника и вьючную лошадь, чего не могло быть при в'езде в Вилюйск личности, подобной Мышкину.

Возвратившись в город, я сейчас же отправился к исправнику, где и застал виденных мною жандармов. Исправник облачился в полную парадную форму, с револьвером на кушаке и сказал мне: «Ну, Н. Г. увозят от нас». Тогда я взял лежавшую на письменном столе бумагу и прочитал ее. Краткое содержание ее было такое: «Государь император по всеподданнейшему докладу министра В. Д. повелеть соизволил перевести Ч-го в Европейскую Россию», а далее указывался порядок отправки Н. Г. в Якутск[1]. Исправник с жандармами направились в тюрьму, а я остался ожидать возвращения исправника в его квартире, признав с своей стороны, что здесь двум нечего делать, тем более, что исправник не предложил мне следовать с ними.

В виду возможного случая освобождения Н. Г. по подложным оффициальным документам, как это имело место ранее, освобождающие обязаны были пред'явить еще частное письмо губернатора, подтверждающее оффициальные документы. Требование этого письма исправник мой, конечно, упустил из вида, тогда я вынужден был обратиться к жандармскому унтер-офицеру и сказать: «Мы не можем допустить вас в тюрьму, так как вы не пред'явили нам еще одного документа о передаче вам Ч-го». Исправник выпучил свои глаза, он даже не знал, какой это документ, а жандарм, взглянув на исправника как бы с состраданием и улыбнувшись, достал из-за обшлага мундира письмо губернатора и подал его мне. Когда исправник и жандармы уходили в тюрьму, я предупредил их быть осторожными в обхождениии с Н. Г., сказав им: «Я сегодня видел его, он выглядит очень плохо, нервозен и вообще имеет вид больного человека». Исправник мне ответил: «Ну, ладно, радость никого не губит», а затем они ушли.

Я просидел в квартире исправника с час времени и, не дождавшись его возвращения, пришел к убеждению, что мне нужно отпра-

---

[1] Сенатский указ о переводе Н. Г. в Астрахань последовал 15 июня 1883 г. Телеграфное распоряжение об этом перемещении было отдано 14 июля. Предписывалось доставить Н. Г. в Иркутск и далее в Астрахань, принять «возможные меры к охранению от огласки проезда Чернышевского в виду устранения возможности нежелательных выражений сочувствия и каких-либо беспорядков». 2 сентября Чернышевский был доставлен в Якутск. В Астрахань он прибыл 27 октября (см. «Былое Сибири», Томск, 1923, № 2, ст. Н. Бакай: «К вопросу о последних днях Н. Г. Чернышевского в Сибири»).

виться в тюрьму,—верно там опять произошла какая-либо обычная стычка исправника с Н. Г. Так оно и случилось. Когда я пришел в тюрьму и вошел в камеру Н. Г., то застал следующее: жандармов в камере не было, они поместились в другой камере, у дверей камеры стоял парнишка якут, сын истопника лет 7—8, исправник сидел за столом, перед ним лежала бумага, а Н. Г. очень взволнованный ходил взад и вперед по камере. Когда Н. Г. увидал меня, то возвышенным тоном сказал: «Ну, вот прекрасно, что вы пришли, а то мы с этим дураком ничего не можем столковаться; он столько же понимает, как вот этот парнишка». Положение мое было незавидное, я не знал, что я могу тут сделать и как уладить. Я обратился к Н. Г. со следующими словами: «Н. Г., вы вынуждаете меня раскаиваться в том, что я зашел; видя ваше настроение и выражение, мне остается только уйти, а вопрос настолько серьезный, что нужно бы было обсудить основательно». И после этих слов я и действительно намерен был уйти, но Н. Г. подошел ко мне и сказал: «Ну, я прошу вас извинить меня, старика, я погорячился, прошу вас остаться, обещаю быть более воздержанным». Конечно, я не мог не исполнить просьбы Н. Г., тем более, что исправник собирался уходить и, взяв бумагу, вызвал меня в коридор, где, передавая мне бумагу, сказал: «Возьмите бумагу и отправляйте его как знаете, а я не мог с ним сговориться». Исправник ушел, а я возвратился к Н. Г., который, увидав меня одного, спросил: «А где же тот?» и получив ответ, что ушел, попросил меня сесть, сказав: «Ну, теперь можно поговорить. Скажите, пожалуйста, что хотят со мною сделать, куда отправляют, снова в крепость, или что другое? Из слов исправника я ничего не мог понять, я просил его показать мне ту бумагу, о которой он мне что-то говорил, но он отказал мне в этом, сославшись на какую то инструкцию». Я ему ответил, что вопрос этот нам следует обсудить всесторонне,—«Вам предстоит перемещение в Европейскую Россию». Тогда Н. Г. попросил меня дать ему прочитать ту бумагу. Хотя по инструкции это не дозволялось, но я, приняв во внимание, что надзор наш заканчивается, и что от прочтения этой бумаги никаких неблагоприятных последствий быть не может, сказал ему: «Хорошо, Н. Г., я дам вам прочитать бумагу, с условием, что вы прочтете ее только в той части, что относится до вас, а ту часть, в которой изложено распоряжение, относящееся до чинов полиции, вы читать не будете». Ответ: «Я даю вам слово, что прочту только ту часть, что относится до меня». Я передал бумагу Н. Г., он прочитав первую часть ее до слов: «предписывается полицейскому управлению», возвратил бумагу, сказав: «Ну, больше мне ничего не нужно». Затем Н. Г. сел на кровать, немного подумал и сказал: «Да, ошибку отца хочет поправить сын, но это поздно уж теперь».

Далее пошел у нас разговор, каким способом и как доехать Н. Г. до Якутска. Я ему об'яснил, что, как ему известно, от Вилюйска

до Якутска нет тележного пути, следовательно ему придется ехать на верховой лошади. Н. Г. опять несколько взволновался и ответил мне: «Да вы хотите, чтобы я на старости лет сел на лошадь? Я не поеду, копайте здесь могилу и хороните меня». Такой ответ привел меня в полное недоумение, что тут делать и как отправить его,—водным путем в лодке немыслимо, может не доехать, да и этот способ отправки совершенно устранен начальством. Обдумав все это, я вспомнил, что наши купцы,ведущие торговлю в Колымском округе (3000 верст от Якутска), возили туда своих жен, устраивая им качалку (в роде детской люльки) между двух лошадей на палках. Вот этот способ передвижения передал я Н. Г. который, выслушав меня, иронически ответил: «Да, хорош способ, это то, чтобы передняя лошадь меня лягала, а задняя кусала, не поеду, копайте яму». Ну, тогда я ничего не мог придумать и сказал ему: «Теперь я не знаю, что делать, переговорю с исправником, вероятно, придется гнать нарочного в Якутск и просить отложить выезд ваш до первого зимнего пути». Тогда Н. Г. встал и, подойдя ко мне, прочувствованным голосом сказал мне: «А. Г., вы не раз мне оказывали любезность и благорасположение, за что я приношу вам искреннюю сердечную благодарность, а теперь, быть может, в последний раз прошу вас, во-первых, не передавать нашего разговора исправнику, а во вторых, не посылать нарочного в Якутск. Я прожил в Вилюйске одиннадцать лет, и если придется ждать еще зимнего пути, то я уверен, что при своем расстроенном здоровье я не дождусь этого. Подумайте еще, я почему-то уверен в том, что относительно способа передвижения вы придумаете что-либо целесообразное». В этот вечер так с Н. Г. ничего и не могли вырешить, и я ушел из тюрьмы в полном недоумении, что мне делать. В эту ночь сон мой был очень тревожный, и как только пробужусь, сейчас же приходил на память этот неразрешенный вопрос; уже под утро мне пришла на ум следующая мысль: отправлю я Н. Г. в зимнем экипаже, устрою ему на дровнях короб, подстелю кошму, положу подушку. Пара лошадей, запряженная в дровни, одного человека без багажа всегда протащит от станции до станции, хотя бы и по песчаной дороге. В средствах нечего было стесняться, денег на прогоны было выслано более, чем нужно. С надеждой на согласие Н. Г. на передвижение таким способом, я на утро пошел к нему. Н. Г., поздоровавшись со мною, сказал мне, что его тревожила всю ночь та мысль, как он поедет из Вилюйска. Меня всегда поражала наблюдательность Н. Г., он почти всегда безошибочно определял настроение человека по одному его виду и на этот раз, посмотрев на меня, сказал: «Вижу, А. Г., что вы что-то имеете мне сообщить по поводу моей поездки, ну не томите, придумали ли что-нибудь?». Я сообщил ему свой план отправки. Н. Г., сидевший рядом со мною на своей кровати, встал и, взяв меня за руку, сказал: «Ну, не говорил ли я вам, что вы придумаете что-либо целесообразное? Бла-

годарю вас, теперь этот вопрос решен окончательно и удовлетворительно, а далее я в полном вашем распоряжении и, относясь к вам с полным доверием, я больше не буду вмешиваться в это дело, зная, что вы устроите все и без моих указаний, которые, быть может, совершенно непригодны к данному случаю». Я, поблагодарив за доверие, сказал: «Я воспользуюсь предоставленным мне правом распоряжаться и вот сейчас же пред'являю к вам такое требование: вам придется в пути переезжать речки и болота, а быть может где и пройтись, ваш экипаж очень низкий и возможно, что будет заливаем водой, что вызовет необходимость вставать в экипаже на ноги, поэтому требуется непременно одеть непромокаемую обувь, которая и предлагается вам мною. Вы осматривали на мне эту обувь и одобрили ее, так вот, в силу необходимости, вы должны надеть эту обувь и короткое пальто из солдатского сукна, как защиту от дождей, последнее вы также видели на мне и таким образом временно преобразиться в стрелка, как вы назвали меня, увидав в этом костюме». Н. Г. ответил мне: «Ну, хорошо, если все это я отберу у вас, то как же ваша охота?» Я ему ответил: «Не беспокойтесь: во-первых, у меня есть чем замениться, а во-вторых, исправник на этих днях выезжает в округ, я останусь в городе один, и для меня всякая охота уже миновала, так как мне невозможно будет отлучаться из города». На этом мы вполне сошлись с Н. Г. Далее Н. Г. спросил меня: «Можно ли будет завтра выехать из Вилюйска?» Я ответил ему, что это невозможно, нужно заготовить провизию для пути и такую, которая не могла бы испортиться, время летнее, ранее трех дней выезд немыслим. Затем Н. Г. продолжал: «Я прожил в Вилюйске одиннадцать лет, все жители относились ко мне хорошо, и я думаю, что они, интересуясь моим от'ездом, выйдут поглядеть, как я поеду, ведь тракт на Якутск проходит почти через весь город».

Из этих слов я понял, что Н. Г. видимо желал избежать таких проводов, в этом убедило меня еще и то, что с приездом жандармов, Н. Г. совершенно прекратил посещения своих знакомых, не заходил и ко мне, поэтому я составил план отправки его, избежав всяких проводов.

Тут же Н. Г. встал, взял с полки книгу и, передав ее мне, сказал: «Я вас прошу засвидетельствовать вашей супруге мое глубочайшее почтение, с пожеланием ей здоровья и всего хорошего, а эту книгу передайте ей от меня на память». Я усердно поблагодарил Н. Г. за такое его расположение к нам. Книга эта—«Последние песни» Некрасова, на ней следующая надпись: «Ольге Филаретовне Кокшарской в знак глубокого уважения от Чернышевского». В конце этой книги имеется карандашная заметка рукою Н. Г.: «Читал мне сам 4 марта», также имеются и другие его заметки. Книга эта хранится у меня, как драгоценность. Затем Н. Г. высказал: «Я бы с удовольствием вам написал, что со мною сделают и куда

поместят, но я вам не желаю зла; тот, кому я буду писать, будет считаться у вас неблагонадежным». Вероятно, это самое и побудило Н. Г. прекратить свои посещения знакомых. Он, конечно, не доверял жандармам, почему и не хотел показать вида, что вел частные знакомства в Вилюйске.

Надпись на книге меня очень обрадовала, я убедился, что Н. Г. искренно относился к нам благожелательно и что такой человек, как он, не сделает такой надписи из пустой вежливости [1].

От'езд Н. Г. мною был назначен в 12 часов дня, это для публики, а на самом деле отправил я его в 4 часа утра. В ночь перед от'ездом Н. Г. очень волновался, не спал и уже в 2 часа ночи, войдя в камеру, где помещались жандармы, будил их, говоря: «вставайте, пора ехать».

К назначенному часу я потребовал лошадей, а себе заседлал свою лошадь. По приезде в тюрьму я застал Н. Г. уже одетым в путь, жандармы также были готовы к от'езду. Я просил их заготовить квитанцию приема путешественника и вручить ее мне там, где я расстанусь с ними. Предупрежденный мною исправник пришел на площадь перед тюрьмой.

Путешественники вышли из тюрьмы. Исправник стоял в стороне, а я на противоположной от него стороне.

Н. Г. начал пристально осматривать присутствующих, как бы ища кого-то глазами и, увидав меня, быстро подошел ко мне и, держа меня за руку, сказал: «Ну, прощайте, А. Г., живите здорово и благополучно, прощальный привет вашей супруге. Благодарю вас за все то, что вы делали для меня. Вот вам еще письмо, в котором помимо моей благодарности, я удостоверил, что всю корреспонденцию, адресованную мне, я получал от вас исправно. Быть может, после моего от'езда от вас будут требовать какие либо об'яснения по моим делам, так вот я гарантирую вас этим письмом. Советую вам бросить эту службу и не прозябать в Вилюйске, я уверен, что вы способны на что-нибудь лучшее». Все это время Н. Г. держал меня за руку, а затем крепко пожал ее, отошел от меня, издали, не снимая шапки, кивнул головой исправнику, сказал: «Ну, прощайте», и сел в сани.

Все сказанное мне Н. Г. на прощание так меня тронуло, что я не мог удержать слез, но чтобы скрыть их от присутствующих, пошел ловить свою лошадь, пущенную мною на волю. Сев на лошадь, я скомандовал: «За мной!», и весь поезд наш спустился под тюрьму, минуя город, а далее по проселочной дороге, выехали на трактовую дорогу в Якутск. Жандармы сначала удивленно посмотрели на меня, но затем поняли, кажется, мою цель, почему я сделал маленькую окружность, а Н. Г., когда я ехал рядом с его

---

[1] В статье А. М. Серебренникова, о которой мы уже упоминали, сообщается со слов А. Г. Кокшарского, что Н. Г. подарил ему еще тетрадь своих заметок, но он ее сжег.

санями, с улыбкой сказал мне: «Что, А. Г., по грибы поехали». Я промолчал, конечно, и Н. Г. понял, для чего все это было проделано. Все время, пока я ехал рядом с экипажем Н. Г., он любовался побежкой моей лошади (неважный иноходец) и говорил мне: «Мне не приходилось видеть такой побежки, да она совершенно не трясет вас». От'ехав от города версты три, я остановил поезд, получил от жандармского унтер-офицера квитанцию в приеме путешественника, а затем подошел к саням и, пожелав Н. Г. здоровья и благополучного пути следования, расстался с ним.

Через 8 суток Н. Г. благополучно доехал до Якутска, а как он отправился из Якутска—мне неизвестно.

В день от'езда Н. Г., часов в двенадцать дня, было заметно движение публики в городе, часть ее двинулась к тюрьме, но было уже поздно,—в это время Н. Г. вероятно был уже верстах в двадцати от Вилюйска. Этот необходимый обман вызвал немало неудовольствия на меня жителей Вилюйска, в том числе и моей жены.

С прибывшей из Якутска почтой я получил посылку: мою обувь и пальто, в которых уехал Н. Г., и в этой же посылке оказалась стопа почтовой бумаги большого формата, что меня не мало удивило, но на почте оказалась бумага по адресу Управления с препровождением этой бумаги, которая высылается, как сказано в бумаге, в уплату долга Н. Г. мне, тогда как Н. Г. никогда должным мне не был; а у нас был разговор о том, что во всем Вилюйске нельзя было достать листа почтовой бумаги, почему мы были вынуждены писать письма на простой бумаге. Вот этот разговор вспомнил Н. Г. и оказал мне посылкой любезность.

Заканчивая свои воспоминания с глубоким прискорбием, мне остается только сказать:

Мир праху твоему незабвенный, добрейший, благороднейший многострадалец Николай Гаврилович.

Искренно благодарный тебе за твои добрые советы и расположение, с чувством глубочайшего уважения к твоей памяти.

Якутск, 12 января 1927 г.

А. Г. Кокшарский.

Примечания *Н. А. Алексеева.*

К истории «освобождения» Н. Г. Чернышевского

1. — Царская «милость».

В 1864 году Чернышевский был осужден на 7 лет каторги. Согласно способам исчисления каторжного срока и манифеста 1866 года, Чернышевский должен был выйти на поселение в 1868 году. Но его продержали в тюрьме до конца 1871 года, т. е. даже сверх полного назначенного ему судом срока, а затем отправили в Вилюйск якобы на поселение, в действительности же подвергли его и там тюремному заключению.

Но и здесь по отношению к Чернышевскому закон и обычная практика были самым беззастенчивым образом нарушены. Обыкновенно срок поселения, считавшийся в 10 лет, полностью не отбывался — по манифестам он сокращался до 4 лет, после чего ссыльный получал право приписки к крестьянскому или мещанскому обществу и право раз'езда по Сибири. Таким образом, срок поселения Чернышевского во всяком случае истекал в конце 1881 года, а если принять во внимание манифест 1866 г., по которому его каторга кончалась в 1868 г., то не позже конца 1878 года. Однако прошел и 1881, и 1882 год, а Чернышевский все еще продолжал оставаться в Вилюйске — решительно непонятно, на каком законном основании. И вырваться из проклятого Вилюйска ему удалось только путем «помилования», тогда как он давно имел на это полное право по закону.

Пока был жив злобный и мстительный «царь-освободитель», для Чернышевского возвращение в Россию было совершенно закрыто. Многочисленные ходатайства его родных о смягчении его участи оставались без внимания. Даже своему личному другу, поэту А. Толстому, и своему доверенному лицу, временщику Лорис-Меликову, пытавшимся просить за Чернышевского, Александр II отказывал в резкой форме. И все знали, что на пути к освобождению незаконно заточенного узника стоит «высочайшая воля» злопамятного тирана, лживые «реформы» которого Чернышевский разоблачил рукою несравненного мастера.

1 марта 1881 года эта высочайшая воля была устранена бомбой народовольца И. Гриневицкого. Только со смертью «благодушного» тирана, питавшего к Чернышевскому непримиримую личную ненависть, открылась возможность вызволить его из гиблого Вилюйска. Этому помог страх нового царя перед террористами, страх который и здесь оказался началом премудрости.

После казни Александра II на ряду с официальной политической полицией создалась с благословения нового монарха неофициальная тайная полиция в лице Священной Дружины[1]. Состоявшая из причудливого смешения придворной аристократии с общественными отбросами и всяческими проходимцами (обычный состав боевых реакционных организаций), Священная Дружина поставила одной из своих задач борьбу с террором и в частности обеспечение коронации Александра III от неприятных сюрпризов в виде бомбы или фугасной мины. Для достижения этой цели она решила вступить в переговоры с уцелевшими остатками Исполнительного Комитета партии «Народной Воли» через посредство своих постоянных или случайных агентов. Так как Александр III был в курсе начинаний Священной Дружины, то эти переговоры можно до известной степени рассматривать как переговоры правительства с революционным Исполнительным Комитетом.

Первым из этих агентов был таинственный доктор Э. И. Нивинский, который связался с Священной Дружиной в марте 1882 года через ее главу, гр. П. П. Шувалова. Летом того же года этот господин явился в Женеве к М. Драгоманову (который вместе с другим агентом той же дружины, А. И. Мальшинским издавал в Швейцарии «либеральную» газету «Вольное Слово») и представился ему в качестве представителя влиятельной группы земцев, якобы образующих конституционалистическую «Земскую Лигу» и уполномочивших его вести с «Народной Волей» переговоры о прекращении террора взамен известных либеральных уступок правительства. Драгоманов, не имевший к «Народной Воле» никакого отношения, направил Нивинского в Париж к П. Лаврову. Там Нивинский вступил в переговоры с Лавровым и М. Н. Полонской [2] по поводу трех требований, которые партия через мифическую «Земскую Лигу» пред'являет правительству, и в случае выполнения которых она берется гарантировать неприменение ею террористических средств борьбы. Впредь до выяснения положения, Александр III, спрятавшийся в Гатчинском дворце, не отваживался назначить день «священного коронования».

---

[1] О ней см. в книге *В. Богучарского*—«Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х г.г. XIX века» (стр. 268 сл.), в дневнике генерала *В. Н. Смелбского* («Голос Минувшего», 1916 г. № 1—6), в статьях *Д. Заславского*—«Взволнованные лоботрясы» («Былое», 1924, №№ 25—26).

[2] Псевдоним М. Н. Оловенниковой, по мужу Ошаниной, одного из немногих уцелевших к тому времени членов Исполнительного Комитета.

Переговоры эти велись в июле—августе 1882 года [1]. Партия Народной Воли была в тот момент совершенно разгромлена, никаких серьезных террористических актов она все равно выполнять не могла и потому она в переговорах с «Земской Лигой» проявила крайнюю умеренность. В доказательство доброй воли правительства и влиятельности либеральных земцев народовольцы потребовали, во-первых, освобождения Чернышевского и, во-вторых, взноса определенной суммы в пользу партии. Ни к чему конкретному переговоры эти, разумеется, не привели, но Священная Дружина отчасти добилась своей цели, выяснив себе слабость партии и отсутствие у у нее денежных средств [2].

Однако проникнуть внутрь Исполнительного Комитета и выведать какие-либо секреты партии агенту не удалось. Ввиду этого Священная Дружина сделала еще одну попытку вступить в переговоры с Исполнительным Комитетом. Для этого она избрала грузинского либерального публициста Н. Николадзе [3].

Хлопоча в Петербурге о разрешении перенести туда издание своей газеты «Обзор», издававшейся им прежде в Тифлисе, Николадзе натолкнулся на своего старого знакомого по Кавказу К. Бороздина, который в это время был агентом Священной Дружины. Последний предложил ему встретиться с гр. И. И. Воронцовым-Дашковым, бывшим некогда ад'ютантом кавказского наместника Барятинского, а в рассматриваемый момент занимавшим пост министра двора и вместе с тем стоявшим во главе Добровольной Охраны. Воронцов-Дашков хотел использовать Николадзе для переговоров с Исполнительным Комитетом. Однако, боясь скомпрометировать свое имя, Николадзе от этого уклонился.

Но Н. К. Михайловский и С. Н. Кривенко, тогдашние лидеры легального народничества, к которым Николадзе обратился за со-

---

[1] Вел ли эти переговоры с Лавровым действительно доктор Нивинский, и кто он был такой, мы здесь решать не беремся. Д. Заславский в упомянутой статье («Былое, № 26, стр. 266 сл.) доказал, что в это же время с Лавровым по поручению Священной Дружины вел переговоры агент ее Н. Клименко, мелкий киевский помещик. Был ли этот Клименко тем же д-ром Нивинским или это другое лицо, выяснить трудно, но для нашей цели и несущественно. Между прочим характерно, что этот авантюрист в разговорах с Лавровым выдавал себя за старого знакомого Чернышевского.

[2] В № 9 «Былого» за 1907 год, стр. 208—214, напечатаны «Документы и материалы к истории переговоров Исполнительного Комитета с Священной Дружиной». Документы писаны рукою П. Лаврова. Они относятся ко времени переговоров Лаврова с д-ром Нивинским, агентом Священной Дружины (а не с Николадзе, происходивших в другое время). Первое из прелиминарных условий, какое заграничные члены Исполнительного Комитета пред'явили через Лаврова «Земской Лиге» (псевдоним «Священной Дружины»), заключалось в исходатайствовании ею амнистии для Чернышевского или облегчения участи политических каторжан в Сибири.

[3] Подробно о своем участии в этих переговорах Николадзе сам рассказал в своей статье «Освобождение Н. Г. Чернышевского», напечатанной в «Былом» 1906, № 9.

ветом, высказались за эти переговоры в расчете, что, быть может кое-что удастся у начальства выторговать. В таком же смысле высказался и М. Антонович, который, услыхав, что Николадзе боится начинать переговоры с Воронцовым-Дашковым, чтобы не попасть в грязную историю, воскликнул: «Как можно помнить о своей репутации, когда является надежда спасти Чернышевского?». Мысль об освобождении Чернышевского, как о плате за переговоры с террористами, по словам Николадзе, принадлежала лично ему (впрочем, эта идея носилась тогда в воздухе, и еще Л. Полонский выразил ее в своей статье, напечатанной в № 7 газеты «Страна» от 15 января 1881 года). Это условие было им заранее поставлено Священной Дружине через К. Бороздина и, по словам последнего, принято Воронцовым-Дашковым как награда Николадзе за его труды [1]. Но, опасаясь, как бы это обещание не осталось затем неисполненным, Николадзе просил Н. К. Михайловского, бывшего в курсе переговоров, убедить членов Исполнительного Комитета включить освобождение Чернышевского в число тех требований, которые партия «Народной Воли» поставит правительству [2].

---

[1] Записка К. А. Бороздина опубликована в № 10 «Былого» за 1907 г. («Священная Дружина и Народная Воля»).—Здесь со многими неточностями говорится о переговорах Николадзе с Л. Тихомировым.

[2] В цитированной статье «Документы и материалы к истории переговоров Исполнительного Комитета с Священной Дружиной» («Былое» 1907, № 9, стр. 212—214) приводится отрывок из воспоминаний Н. К. Михайловского в № 54 «Революционной России». Узнав от Николадзе, что Священная Дружина (И. И. Воронцов-Дашков и П. П. Шувалов) склонна завязать переговоры с революционерами, Михайловский с'ездил в Харьков, где повидался с В. Н. Фигнер, остававшейся тогда единственным из находившихся на свободе в России членов Исполнительного Комитета. Считаясь с фактическим бессилием партии и опасаясь обмана, они решили «в виде задатка и в удостоверение добрых намерений правительства», потребовать от него исполнения к 19 февраля 1883 года двух вещей: освобождения Чернышевского и расследования насилий, совершенных администрацией на Карийской каторге после побега оттуда восьми политических (Мышкина и др.). «Справедливость требует сказать,—прибавляет Михайловский,—что оба требования были исполнены, но не 19 февраля, а гораздо позже».—В. Н. Фигнер в своей книге «Запечатленный Труд», М. 1921, ч. 1, стр. 278 сл., рассказывает об этом несколько иначе. По ее словам, она сразу увидала в предложении Воронцова-Дашкова полицейскую ловушку и высказалась против переговоров. Но под влиянием убеждений Михайловского, она согласилась с ним на том, что переговоры с Николадзе должны вестить не в России, а за границей, и что в Париж послана будет Салова, чтобы изложить Тихомирову и Ошаниной точку зрения Фигнер. Салова должна была также заявить, что русские деятели партии не будут считать себя связанными исходом переговоров и при благоприятных условиях не откажутся от террористических выступлений. В числе поручений, данных Саловой, было и такое: в случае, если дело дойдет до пред'явлений правительству требований, выполнение которых должно было доказать искренность его предложений (т.-е. в обмен на прекращение террора до коронации—дарование при коронации полной политической амнистии, свободы печати и мирной пропаганды социализма), выставить условием освобождение не Г. Исаева (члена Исп. Ком., освободить которого якобы предлагал Воронцов-Дашков),

Во время второго свидания с Воронцовым-Дашковым Николадзе заявил, что в качестве единственного вознаграждения за свои хлопоты по делу переговоров между правительством и народовольцами, каковы бы ни были их конечные результаты, он требует освобождения Н. Г. Чернышевского. Воронцов-Дашков ответил, что он на это согласен и считает себя вправе обещать Николадзе выполнение этого условия.

Около половины декабря 1882 года Л. Тихомиров, с которым Николадзе предварительно свиделся в Женеве, приехал в Париж и привез от имени с'езда русской социал-революционной партии (т.-е. от имени совещания немногочисленных заграничных членов Исполнительного Комитета) заявление, что если правительство предоставит партии свободу социалистической пропаганды, хотя бы в размере тогдашней Германии (при исключительном законе), даст амнистию и некоторое облегчение общественной деятельности для интеллигенции (в печати, земстве и т. д.), то революционная партия обязуется прекратить террор и упразднить себя как партию противоправительственную; если же правительство, сверх того, пожелает приступить к проведению социальных реформ, улучшающих экономическое положение народа, то партия искренно пойдет за правительством и всеми средствами будет помогать осуществлению этих реформаторских начинаний [1]. Что же касается обязательства не производить никаких покушений до и во время коронации, то оно обусловливалось двумя требованиями: 1) чтобы царь послал доверенное лицо для расследования вопиющих несправедливостей, причиненных политическим каторжанам на Каре, и 2) чтобы был освобожден и возвращен на родину писатель Н. Г. Чернышевский [2]. Но к моменту возвращения Николадзе в Петербург м. в. д. гр. Д. Толстой успел одержать победу над Воронцовым-Дашковым (т.-е. официальная полиция над добровольной), и влияние Священной Дружины на политические дела прекратилось. Однако П. Шувалов заявил Николадзе, что обещание освободить Чернышевского

а Нечаева. Замечательно, что о Чернышевском В. Фигнер не говорит, а между тем в переговорах речь шла именно о нем. Об'ясняется ли это неправильной информацией, которую ей представил Михайловский, или ошибкою самого Михайловского, или ее запамятованием, мы не знаем.

[1] Неужели кроме Тихомирова нашлись члены партии, формулировавшие так свои намерения? Думаем, что эта формулировка принадлежит одному Тихомирову, который через несколько лет и стал на сторону правительства (хотя никаких уступок оно не сделало).

[2] Л. Василевский (Плохоцкий) в статье «Еще к вопросу о переговорах Исполнительного Комитета «Народной Воли» с Добровольной Охраной» («Былое» 1907, № 8, стр. 125), рассказывает по слухам, что в числе обещаний, данных Священной Дружиной революционерам, если коронация пройдет спокойно, было: 1) освободить Чернышевского, 2) повлиять на то, чтобы в предстоявшем процессе 17-ти не было смертных приговоров, 3) выдать «Народной Воле» миллион рублей. Все это, вероятно, сказки, ходившие среди эмигрантов.

остается все же в силе, хотя осуществление его придется отложить до коронации. Тут же он сообщил, что царь послал на Кару для расследования флигель-ад'ютанта барона Нольде (Норда). Из его слов Николадзе сделал следующий вывод: «Давался аванс—расследование Карийских неурядиц [1]; освобождение же Н. Г. Чернышевского приберегалось в награду за хорошее поведение партии во время коронации». Николадзе продолжал встречаться с Шуваловым для переговоров об оформлении дела насчет освобождения Чернышевского. Между прочим, он представил ему биографические сведения о Чернышевском и проект докладной записки, составленной А. Н. Пыпиным. «Последняя была написана А. Н. Пыпиным очень сильно и сжато, но в полемическом тоне против приговора Сената. В ней доказывалось—как дважды два четыре—что Чернышевский пострадал невинно». Через несколько дней гр. Шувалов привез записку обратно, уверяя Николадзе, что представление ее неминуемо погубит дело. Взамен он предложил каллиграфически переписанное на великолепной бумаге всеподданнейшее прошение от имени сыновей Н. Г. Чернышевского, в котором говорилось, что как бы велики ни были преступления их отца, он их искупил двадцатилетними страданиями, безропотно перенесенными с беспримерным смирением, а в заключение просилось о помиловании страдальца и о возвращении его на родину, где семья его могла бы окружить заботами последние дни уже окончательно разбитой его жизни. Эту бумагу Николадзе, скрепя сердце, отвез А. Н. Пыпину, а сыновья Чернышевского согласились ее подписать [2].

Прошло около двух недель, как вдруг гр. Шувалов явился к Николадзе и торжественно вручил ему на бумаге со своим фамильным гербом собственноручную подписку в том, что он, флигель-ад'ютант его императорского величества, граф такой-то, с высочайшего соизволения [3] дал Николадзе обязательство добиться освобождения из Сибири и возвращения на родину государственного преступника Н. Г. Чернышевского. В виду недоумения, выраженного Николадзе, Шувалов об'яснил, почему он настаивает на отобрании от него такой подписки. «Я вижу,—говорил он,—Чернышевского страшно трудно вырвать из их рук. Только отобрание вами у меня этой подписки дает мне и гр. Воронцову-Дашкову возможность настаивать во дворце и перед графом Д. А.Толстым

[1] Норд на Каре убеждал политических каторжан подавать прошения о помиловании; некоторых, к сожалению, ему удалось совратить.

[2] Дальше мы приводим прошение сыновей Чернышевского, поданное 9 мая 1883 года, т. е. через несколько месяцев после разговора Николадзе с Шуваловым. По содержанию оно весьма напоминает текст, приписываемый Николадзе Шувалову, так что возможно, что это и есть прошение, сочиненное Шуваловым.

[3] Это доказывает, что переговоры с Исполнительным Комитетом партии «Народной Воли» велись с ведома Александра III (как мы выше и указывали).

об (sic) исполнении обещания, данного вам. Но вы обязаны говорить, если вас спросят, будто это вы вынудили меня дать вам такую подписку, и будто я долго отказывался выдать ее».

«Приходилось, значит, становиться и шантажистом»,—прибавляет Николадзе, хотя шантажировал-то не он, а шантажировали его, точнее—революционеров.

В конце марта Шувалов доставил Николадзе проект той статьи коронационного манифеста, которая распространяла помилование на случаи, подходящие к положению Чернышевского. Николадзе отвез проект А. Н. Пыпину с просьбою посоветоваться с компетентными людьми, насколько содержание этой статьи гарантирует освобождение Чернышевского. Пыпин скоро вернул этот проект с указанием, что дело не в его выражениях, а в том, как они будут применены к Чернышевскому. Это соображение Николадзе передал Шувалову, который заверил его, что если коронация сойдет благополучно, то Чернышевский непременно будет возвращен на родину.

Коронация сошла «благополучно». Но только в ноябре Николадзе прочитал в газетах, что Чернышевский переведен «на жительство», однако не на родину, т.-е. не в Саратов, как было обещано, а в Астрахань, при чем права состояния ему не были возвращены. «И на том спасибо»,—прибавляет он по правилу российского обывателя, не привыкшего ждать ничего хорошего от самодержавного правительства [1].

Так обстояло дело с закулисной стороной освобождения Чернышевского. Но одновременно с хлопотами перед неофициальной полицией шли хлопоты и перед официальной. В начале 1883 года сын писателя, М. Н. Чернышевский, получил возможность несколько раз беседовать по делу своего отца с руководителем тогдашней политической полиции, полковником Г. П. Судейкиным (известным насадителем провокации, впоследствии убитым с помощью провокатора же Дегаева). В разговоре выяснилось, что Судейкин считал немаловажным препятствием к освобождению Чернышевского прежние попытки организации его побега. На это сын Чернышевского возразил, что эти попытки предпринима-

---

[1] Вл. Дебагорий-Мокриевич в статье—«К вопросу о переговорах Исполнительного Комитета Народной Воли с Добровольной Охраной» («Былое» 1907, № 4, стр. 60) передает следующий разговор свой с М. П. Драгомановым: «Драгоманов рассказал, что спустя некоторое время (после переговоров Николадзе.—*Ю. С.*) ему пришлось встретиться с одним из главарей этого придворного течения, высокопоставленным лицом..., приезжавшим за границу. Из беседы с ним Драгоманов узнал, что освобождение Чернышевского из Сибири было устроено им уж после того, как они потеряли влияние при дворе; что с этим им пришлось обратиться к кому-то из великих князей, который будто ответил, что в факте освобождения Чернышевского он не усматривает ничего политического, а лишь простой гуманный поступок, и дал свое согласие ходатайствовать, после чего и был освобожден Чернышевский».

лись без ведома Н. Г., который сам не согласился бы на побег, в доказательство чего М. Н. сослался на письма его отца из Вилюйска. На Судейкина эти слова произвели «большое впечатление» [1]. Он попросил на несколько дней эти письма, а затем, возвращая их, обещал со своей стороны содействие к освобождению Чернышевского. Повидимому, официальная полиция хотела в глазах общественного мнения оставить за собою честь освобождения опального писателя.

Принципиально вопрос о возвращении Чернышевского в Россию был, повидимому, решен еще до коронации, но открыто об'явить об этом полиция не хотела, чтобы связать руки революционерам и гарантировать коронационные торжества от неприятных сюрпризов. По крайней мере, когда старший сын Чернышевского посетил Судейкина незадолго до коронации, тот сообщил ему, что освобождение его отца вероятно, и даже приложил ему на выбор два пункта—Архангельск и Астрахань, где предполагалось поселить Чернышевского (Саратов категорически исключался). М. Н. Чернышевский выбрал Астрахань.

Однако, хотя 15 мая 1883 года коронация прошла благополучно, коронационный манифест Чернышевского не коснулся. Приходилось снова хлопотать. М. Н. Чернышевский отправился к м. в. д. Д. А. Толстому с прошением на имя царя, но Толстой заявил ему, что прошение не нужно, так как он уже докладывал государю и можно надеяться на перевод Чернышевского в Астрахань. Доклад Толстого царю состоялся 6 июня 1883 года.

Так рассказывается в книге «Чернышевский в Сибири» [2]. По официальным документам дело представляется несколько иначе.

В середине февраля 1883 года в департаменте полиции, заменившем III Отделение, составлена была записка, нечто вроде проекта всеподданейшего доклада. Вот этот характерный документ.

> Отставной титулярный советник Николай Чернышевский, по высочайше утвержденному мнению Государственного Совета, основанному в свою очередь на определении 5-го департамента правительствующего сената, признан был в 1864 году виновным в составлении возмутительного воззвания, в передаче оного для тайного напечатания с целью распространения и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления.
>
> Вследствие сего Государственный совет мнением положил: на основании 283 и 284 ст. кн. 1-й, т. XV Св. Зак. Уголов., лишив Чернышевского всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда.
>
> При утверждении этого мнения, ныне в бозе почивающий государь император высочайше повелеть соизволил: срок нахождения Чернышевского в каторжных работах сократить на половину.

---

[1] Возможно, что хитрый сыщик просто дурачил своего собеседника. Ведь означенные письма Чернышевского в свое время проходили через жандармов и были им известны.

[2] Вып. III, стр. XXXIII—XXXIV; ср. вып. I, стр. 189.

В исполнение сего государственный преступник Чернышевский сослан был первоначально в Нерчинские рудники. Там застал его всемилостивейший манифест 28-го октября 1866 года, по которому срок работ Чернышевского сокращен был еще на 1/4.

Затем по воспоследовании высочайшего повеления от 25 мая 1868 года о даровании милостей политическим преступникам, осужденным до 1-го января 1866 года, Чернышевский, по 1-му п. сего повеления, подлежал освобождению от работ с обращением на поселение [1]...

Но обращение это, в общем порядке, из разряда ссыльно-каторжных в ссыльно-поселенцев в то время признано было неудобным, так как обнаружены были со стороны сочувствовавших Чернышевскому злоумышленников из партии Ишутина (по делу Каракозова) попытки освободить его из Сибири с целью побега за границу.

На этом основании и в силу высочайше утвержденного в 1-й день января 1871 года положения Комитета министров Чернышевский, по освобождении от работ, причислен был на поселение в Вилюйский округ Якутской области, где 11-го января 1872 года поселен в самом Вилюйске.

В этом последнем городе Чернышевский находится и в настоящее время.

Фактические преступления Чернышевского выразились в следующих деяниях: 1) во время происходивших в 1861 году беспорядков в здешнем университете Чернышевский, пользуясь огромным влиянием своим на молодежь, которая вообще увлекалась его сочинениями, появился среди волновавшихся студентов, и когда они окружили квартиру бывшего попечителя учебного округа, генерала Филипсона, подстрекал их к сопротивлению [2]; 2) стремясь вообще к перевороту, Чернышевский в том же 1861 году составил воззвание к дворовым людям (Великорусс) возмутительного содержания [3] и намеревался напечатать таковое в тайной типографии в Москве, как это доказывалось собственноручным письмом его к некоему Плещееву, пересланным через посредство отставного поручика Всеволода Костомарова, который и выдал его затем правительству, и наконец 3) Чернышевский образом жизни, связями знакомства, сочинениями своими, преимущественно экономическо-социалистического содержания, как равно и всем вообще поведением своим явно доказывал, что он принимал меры к ниспровержению существующего в России порядка управления.

В свое время преступные деяния эти бесспорно могли представляться опасными по своему характеру. Совершаясь как раз в период великой реформаторской деятельности начала прошлого царствования, преступления эти с их возможными последствиями в состоянии были серьезно и надолго отвлечь внимание правительства от главной его задачи, если бы не были своевременно парализованы и наказаны. Правительство обнаружило их, признало опасными, и потому Чернышевский понес заслуженное им возмездие.

Но с тех пор прошло уже 20 лет. Осужденный отбыл свое наказание и отбыл, не воспользовавшись, не по своей вине, вторичным облегчением, которое ниспослало ему монаршее милосердие в 1868 году. Чернышевский выдержал продолжительное испытание с истинно христианским смирением и, можно сказать, с достоинством, оставаясь все время на

---

[1] Отмечаем это признание полиции, что Чернышевский должен был выйти на поселение уже в 1868 г.

[2] Это—ложь.

[3] Не к «дворовым людям», а к «барским крестьянам». Ничего общего эта прокламация Чернышевского с «Великоруссом» не имела.

высоте своего хотя и заслуженного, но тем не менее несчастного положения. Он ни разу сам непосредственно не подал ни малейшего повода к стеснению его участи. Если последняя и была по временам в известной степени ограничиваема, то отнюдь не по причинам, исходящим от самого Чернышевского, а напротив по поводу посторонних, непрошенных им попыток к его освобождению,—попыток, скорее вредивших ему, чем приносивших пользу. Сам лично Чернышевский даже возмущался этими попытками. Так известно, что в письмах к жене он отзывался с искренним негодованием о подобных услугах, оказываемых ему анархистами, и прямо высказывал, что «если ему суждено когда-нибудь оставить Вилюйск, то он уедет из него не иначе, как тем же способом, каким в него приехал». Вообще, как удостоверяют местные генерал-губернаторы, Чернышевский безропотно и с покорностью нес и несет до сих пор кару, возложенную на него законом.

Достигнув ныне уже преклонных лет (55) и имея двух взрослых сыновей и больную жену, Чернышевский, надо надеяться, не в состоянии уже превратиться в ожесточенного преступника, каких, к прискорбию, привыкло видеть наше отечество в последние годы. Самое преступление его, в особенности по сравнению с ужасающими злодеяниями современных политических преступников, не представляется уже столь опасным, каким по справедливости могло почитаться 20 лет назад. Сверх того, семейное положение Чернышевского может само по себе уже служить лучшим ручательством его будущей благонадежности. Известно, что старший сын его, Александр, по окончании курса в здешнем университете, пожелал в 1877 году отправиться волонтером в действующую армию на Дунае, чтобы кровью искупить смягчение участи отца, но, поступив рядовым в Невский пехотный полк (13-го корпуса 1-й дивизии), заболел тифом и остался в госпитале в Фратешти. Подобный благородный порыв, завися, конечно, главным образом от добрых качеств самого Александра Чернышевского, не может однако ж не свидетельствовать и о благотворном влиянии на юношу со стороны его родителей [1].

При таких условиях монаршая милость Чернышевскому не будет, надо ожидать, омрачена неблагодарностью. Возвратить к жизни и к тихому семейному счастью когда-то заблудившегося отца семейства есть подвиг, который не может не вызвать чувств самой глубокой признательности и благоговения перед тем, кто его совершит. Неблагодарность в этом случае была бы противна природе человеческой. С другой стороны, высокая милость монарха отразится благотворно и на остальной части общества: помимо человеколюбивой меры по отношению к Чернышевскому, как к отцу семейства, освобождение его может повлечь за собой новые труды его в области литературы и науки, что при известном развитии его и знаниях и при несомненно ожидаемом благонамеренном направлении его не может остаться без полезных последствий в будущем.

Предоставление Чернышевскому права поселиться в доме, принадлежащем ему в г. Саратове, было бы, кажется, мерой вполне целесообразной.

На этом замечательном документе имеется ряд пометок, среди которых обращает на себя внимание пометка В. К. Плеве, бывшего тогда директором департамента полиции. «Г. министр приказал

[1] Сам Н. Г. Чернышевский, как видно из его вилюйских писем, был против этого поступка своего сына.

иметь ввиду при обсуждении вопроса о смягчении участи государственных преступников, в том случае если вопрос этот будет поднят при предстоящем торжестве священного коронования» [1]. Итак, сам департамент полиции находил возможным перевести Чернышевского в Саратов, на что *царь не согласился.* С другой стороны ясно, что Чернышевского решено было пока придержать в Вилюйске в качестве залога на предмет обеспечения коронации от террористических сюрпризов.

В цитированном месте книги «Чернышевский в Сибири» говорится, что М. Н. Чернышевский подал прошение о смягчении участи отца после коронации, т.-е. после 15 мая 1883 года, и что оно было доложено царю 6 июня. И то, и другое неверно. Прошение это было подано не одним М. Н., а обоими братьями, Михаилом и Александром Чернышевскими, и не после коронации, а до нее, именно 9 мая [2]. Доложено оно было Д. Толстым царю не 6 июня, а 27 мая во время коронационных торжеств в Москве, и тогда же Александр III в принципе согласился на перевод Чернышевского в Астрахань.

Вот прошение сыновей Чернышевского.

Ваше императорское величество, державнейший монарх.

Вот уже более двадцати лет, как отец наш, Николай Гаврилович Чернышевский, несет тяжелую постигшую его кару! Два года одиночного заключения в крепости, годы работ в рудниках и долгие, долгие годы в самой суровой, пустынной местности, вдали от семьи, вдали от всего, что хотя сколько-нибудь могло бы успокоить его болезненную старость! И с каждым днем силы его падают все более и более, и кара его не облегчается, но становится тяжеле и тяжеле! О государь, не нам, детям, судить своего отца, но есть ли вина без искупления?..

Припадая к стопам вашим, державнейший монарх, мы молим вас о смягчении тяжелой участи нашего отца, о возвращении его на родину.

Одно милосердное, державное слово из уст ваших, о государь! «Просите и дастся вам»,—сказано в Писании, и как с молитвою мы у ног ваших, державнейший монарх!..

Вашего императорского величества
верноподданные Александр Чернышевский.
Михаил Чернышевский.

9-го мая 1883 года.

Место жительства: С.-Петербург, Вас. Остр., Ср. Просп., д. 19, кв.21.

На этом прошении Д. Толстым записана резолюция: «Государь император, из'явив предварительное соизволение на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань, с тем чтобы по пути следования его не делалось ему каких либо оваций, пове-

---

[1] Дело департамента полиции № 3892, «О государственном преступнике Николае Гавриловиче Чернышевском» (АОР., переменный фонд № 3057), л.л. 2—6.—Дальше мы будем цитировать это дело просто как дело № 3892.

[2] По поводу этого прошения см. выше рассказ Н. Николадзе.

леть изволил сообщить о том министру юстиции для окончательного доклада его величеству. 27 мая. В Кремле»[1].

О царской резолюции Д. Толстой отношением от 7 июня сообщил министру юстиции, Д. Н. Набокову, который должен был сделать царю окончательный доклад. Вот это отношение.

М-р Внутр. Дел.

№ 1916 Его Высокопр-ву Д. Н. Набокову.

7 июня 83 г. М. Г.,

Дмитрий Николаевич.

Согласно высочайше утвержденному 1-го января 1871 года положению Комитета министров, государственный преступник Николай Гаврилов Чернышевский по освобождении от каторжных работ причислен был на поселение в Вилюйский округ Якутской области и с 1872 года поселен в г. Вилюйске.

В минувшем мае сыновья Чернышевского обратились с всеподданнейшим прошением о помиловании отца.

По всеподданнейшему моему докладу упомянутого ходатайства Чернышевских в 27 день мая последовало предварительное государя императора соизволение на перемещение Николая Чернышевского под надзор полиции в г. Астрахань, при чем его императорскому величеству благоугодно было повелеть сообщить о сем вашему высокопр-ву для окончательного доклада его величеству.

О таковом высочайшем повелении имею честь уведомить Ваше высокопр-во для дальнейших распоряжений, покорнейше прося о последующем почтить меня уведомлением.

Примите, М. Г., уверения в совершенном почтении

Министр внутренних дел: граф Толстой.

Доклад Набокова царю состоялся 6 июля, при чем Александр III, уже до того отклонивший перевод Чернышевского в Саратов, снова проявил чисто-романовскую злобу и мстительность, приказав не восстанавливать Чернышевского в правах, а признать его, взамен лишения всех прав состояния, по ст. 43 Уложения о наказаниях, лишенным всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу.

Вот что гласит сообщение Набокова Д. Толстому.

Министерство Юстиции.

Департамент.

Второе Уголовное Отделение.

Июля 10 дня 1883 г.

№ 1778.

С.-Петербург. Секретно.

Господину Министру Внутренних Дел.

Впоследствие повергнутого на всемилостивейшее его императорского величества благоусмотрение ходатайства сыновей государственного преступника Николая Чернышевского о помиловании их отца, государь император, по всеподданнейшему докладу моему (надписано карандашем: М-ра юстиции) в 6 день июля 1883 года, высочайше по-

---

[1] Дело Д. П. № 3892, л. 1.

велеть соизволил: разрешив Николаю Чернышевскому перемещение на жительство под надзор полиции в город Астрахань, признать его, взамен лишения всех прав состояния, лишенным, по ст. 43 Улож. о Наказ., всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу.

О таковом высочайшем повелении, мною вместе с сим предложенном к исполнению Правительствующему сенату (по 1-му департаменту), имею честь уведомить ваше сиятельство вследствие письма от 6 минувшего июня за № 1916 и для зависящих с вашей стороны распоряжений относительно перемещения Чернышевского в город Астрахань и учреждения над ним надзора полиции.

Министр юстиции, статс-секретарь Д. Набоков.
Вице-директор В. Перфильев [1].

Этим сибирская ссылка Чернышевского была закончена.

За семь лет подцензурной литературной работы он заплатил 21 годом заключения в крепости, на каторге и в Вилюйской тюрьме—по 3 года за год! Даже царское «правосудие» могло считать себя удовлетворенным такой пропорцией.

2. Возвращение в Россию

Теперь полицейская машина заработала. 14 июля 1883 года тов. мин. вн. д. ген. Оржевский отправил шифрованную телеграмму генерал-губернатору Восточной Сибири.

Государь император шестого сего июля всемилостивейше повелеть соизволил: разрешив государственному преступнику Николаю Чернышевскому перемещение на жительство под надзор полиции в Астрахань, признать его, взамен лишения всех прав состояния, лишенным, по ст. 43 Уложения о Наказаниях, всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав [и] преимуществ, но без восстановления прав по имуществу. Сообщая таковую высочайшую волю, прошу ваше превосходительство сделать ныне же распоряжение о немедленном доставлении Чернышевского в сопровождении двух жандармов из Вилюйска в Иркутск и засим в Астрахань, приняв, согласно последовавшему по сему предмету высочайшему указанию, возможные меры к недопущению огласки проезда Чернышевского, в виду устранения возможности нежелательных выражений сочувствия и каких-либо беспорядков.

Сообщив высочайшее повеление Астраханскому губернатору, прошу ваше превосходительство сделать надлежащее по предмету препровождения Чернышевского сношение с начальствами по пути его следования до Астрахани.

За министра
Товарищ министра, генерал-лейтенант Оржевский.

С другой стороны, департамент полиции, очень хорошо зная, что жертва царизма пользуется широкими симпатиями публики, и что, несмотря на все усилия, память о ней не удалось изгладить из общественного сознания, послал следующее предписание Астраханскому губернатору.

[1] Дело № 3892, л. л. 7 и 8.

М. В. Д.
Департамент полиции
По 5 Делопроизводст.
18 июля 1883 г.
№ 2784.

Секретно.

Господину Астраханскому губернатору.

Вследствие повергнутого на всемилостивейшее его императорского величества благоусмотрение ходатайства сыновей государственного преступника Николая Чернышевского о помиловании их отца, государь император, по всеподданнейшему докладу министра юстиции в 6 день июля 1883 г., высочайше повелеть соизволил: разрешив Николаю Чернышевскому перемещение на жительство под надзор полиции в г. Астрахань, признать его, взамен лишения всех прав состояния, лишенным по ст. 43 Ул. о Нак., всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу.

О таковом высочайшем повелении Департамент полиции имеет честь уведомить ваше превосходительство, прося принять зависящие от вас меры к недопущению огласки прибытия Чернышевского в г. Астрахань и вообще предупреждению возможности нежелательных выражений сочувствия к нему и каких-либо беспорядков.

И. д. вице-директора Плющевский-Плющик.
За делопроизводителя (подпись неразборчива).
Верно: (подпись неразборчива).

9 июля из Иркутска генерал-губернатор Восточной Сибири Анучин отправил на имя генерала Оржевского следующую шифрованную телеграмму:

За государственным преступником Чернышевским немедленно посылаю [в] Вилюйск двух жандармов; полагаю отправить [его] до Оренбурга, не предупреждая о проезде попутные начальства [во] избежание огласки, снабдив только жандармов открытым листом; если же предупредить необходимо, то времени еще достаточно ввиду громадности [и] утомительности пути до Астрахани. Прошу возложить дальнейшее от Оренбурга препровождение Чернышевского на попутные начальства и новый конвой [с] освобождением иркутских жандармов.

Генерал Анучин [1].

20. VII 1883 г.

По получении этого сообщения, департамент полиции послал Оренбургскому губернатору Астафьеву следующее предписание.

М. В. Д.
Департамент полиции.
По 5 Делопроизводст.
25 июля 1883 г.
№ 2834.

Совершенно секретно.

Господину Оренбургскому губернатору.

В непродолжительном времени из Иркутска проследует чрез Оренбург государственный преступник Николай Чернышевский, получивший, по всеподданнейшему докладу г. министра юстиции, 6 сего июля всемилостивейшее соизволение на перемещение в Астрахань для жительства под надзором полиции, с признанием его, взамен лишения всех прав состояния, лишенным, по ст. 43 Улож. о Наказ., всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу.

---

[1] Цит. Дело, л. 15.

Сообщая об изложенном, департамент полиции имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать распоряжением, по прибытии Чернышевского в Оренбург, отправить его далее по назначению в сопровождении двух членов местной жандармской команды по железной дороге и почтовому тракту, минуя водные пути и приняв всевозможные меры к недопущению огласки проезда Чернышевского, во избежание возможности нежелательных выражений сочувствия и каких-либо беспорядков, и о последующем уведомить департамент[1].

Придавая полицейской конспирации важное значение, Плеве, сверх того, обратился к оренбургскому губернатору с нижеприводимым личным письмом.

Директор
Департамента п-ции.

Совершенно секретно.
Его Пр-ву М. И. Астафьеву.
Милостивый государь
Михаил Иванович!

По всеподданнейшему докладу г. министром внутренних дел ходатайства сыновей государственного преступника Николая Чернышевского о возвращении на родину их отца, государь император, из'явив предварительное соизволение на перемещение Чернышевского в Астрахань, с тем, чтобы по пути его следования не делалось ему каких-либо оваций, высочайше повелеть соизволил сообщить г. министру юстиции для окончательного по сему предмету доклада. Засим, по всеподданнейшему докладу этого же ходатайства г. министром юстиции, государь император в 6 день июля месяца высочайше повелеть соизволил: разрешив Николаю Чернышевскому перемещение на жительство под надзор полиции в г. Астрахань, признать его, взамен лишения всех прав состояния, лишенным, по ст. 43 Улож. о Нак., всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу.

О таковой высочайшей воле было сообщено для зависящих распоряжений относительно отправления Чернышевского по назначению генерал-губернатору Восточной Сибири.

Ныне генерал-ад'ютант Анучин уведомляет, что им сделано распоряжение о немедленном доставлении Чернышевского из г. Вилюйска, Иркутской губернии, в г. Иркутск, при чем дальше предполагается отправить его под конвоем двух жандармов с открытым листом до Оренбурга, не предупреждая, во избежание огласки, подлежащих властей.

В виду изложенного, а также и того обстоятельства, что конвойные жандармы командированы из Иркутска только до Оренбурга, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство по прибытии Чернышевского в Оренбург, по соглашению с нач. губ. жанд. управления командировать двух местных жандармов на смену сопровождавшим Чернышевского из Иркутска, и под конвоем вновь назначенных направить Чернышевского по назначению, минуя водные пути и приняв во исполнение высочайшей воли все меры к недопущению огласки проезда Чернышевского и каких-либо при этом проезде беспорядков.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Подпись: директор Плеве.
Верно: (подпись неразборчива)[2].

№ 3412. 12 августа 1883 г.

---

[1] Цит. Дело, л. 16.
[2] Цит. Дело., л.л. 17—18.

Наконец, 23 августа Плеве послал письмо Астраханскому губернатору Азанчевскому, в котором указывал на необходимость принять особые меры по надзору за Чернышевским. Вот это письмо.

Директор Департамента п-ции. № 3421, 23 августа 1883 г.

Конфиденциально.

Его Пр-ву Матвею Павловичу Азанчевскому

Милостивый Государь, Матвей Павлович!

Отношением вверенного мне департамента от 18 июля за № 2784 Ваше превосходительство поставлены в известность о всемилостивейшем государя императора соизволении на перемещение госуд. преступника Николая Чернышевского из Иркутской губ. для жительства под надзором полиции в г. Астрахань.

Ныне Чернышевский уже отправлен из г. Вилюйска в сопровождении двух жандармов в Оренбург, откуда под таким же конвоем будет направлен в Астрахань.

По прибытии по назначению, Чернышевский подлежит подчинению обыкновенному надзору полиции без применения к нему правил высочайше утв. 12 марта [18] 82 г. Положения о полицейском надзоре, учрежденном по распоряжению властей административных. Но в виду особенной важности самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его освобождению, а также возможности появления в Астрахани по приезде Чернышевского лиц политически неблагонамеренных, для которых личность его может послужить средством к осуществлению их преступных целей, я имею честь покорнейше просить ваше пр-ство, кроме имеющего быть общего надзора за Чернышевским, войти в соглашение с местным начальником жанд. управления о необходимых средствах и способах к учреждению самого бдительного негласного наблюдения за всеми сношениями и вообще образом жизни Чернышевского в предупреждение возможных беспорядков. Об изложенном мною вместе с сим сообщено майору Головину[1].

Примите, М. Г., уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Подпись: Директор Плеве.
Верно (подпись неразборчива).

Таким образом жандармы приготовились встретить опасного врага во всеоружии. Тем временем их жертва ничего о перемене своей участи не знала. В конце августа в Вилюйск явились иркутские жандармы и, не об'являя ему о состоявшемся относительно него решении (о котором они, быть может, и сами впрочем не знали) предложили ему ехать в Иркутск. Чернышевский обрадовался и этому и предложил немедленно ехать, но жандармы просили дать им отдохнуть. Выехали на следующий день. Сначала ехали на лошадях (и один перегон пришлось даже сделать на собаках), а затем сели в крытую лодку (шитик), на которой и доехали до Якутска.

---

[1] Переписка по этому поводу с майором Головиным по III Делопроизводству. Цит. Дело, л. 19.

Здесь путников принял губернатор Черняев, тот самый, с которым Чернышевский прежде воевал. Но теперь этот царский холоп проявил такую «предупредительность» и «заботливость», что Чернышевский простил ему прежние низости и на прощание даже с ним расцеловался. Однако и Черняев ничего не сказал ему о сенатском указе [1].

В Иркутск Чернышевский прибыл 28 сентября, в три часа ночи, как передает со слов начальника местного жандармского управления Келера Л. Пантелеев [2].

Утром Келер зашел к нему. Чернышевский сидел, облокотясь о стол, с опущенной головой, одетый по-дорожному, с явными признаками усталости. Келер поздоровался с ним, назвав его по имени и отчеству. Чернышевский, подняв голову, слегка кивнул и принял прежнее положение. «Поздравляю вас, Николай Гаврилович, с монаршей милостью»,—сказал жандарм. Слова эти произвели на измученного человека, ожидавшего, вероятно, от жандармов новых пакостей, магическое действие. Он быстро встал, подошел к Келеру и протянув обе руки, произнес: «Полковник, не ослышался ли я? Вы, кажется, поздравили меня с монаршей милостью? Ради бога скажите, какая это милость». Когда Чернышевский услышал в ответ, что ему назначен для постоянного жительства один из городов Европейской России (насчет Астрахани жандарм, понимавший цену этой «милости», предпочел на первое время умолчать), радости Н. Г. не было границ, и он заплакал. Теперь, говорил он, он может увидеть свою жену и детей.

Затем они пошли наверх в приготовленную для Чернышевского комнату, но так как он отказался от отдыха, то занялись чаепитием. За чаем Келер спросил Н. Г., не показался ли ему путь из Вилюйска тяжелым и трудным, на что Н. Г. ответил, что,

---

[1] «Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. XXXVI.—В. Бернштам в своей статье «В гиблых местах» («Мир Божий», 1906, № 5, стр. 243—244) приводит рассказ жены охранявшего тогда Чернышевского жандарма Щепина. По ее словам, муж ее допустил прибывших из Иркутска жандармов в тюрьму только по паролю. «Когда приехали жандармы, они прошли пешком к тюрьме вместе с исправником и его помощником. Увидав идущих, муж немедля запер тюрьму и поставил караул. Караул не допустил жандармов и исправника к тюрьме. Когда сказали пароль, то допустил... Вошли в комнату мужа, подали бумагу от иркутского жандармского полковника об освобождении (?). Кроме нее было запечатанное письмо на имя Чернышевского. Муж думал, что лично от государя, сам Чернышевский так (!) и говорил, что высочайшее повеление. Как только ему подали письмо, Чернышевский начал плакать. То захохочет, то снова заплачет. И начал он просить, чтобы его сейчас же везли. Муж стал уговаривать его уложиться, приготовиться к дороге и дать жандармам отдохнуть. Он согласился. Чернышевский пошел со всеми попрощаться... Его повезли на санях по земле... В Якутске Чернышевскому был приготовлен губернаторский шитик, закрытая такая лодка... Губернатор приготовил Чернышевскому обед, но он отказался принять». В этом рассказе много неточностей, но он, должно быть, верно передает тогдашнее настроение Чернышевского.

[2] Л. Пантелеев—«Из воспоминаний прошлого», ч. II, стр. 205 сл.

напротив, он ехал очень хорошо и всем доволен. После сопровождавшие его жандармы говорили Келеру, что Чернышевский во время пути по Лене несколько раз принимался плясать и петь. Вероятно от осеннего холода, да еще на воде, Н. Г. старался согреться разными ритмическими упражнениями, что и подало повод жандармам думать, что он принимался «плясать» (ну, а петь?).

Здесь Чернышевский узнал, что он назначен в Астрахань. Чернышевский просил снабдить его проходным тарантасом, чтобы не перекладываться на каждой станции, и выдать ему 25 рублей на водку ямщикам, чтобы скорее везли; ему отпущено было 100 рублей [1]. Когда Келер, вернувшись от генерал-губернатора, вошел к Чернышевскому в комнату, он увидел следующую картину: Н. Г. лежал на кровати на голых досках, положив под голову мешок с дорожными вещами; все же постельные принадлежности были сброшены на пол. Чернышевский не спал; заметив, что Келер собирается позвать прислугу, чтобы привести комнату в порядок, он просил никого не беспокоить и сам быстро все как следует уложил на кровать (повидимому, и здесь он не хотел одолжаться у врагов и пользоваться предоставленными ими удобствами).

Чернышевский обедал со всей семьей Келера. Хитрый жандарм сумел представить назойливый надзор, которым он окружил Н. Г., как знак уважения к знаменитому писателю. Чернышевский, очутившийся после долгих лет в культурной обстановке и обрадованный возвращением в Россию, видимо пришел в нервное возбуждение и разговорился. [2]. Он не умолкал даже во время обеда, а после того рассказывал детям Келера сказки из «Тысячи и одной ночи» и делал им из бумаги игрушки. Но время шло к полуночи; запряженный тарантас стоял во дворе, и Келер, видимо получивший приказ выпроводить Чернышевского в тот же день, предложил Н. Г. отправляться в путь.

Чернышевский ехал очень быстро. Через пять дней он был уже в Красноярске, т.-е. проехал 1.000 верст.

---

[1] Одним из первых шагов по прибытии Чернышевского в Астрахань была подача «докладной записки по поводу путевых издержек, понесенных казной при перемещении Чернышевского из Сибири в Астрахань», в которой он выражал желание возместить как выданные ему наличными сто рублей, так и стоимость тарантаса. Одолжаться у врагов Чернышевский не хотел. Правда, правительство, насильно забросившее его в Сибирь, обязано было вернуть его на свой счет. Но ему, по его мнению, оказана была любезность, а пользоваться ею от агентов власти он считал ниже своего достоинства.

[2] В разговоре с Келером Н. Г. обнаружил якобы явные симпатии к «Голосу» и «Вестнику Европы», а из новейших беллетристов с большой похвалой отзывался о Максиме Белинском (И. Ясинском). Не забудем, однако, что весь этот рассказ передается со слов жандарма, который ни об'ективно, ни суб'ективно не может быть признан надежным свидетелем (хотя о симпатиях к Ясинскому говорят и другие источники).

Жандармы бдительно следили за его передвижением. 28 сентября Келер отправил в Департамент полиции следующую шифрованную телеграмму:

> Сегодня прибыл Иркутск Чернышевский и сегодня же в сопровождении двух жандармов отправился по назначению. Просит разрешить ему свидание с семейством в Саратове, в жандармском управлении.
>
> Подполковник Келер.

А через два дня получена была аналогичная шифрованная телеграмма из Иркутска от генерал-губернатора, которая гласила:

> Государственный преступник Чернышевский, совершенно здоровым доставленный [в] Иркутск, отправлен вчера в Астрахань через Оренбург, Самару, Сызрань, Саратов на почтовых [с] двумя жандармами. Попутные начальства о проезде его не предупреждены. Если признаете необходимым предупредить [1] и сменить в пути Иркутский конвой, прошу о сделанных распоряжениях мне телеграфировать; полагаю, [что]здешние жандармы благополучно доставят [его] до места.

Взволнованный Плеве 29 сентября шифром телеграфировал Оренбургскому губернатору:

> Чернышевский выехал из Иркутска. Покорнейше прошу ваше превосходительство сообщить мне подробно маршрут, по коему вы предполагаете по приезде отправить его далее из Оренбурга.

На что Оренбургский губернатор также шифром спешит ответить 1 октября:

> Из Оренбурга, минуя водные пути, предполагается отправить Чернышевского по железным дорогам до Царицына через станции: Самару, Сызрань, Пензу, Моршанск, Ряжск, Козлов, Грязи; из Царицына до Астрахани по почтовому тракту.

Но Плеве продолжает волноваться. 4 октября он обращается к Оренбургскому губернатору с следующим запросом:

> Железно-дорожный путь чрез Пензу, Козлов, Грязи представляется неудобным. Нельзя ли отправить из Сызрани в Царицын прямо на почтовых чрез Саратов?

Уступая настояниям встревоженного полицианта, боявшегося водных путей, Астафьев (все шифром) отвечает ему 6 октября:

> По неимению препятствий, Чернышевский из Сызрани через Саратов и Царицын до Астрахани будет отправлен по почтовым трактам [2].

Того же 4 октября сам гр. Толстой отправляет Томскому и Енисейскому губернаторам следующие телеграммы одинакового содержания:

> По направлению к Оренбургу следует государственный преступник Чернышевский в сопровождении двух жандармов, получивших в Ир-

---

[1] Это необходимо сделать безотлагательно. Мне кажется, что лучше было бы, если бы иркутские жандармы довезли его до Астрахани 1 октября. (Цит. Дело, л.л. 20 и 22).

[2] Цит. Дело, л.л. 21, 23, 24.

кутске инструкцию доставить Чернышевского к месту назначения возможно секретно. Сообщая о предстоящем проезде названного лица вашему превосходительству для личного только сведения, рассчитываю, что в том случае, если известие об изложенном, проникнув в общество, даст повод к каким-либо приготовлениям к нарушению общественного порядка, вы сумеете таковые предупредить.

Министр внутренних дел граф Толстой[1].

В это мрачное время реакции подлым жандармам нечего было делать, и они могли позволить себе роскошь следить за каждым шагом передвигавшегося под конвоем якобы «освобожденного» Чернышевского. Чтобы дать представление о том, с какой придирчивостью жандармы следили за своими пленником, достаточно указать на то, что, напр., 7 октября Плеве приказал сразу послать четыре телеграммы: 1) оренбургскому губернатору, 2) сызранскому жандарму, 3) саратовскому жандарму и 4) астраханскому жандарму. Вот эти документы, все проникнутые страхом перед возможным побегом Чернышевского, а также перед возможностью сочувственных ему манифестаций.

Губернатору в Оренбург была послана следующая телеграмма:

От Оренбурга до Сызрани по железной дороге покорнейше прошу ваше превосходительство отправить Чернышевского в особом купе второго класса. Кроме того, в предупреждение каких-либо случайностей и возможности сношений с посторонними лицами, полагал бы необходимым, кроме конвоиров, командировать для сопровождения до Сызрани железнодорожного жандарма с Оренбургской станции. По этому поводу телеграфирую капитануНоскову явиться к вашему превосходительству за указаниями. По приезде в Сызрань жандармы должны явиться за приказаниями к местному жандармскому капитану Эшенбаху, которого предупреждаю телеграммой.

Директор Плеве[2].

9 октября 1883 г.

Жандармскому капитану Эшенбаху в Сызрань Плеве в тот же день телеграфировал (опять-таки шифром):

В непродолжительном времени из Оренбурга в Сызрань будет доставлен переводимый в Астрахань государственный преступник Чернышевский в сопровождении жандармов, которые явятся к вам. Распорядитесь дальнейшей отправкой его с тем же конвоем в Саратов по почтовому тракту на лошадях с таким расчетом, чтобы они прибыли в Саратов непременно между 5 и 9 часами вечера и явились в губернское жандармское управление. Проезд Чернышевского должен быть сохранен в тайне, что возлагается на вашу ответственность. О выезде телеграфируйте шифром полковнику Гусеву[3].

---

[1] Цит. Дело, л.л. 25—26.
[2] Цит. Дело, л. 28—Приказ Носкову находится на листе 29.
[3] Цит. Дело, л. 30.

На следующий день Плеве писал начальнику Саратовского губернского жандармского управления, полк. Гусеву:

В непродолжительном времени в Саратов будет доставлен на почтовых из Сызрани государственный преступник Чернышевский, переводимый в Астрахань. Признав возможным удовлетворить ходатайство его о разрешении ему в Саратове свидания с семейством, уведомляю о сем ваше высокоблагородие, присовокупляя, что Чернышевский из Сызрани будет отправлен с таким расчетом, чтобы прибыть Саратов в жандармское управление вечером; о выезде его вы получите телеграмму от капитана Эшенбаха. По доставлении его к вам распорядитесь пригласить в управление для свидания ближайших его родственников, проживающих в Саратове: дядю и теток Пыпиных, а также жену и детей Чернышевского, если они там. После свидания рано утром отправьте [его] далее с тем же конвоем на Царицын. Прошу действовать по возможности негласно так, чтобы сведения о проезде Чернышевского могли проникнуть в общество лишь по его от'езде, во избежание каких-либо (зачеркнуто: демонстраций и) беспорядков. Об изложенном сообщите Саратовскому губернатору [1].

Даже пресловутый П. Н. Дурново принял участие в этой переписке. 11 октября он телеграфировал в Иркутск генерал-губернатору:

О проезде Чернышевского конфиденциально предупреждены Енисейский и Томский губернаторы. Конвой в Оренбурге предполагается сменить.

За министра, товарищ министра Дурново [2].

Наконец, Чернышевский, по поводу путешествия которого наконец, поднята была на ноги чуть ли не вся администрация, прибыл 19 октября в Оренбург и в тот же день отправлен дальше по дороге в Астрахань. Об этом Оренбургский губернатор поспешил сообщить в Департамент полиции следующей телеграммой:

Сегодня вечером Чернышевский отправляется Астрахань. Убедительно просит дозволить ему повидаться с отцом [3] в Саратове, в течение нескольких часов. Прошу ответ телеграфировать Саратовскому губернатору.

Губернатор Астафьев.

Удивился ли Плеве сообщению о том, что Чернышевский просит свидания с покойным отцом, но на всякий случай он послал 20 апреля начальнику Саратовского губернского жандармского управления следующую телеграмму:

Разрешение относительно свидания Чернышевского, сообщенное телеграммой 10-го октября, относится вообще до ближайших его родственников, которые будут в Саратове во время проезда.

О последнем телеграфируйте.

---

[1] Цит. Дело, л. 31.
[2] Цит. Дело, л. 32.
[3] Так сказано (л. 33)! Сомнительно, чтобы Чернышевский просил свидания с отцом, скончавшимся за 22 года до того.

20 октября Чернышевский проехал через Сызрань, о чем свидетельствует нижеследующее донесение местного жандарма в Департамент полиции.

Имею честь доложить вашему превосходительству, что 20-го текущего октября месяца с поездом № 4 в 7½ часов вечера препровожден в г. Сызрань под конвоем двух жандармских унтер-офицеров из г. Оренбурга государственный преступник 84 75 83 97. 42 91 89 79 43 94 36 36 (Чернышевский, надписано карандашем), который в 9½ часов вечера того же числа был мною отправлен с тем же конвоем в г. Саратов, с таким расчетом времени, что он должен прибыть в г. Саратов 22-го октября после 5-ти часов вечера. При моем с ним свидании никаких претензий об'явлено мне не было. О его выезде из г. Сызрани мною дано телеграммою знать полковнику Гусеву.

Капитан Эшенбах [1].

Через три дня Чернышевский был уже в Саратове, где имел свидание с родными, и немедленно отправлен дальше, о чем свидетельствует следующая телеграмма полк. Гусева в Департамент полиции:

Чернышевский прибыл Саратов в шесть часов вечера Жандармское Управление, где виделся с женой и Пыпиной, и ночью выехал далее.

23—X—83. Полковник Гусев [2].

А еще через 4 дня Чернышевский прибыл на место назначения, как показывает следующий документ:

Согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 15 февраля 1882 года за № 1190, имею честь препроводить при сем в департамент полиции ведомость о прибывшем 27 сего октября в г. Астрахань под надзор полиции государственном преступнике Николае Чернышевском.

И. д. губернатора, вице-губернатор (подпись неразборчива).
И. д. правителя канцелярии (подпись неразборчива).

(Ведомость прибытия см. на стр. 166.)

В жизни многострадального Чернышевского начиналась новая и последняя полоса, в некоторых отношениях не менее тяжелая и скорбная, чем предыдущие.

3. Опять на родине.

Мы не касаемся здесь вопроса о жизни Чернышевского в Астрахани, равно как о хлопотах его старого приятеля А. В. Захарьина, пытавшегося добиться для него от министерства внутренних дел права печататься под своим собственным именем. Мы хотим только рассказать о новой «милости» царизма по отношению к Чернышевскому, которая позволила этому замученному человеку перебраться в родной город Саратов, где ему суждено было скоро кончить свои скорбные дни.

---

[1] Цит. Дело, л. 36.
[2] Цит. Дело, л. 35.

Ведомость о прибывшем

Лит. А.

К стр. 165.

№№	Фамилия, имя, отчество, звание, место родины и вероисповедание	Лета	По какому распоряжению, за что именно, откуда и куда выслан	С какого времени, какому надзору или ограничениям подвергнут и на какой срок	Где водворен на жительство, чем занимается, получает ли от казны пособие и в каком размере. Если имеет семейство, из кого оно состоит и где находится	
25	Чернышевский, Николай Гаврилов, государственный преступник, уроженец Саратовской губернии, вероисповедания православного.	55	По высочайшему повелению, сообщенному в указе Правительствующего Сената от 15 июля 1883 г. за № 11513, выслан из Якутской области по обвинению в сочинении возмутительного воззвания, передачу оного для тайного перепечатания с целью распространения и принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления.	С 6 июля 1883 г. гласному, без срока.	В г. Астрахани, занятий не имеет, казенного пособия не получает; имеет жену и детей, из них первая находится при нем, а последние проживают в С.-Петербурге.	

И. д. правителя канцелярии (подпись неразборчива).

Помощник правителя (подпись неразборчива) [1].

[1] Цит. Дело, л. л. 37-39

Водворение в Астрахани естественно не могло удовлетворить Чернышевского. В сущности, это было продолжением Вилюйской ссылки, хотя и в несколько смягченной форме. Не говоря уже о климате, вредно влиявшем на здоровье Н. Г., он страдал от отсутствия библиотек и научных пособий, которые нужны были ему для задуманных работ [1]. Родные Чернышевского также хотели, чтобы он жил в Саратове. Особенно этого хотела его жена, которая, несмотря на преклонный возраст, сохранила прежнюю резвость и склонность к рассеянной, подвижной жизни. Потребность в перемене обстановки ощущалась ею тем сильнее, что за годы разлуки она отвыкла от мужа, и совместная жизнь с ним ее тяготила. На этой почве ее истеричность еще больше развилась, что также должно было причинять спокойному и уравновешенному Чернышевскому лишние страдания [2].

Скоро по переселении Н. Г. в Астрахань, родные его возобновили хлопоты о разрешении ему выехать оттуда. 5 ноября 1885 года сын его, М. Н. Чернышевский, обратился с новым прошением к Александру III, которое мы и приводим:

Всемилостивейший государь!

С сердечным трепетом дерзаю повергнуть к стопам вашего императорского величества настоящую мою всеподданнейшую просьбу, прежде всего убежденный, что как бы ни велика была эта дерзость, присущее вашему величеству великодушие и милосердие не навлекут на меня немилость вашу, государь.

Я прошу милостивого повеления разрешить отцу моему, бывшему политическому преступнику Чернышевскому, жить в России, где ему будет нужно, не исключая и Петербурга, и дозволить ему заниматься литературным трудом, как средством, обусловливающим его существование с семейством и вместе с тем могущим сколько-нибудь облегчить его изболевшее нравственное состояние.

Просьба—слишком смелая и с первого раза представляющаяся неудобною к удовлетворению, по крайней мере по существующим взглядам на этот предмет.

Но для выяснения вопроса о степени безопасности удовлетворения ее, я нижайше прошу милости дозволить мне изложить несколько строк, характеризующих личность моего отца как государственного преступника, как литературного деятеля и как человека вообще.

С той поры, как началось для меня время сознательной мысли, я ставил себе целью жизни—проследить, по мере возможности, литературную деятельность моего отца и обстоятельства, имевшие влияние на его обвинение; и теперь, после расспросов многих родных и вообще лиц, близко знавших моего отца и достойных доверия, судьба моего отца для меня выяснилась. Видев его по его возвращении, я хотя в разговорах с ним и не решался прямо за-

---

[1] Л. Пантелеев (Ч. II, стр. 201) рассказывает, что по поводу хлопот губернатора Вяземского о переводе Чернышевского в Саратов Н. Г. заметил: «Для меня решительно все равно, что Саратов, что Астрахань; но О(льге) С(ократовне), конечно, было бы приятнее жить в Саратове. Мне лично хотелось бы перебраться в университетский город, чтобы под рукою была большая библиотека; другого мне ничего не надо».

[2] *В. А. Пыпина*—«Любовь в жизни Чернышевского», стр. 109 сл.

трагивать тяжелые для него воспоминания, но из его отдельных упоминаний убедился, что мои сведения и впечатления были верны.

Арестованный летом 1862 года, отец мой просидел два года в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, потом испытал семь лет каторги и одиннадцать лет жестокого поселения в захолустье Якутской области, где жизнь была хуже каторги—эту кару отец получил *по суду Сената по старым формам*, без защитника, *но при участии бывшего III Отделения*.

Прямых улик для арестования его в первое время не было никаких, так передавали мне друзья моего отца.

Его обвиняли вообще в следующем:

1. Видели в нем человека, вредно действовавшего на молодежь, но не было представлено никаких фактов, а одни предположения.

Будучи в конце 1850-х годов главным редактором в журнале «Современник», наиболее распространенном тогда журнале, отец поневоле должен был сталкиваться с массой литературных деятелей, в числе которых было много и молодых людей.

2. Винили его по отношению к журналу «Военный Сборник». Но к участию в редакции этого журнала он был приглашен официально и журнал издавался в обычных цензурных условиях.

3. Винили его за связи с поляками [1].

Обвинение до крайности странное: в 1856 году по высочайше дарованной амнистии вернулось из ссылки много лиц русских (декабристы, петрашевцы) и поляков. Эта амнистия была одним из самых отрадных фактов, начинавших новое царствование, и общественное сочувствие было открыто для лиц, получивших царскую милость. Между этими лицами было несколько первостепенных талантов—[Н. И.] Костомаров, [Ф. М.] Достоевский, [Т. Г.] Шевченко. Общество отнеслось доброжелательно и к полякам; трех-четырех из них знал отец. Это и был весь факт. Далее простого знакомства с двумя-тремя лицами эти отношения никогда не шли, а крайних политических мнений некоторых из поляков отец никогда не разделял. Это положительно утверждают друзья, близко знавшие моего отца. Не раз они были свидетелями, как отец решительно отвергал некоторые, еще обычные тогда, национальные притязания поляков и не оставлял им в своем несогласии с ними никакого сомнения [2].

4. Винили его за литературную деятельность вообще. Но эта деятельность совершалась в обычных цензурных условиях. В действительности литературные труды отца вовсе не имели того зловредного характера, который был им приписан III Отделением и позднее сенатским приговором. Позднейшая беспристрастная критика (людей, его лично вовсе не знавших) признала в нем «блестящего публициста» [3].

---

[1] Это неверно: такого обвинения, по крайней мере официально, не было.

[2] Это место явно заимствовано из «Моих заметок» А. Пыпина, который несомненно принимал участие в составлении прошения, если не целиком сочинял его. Но в этом пункте Пыпин подсказывает Чернышевскому *свое* отношение к польским революционерам. На самом деле Чернышевский был не умереннее, а гораздо левее польских революционеров, с которыми имел дело (хотя, проводя логически право нации на самоопределение, требовал его не только для поляков, но и для украинцев, белоруссов и пр.). Чернышевский был довольно тесно связан с рядом польских революционеров (Иосафатом Огрызко, Ярославом Домбровским, Сигизмундом Сераковским и др.), при чем с Сераковским, которого он вывел под фамилией Соколовского в романе «Пролог», был особенно близок. Говорить о «простом знакомстве» с ними прямо смешно.

[3] Имеется в виду отзыв Карла Маркса в послесловии к второму немецкому изданию первого тома «Капитала». Его приводит и Пыпин в своей «Записке», опубликованной нами в томе XXII «Красного Архива».

К сожалению, обвинение вторило воплям его литературных и общественных врагов.

5. Наконец, винили в сношениях с заграничными революционерами.

Это было, кажется, первое реальное обвинение, по которому был сделан допрос моему отцу в Следственной Комиссии при III Отделении.

Дело в том, что при обыске в его бумагах найдено было письмо, адресованное Герценом к другому лицу [1], но где Герцен после закрытия (в мае 1862 года) журнала «Современник» предлагал моему отцу издавать этот журнал в Женеве или Лондоне. На это письмо отец, сколько мне известно, даже не ответил и бросил его без внимания, потому что не помышлял о заграничной журналистике [2].

На допросе он отвечал, что в переписке с Герценом вовсе не состоял (и это была совершенная правда), а что он не может помешать всякому написать к нему письмо или упоминать его имя.

Тем не менее обвинение в сношении с заграничными революционерами осталось в приговоре в числе *доказанных* преступлений [3].

Относительно каких-либо сношений моего отца с тогдашними эмигрантами я по собранным мною сведениям узнал только следующее:

Сношений с заграничными революционерами отец мой не имел, но, как говорят, в 1859 году ездил в Лондон с специальною целью познакомиться лично с одним Герценом и с ним переговорить о деле, которое было слишком близко принимаемо отцом моим к сердцу. Это дело—освобождение крестьян, тогда еще вырабатывавшееся в Комиссии [4].

Крестьянский вопрос, тот вопрос, решение которого составляло многосложную задачу прошлого царствования, и дальнейшее развитие которого составляет ныне пламеннейшее желание людей, глубоко любящих свое отечество, из которых есть первый вы, государь,—этот вопрос, с первых слухов о намерении правительства приступить к его разрешению, овладел всем существом моего отца. Он оставил совсем литературные предметы и писал только о крестьянском вопросе, писал экономические исследования и т. п.

Возможно широкое решение этого вопроса была его мечта и надежда на решение в *том самом* смысле, как говорят об этом *ныне*, через 25 лет люди сведущие и преданные своему государю и отечеству. Именно в том смысле, чтобы освобождение крестьян было по возможности достаточным экономически их обеспечением. Тот вопрос об общине, о наделах, малоземельи, кото-

---

[1] К Н. Н. Обручеву (см. следующее примечание).

[2] Ничего подобного в письме Огарева и Герцена к Н. Обручеву, найденном при обыске у Чернышевского, не было. Предложение издавать за границей «Современник» сделано было в письме Герцена к Н. А. Серно-Соловьевичу, которое было отобрано при обыске у П. Ветошникова, возвращавшегося из Лондона, и о котором Чернышевский узнал только после ареста. Это-то письмо и послужило формальным поводом к его аресту.

[3] Неверно: как раз по этому пункту сенаторы позволили себе роскошь оправдать подсудимого.

[4] Чернышевский ездил в 1859 году в Лондон об'ясняться с Герценом по поводу статьи последнего в № 44 «Колокола», озаглавленной «Very dangerous!!!» («Весьма опасно») и направленной против политического радикализма «Современника». Все, что говорится в прошении о цели этой поездки, придумано ad usum Delphini.

В действительности Чернышевский не только не предлагал Герцену «отбросить памфлетный характер» своих писаний, но напротив упрекал его в умеренности и требовал от него полного отказа от компромиссов с самодержавием и перехода к открыто революционной агитации. См. мою статью «Чернышевский и русское общество» в сентябрьской книжке «Красной Нови» за 1927 год.

рый всего сильнее занимал его, возвращается теперь снова во всей своей силе и становится предметом забот самого правительства.

Вот по этому-то вопросу отец и отправился в Лондон знакомиться с Герценом и побудить его к более правильному изложению этого предмета в своих сочинениях, так как в России при стесненных рамках, которыми тогдашняя цензура обставила этот вопрос, не было возможности высказать всего, что требовалось для правильного понимания дела.

Отец, как идеалист, рассчитывал, что выпускаемые Герценом за границею издания проскальзывают иногда и в высшие сферы, и тут, если бы из них отброшен был памфлетный характер, помещаемые в них серьезные экономические статьи по крестьянскому вопросу могли бы иметь свое влияние, когда вопрос обсуждался в высших учреждениях. Как политико-экономист, много изучавший предмет, отец по праву мог считать себя не менее сведущим человеком, чем многие, работавшие тогда в этом вопросе.

Вот единственная цель, для которой он ездил в Лондон. Новые знакомые не сошлись однако ни характером, ни образом мыслей, и уже дальнейших сношений отец с Герценом никогда и никаких не имел.

На суде он не делал этого показания, потому что оно, в сущности, не относилось к делу, да и нельзя было там и ожидать, чтобы оно должным образом было оценено.

Крепостная реформа в основных своих началах, при обсуждении ее в Комиссиях и Комитетах, подвергалась сильным колебаниям. Вопрос об освобождении крестьян *с землею* или *без земли*, а затем с большим или меньшим наделом, был предметом жаркой борьбы как в высших сферах, так и в обществе и печати. Отец мой, занимавший тогда видное место в журалистике, будучи *ученым теоретиком*, ставил этот вопрос очень прямо в интересах экономического положения народа и для устранения затруднений в будущем, которые, к сожалению, теперь и начинают сказываться. С энергией и жаром, быть может иногда с неумеренною резкостью, он отстаивал не только возможно бо́льшие земельные наделы, но и исконное наше народное *общинное начало*. Настойчивой защиты общины и бо́льших размеров надела было довольно, чтобы возбудить к моему отцу ожесточенную вражду в людях противной партии, которая стала называть его социалистом. Доносы добавили остальное.

Итак, после первых допросов отца по его арестовании, особенно криминальных для его обвинения данных, которые подтверждались бы фактами, III Отделение найти не могло, и он сидел в Алексеевском равелине, пока допросы вновь не возобновились и довольно странным образом.

Некто Всеволод Костомаров, бывший офицер, занимавшийся стихотворством и поэтому бывший раза два-три у отца, как редактора «Современника», судившийся еще в 1861 году за содержание тайной типографии и привлеченный к одновременному тогда процессу [М. Л] Михайлова, был присужден к разжалованию в рядовые на Кавказ и в конце 1862 г. или начале 1863 г. был уже на пути к назначенному месту, но, доехав только до Тулы, получил разрешение вернуться в Петербург и дать заявленные им показания против моего отца.

Как случилось, что после долгого следствия и суда, в течение которых была возможность таких показаний, мысль о них явилась у Вс. Костомарова *только тогда*, когда он уже ехал в свою ссылку, только *через два года*, об'яснить трудно; но достоверно то, как мне передавали, что ценою своих новейших показаний Вс. Костомаров освободился от необходимости отправляться рядовым на Кавказ, а остался в Петербурге, где жил на свободе и умер через два-три года после ссылки моего отца.

Показания Всев. Костомарова клонились к тому, что якобы отец мой побуждал его напечатать в тайной типографии какое-то воззвание к дворовым людям, безграмотность которых как всем, так и моему отцу была прекрасно известна [1].

---

[1] Не к «дворовым людям», а к «барским крестьянам».

Но эти первые изветы Вс. Костомарова остались безуспешны: подтвердить их он ничем не мог.

Еще позднее найден был им однако свидетель в подкрепление извета. Это был некто мещанин Яковлев, служивший прежде у Костомарова; он будто бы слышал разговор моего отца с Костомаровым, где речь шла об упомянутом воззвании.

Отцу была дана очная ставка с Яковлевым, на которой последний смешался так, что был выслан III Отделением административно в Архангельск «за пьянство», так что на Сенатском суде эта темная личность уже не появлялась [1].

Тем временем о показаниях Всев. Костомарова, обвинявших моего отца, прошли и в общество подозрительные слухи, а в подтверждение лжесвидетельства сообщника В. Костомарова, мещанина Яковлева, получилось письмо из Московского смирительного дома (где перед тем Яковлев содержался за буйство), которое открывало след темной интриги против моего отца. Это письмо было представлено тогдашними редакторами «Современника» [2] генералу Потапову, с об'яснением заключающихся в письме странных обстоятельств; но генерал, по прочтении письма, сказал, что с этим письмом делать нечего, так как дело отца перешло уже в Сенат [3].

Деятельность В. Костомарова, уже проживавшего на свободе в Петербурге на свободе [4], тем однако не кончилась.

Когда дело отца поступило в Сенат, то *здесь уже* явилось *новое* показание В. Костомарова. В Сенат доставлен был (сколько было слышно—из III Отделения) документ, который теперь и сочтен был за главнейшую улику против моего отца.

Это было знаменитое (в своем роде) письмо, будто бы писанное моим отцом к известному литератору Плещееву.

По показанию В. Костомарова (как тогда передавали), он *вспомнил*, что это письмо, будто бы данное моим отцом (конечно, ранее собственного процесса Костомарова) для передачи в Москве Костомаровым Плещееву, но оставшееся непереданным, было у него заложено в сак-вояж; оно чудесным образом осталось неоткрытым во время внимательного обыска, деланного у Костомарова при его собственном процессе; сам он об этом письме будто бы совсем забыл, а теперь (это года через два-три) он извлек его из сак-вояжа для представления в Сенат.

В Сенате документу придана была, видимо, большая важность: председательствовавший сенатор Карниолин-Пинский, держа или положив перед моим отцом это письмо, многозначительно сказал ему на латинском языке: «oculis, non manibus» (смотрите глазами, руками не касаясь).

---

[1] Яковлев был выслан за то, что, будучи послан жандармским полковником Чулковым в Петербург для дачи показаний против Чернышевского в III отделении, на станции Тверь напился, учинил убийство, попал за это в Московский смирительный дом и, встретившись там с сидевшими по политическому делу студентами (Гольц-Миллер, Л. Ященко и пр.), рассказал им о том, что В. Костомаров и Чулков подговаривали его дать ложное показание против Чернышевского.

[2] Поэтом Н. А. Некрасовым.

[3] Это неточно. Письмо московских студентов попало в сенатское производство, но было сенатом признано бездоказательным, так как, «имея само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным, представляет и ту несообразность, что извет на Яковлева не представлен начальству смирительного дома, которое по горячим следам имело бы возможность раскрыть истину, а сообщено владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловредные идеи».

[4] Слова «на свободе» дважды повторены в оригинале.

Отец взглянул на этот документ, и на вопросы относительно содержания письма просил сенат спрашивать не его, Чернышевского, но самого автора этого письма, потому, что он, отец мой, такого письма никогда не писал.

Отец и в то время рассказывал это родным [1], которым были разрешены свидания с ним в крепости, шутя, как о вещи слишком ясной и которая не могла казаться ему ни на минуту опасной.

Он должен был скоро разочароваться, потому что, несмотря на категорическое его заявление, что это письмо есть наглый подлог, несмотря на сомнительные отзывы экспертов (выбранных из сенатских же чиновников) [2], сенат признал подлинность письма.

Как доложено выше, письмо, будто бы писанное к Плещееву, по словам самого Костомарова не было им Плещееву передано, но понятно, что Плещеева все-таки надо было спросить. Он был вызван из Москвы в Петербург. В сенате, по пред'явлении ему письма, Плещеев заявил, во-первых, что рукопись хотя вначале похожа на руку моего отца, но дальше не похожа совсем, т.-е. несомненно подделана, но подделка не выдержана: во-первых, что содержание письма таково, что ни отец мой не мог написать такого письма, ни он, Плещеев, от него получить,—оно *предполагает* между ними такие отношения, каких в действительности *не было*. В письме была между прочим одна фраза, долженствовавшая утвердить Плещеева в соучастии: «не мы-де с вами пойдем на каторгу»—эта фраза, невозможно бессмысленная в устах отца, обличала склад мыслей самого поддельщика [3]. Эта бессмысленность не требует об'яснений для тех, кто имел какое-нибудь понятие о высоко-честном и правдивом характере моего отца.

Письмо было такого рода, что из него надо было заключить, что между моим отцом и Плещеевым было ранее законопреступное соглашение. Если только письмо было *подлинное*, над Плещеевым должны бы быть также произведены следствие и суд. Тем не менее сенат, на основании одного и того же документа, после единственного спроса отпустил Плещеева, но осудил моего отца.

По всем приведенным здесь весьма темным сторонам виновности, отец мой, лишенный к тому же всяких средств защиты, признан государственным преступником.

Далеко еще не досказана история бедствий его, и далеко еще не кончились нападки на него и после осуждения.

В самые суровые времена в обществах существует понятие, что когда преступление (предположив, что отец мой был преступник) карается, то «справедливость бывает удовлетворена». Осужденного оставляют в покое; считается неприличным, постыдным преследовать его упреками и обвинениями, когда он уже понес кару, присужденную высшею властью. «С одного вола двух шкур не дерут»—грубо, но совершенно справедливо говорит народная пословица. Осужденного народ называет «несчастным», каким он бывает часто и в действительности.

На долю отца не выпало этой элементарной справедливости. Прежние друзья боялись проявить свою дружбу; лишь очень немногие из них сохранили к нему прежнее теплое чувство. Зато совершенно свободны были выражать свою злобу старые враги. За 20 слишком лет, протекших уже со времени его ссылки, сколько сделано было в печати нападений на противника, лишенного средств защиты!

---

[1] А. Н. Пыпину, от которого это и стало известно.

[2] Неверно: сенатские «эксперты» признали письмо принадлежащим Чернышевскому.

[3] Такой фразы в письме нет. Там сказано: «в случае неуспеха самая большая доля ответственности падает на них самих», т.-е. на лиц, печатающих прокламации, а не на авторов. Разумеется, такой циничной фразы Чернышевский написать не мог.

После старой вражды к нему по крепостному вопросу, первым поводом к этим обвинениям послужил роман «Что делать?» Этот роман написал мой отец в конце заточения своего в Алексеевском равелине, имея в виду заработать деньги для своего семейства, чтобы оно не нуждалось в чужой помощи. Редактор «Современника», Некрасов, выразил желание напечатать роман. Роман получался частями и печатался по мере получения. В то время была исключительно предварительная цензура, и никому в голову не приходило, чтобы мог возбудить не литературные, а криминальные нападки роман, полученный из III Отделения и пропущенный без всяких исключений предварительной цензурой.

Но не прошло много времени, как этот роман вызвал эти нападки, и ответить на них не было уже никакой возможности: цензура не пропустила бы ни единого слова в защиту моего отца. Итак, обвинение осталось без возражений и в понятиях толпы являлось подтверждением злокачественной репутации.

Что же такое этот роман?

В своем заточении отец много работал. Из тюрьмы ему хотелось обеспечить свое семейство от нужды. Он перевел два тома издававшейся тогда всемирной истории Шлоссера, написал роман, написал еще ряд сочинений, которые уже не были выданы нашему семейству III Отделением. Для него немыслима уже была та работа, к какой он привык: политическая экономия и проч. Оставалось или найти работу почти механическую,—таков был перевод,—или, когда этой работы больше не представилось, писать что-нибудь для журнальных читателей—отдаться *фантазии*.

Результатом был роман.

Как известно, роман был после обвиняем в распространении социалистических теорий. Человеку рассудительному, не ослепленному старой ненавистью или недостатком образования, при разборе романа, написанного в столь исключительном положении самого автора, прежде всего пришла бы мысль об общем настроении писателя, какое проявилось под влиянием этих условий. Отец мой с великим мужеством выдерживал свое тяжкое положение—двухлетнее одиночное заключение в тюрьме, долгие месяцы тянувшееся без движения дело, сомнительную постановку этого дела, разлуку с нежно любимыми... Но как бы ни была велика твердость, есть предел для человеческой природы: работала мысль, работало воображение, и их не сдерживали и не развлекали никакой нормально поставленный труд, никакая мысль, никакое впечатление действительной жизни. Когда он начал писать роман, он однажды поручил родным доставить ему несколько книг по высшей математике. При свиданиях он об'яснял, что ему не просто опять захотелось заняться математикой, которая и прежде его интересовала, но что он употреблял сухие цифры, как гигиеническое средство: по его словам, его фантазия так возбуждалась, что он стал сознавать небезопасность этого возбуждения. В этом моральном состоянии и был написан роман: фантазия увлекала писателя за пределы действительности.

Роман заключает в себе лица и сцены из действительности и чистые *фантазии*, какими они были и в глазах *самого автора*. Надо до крайности преувеличить все дело, чтобы вообразить «социалистический» вред в фантазиях о будущности человеческого общества. Фантазии и изложены как «сон» и притом не сон какого-нибудь мыслителя или агитатора, а просто молоденькой дамы. Мысль подобного сна нимало не нова в литературе: много раз писатели задавали себе темы в роде «XXV» или «XXXV столетия», и никому не приходило в голову винить их в стремлении ниспровергнуть порядок XIX века для того порядка, какого они ожидали через десятки веков. Даже в нашей литературе есть подобный рассказ князя Одоевского, под заглавием вроде «3845 год». Фантазия имеет в произведениях литературы свое право и свое место.

Впоследствии против романа было выставлено и другое обвинение—в колебании начала брачных уз. Насколько обвинение несправедливо, доказательством может служить пример самого автора, который в течение долгих

годов своей ссылки свято хранил глубочайшую преданность к своей семье!

Позднейшие волнения в кружках молодежи, составлявших тайные общества, были так далеки от каких-нибудь личных влияний моего отца, что только крайняя вражда или недобросовестность может поставить их ему в обвинение. Положим, что правительственная власть могла подозрительно взглянуть на то, что имя моего отца повторялось в кружках новейших «социалистов» и в заграничных революционных изданиях, что эти «социалисты» делали даже дерзкую попытку «освобождения» моего отца. Все это факты, но где же настоящее об'яснение этих фактов?

Со времени ссылки в Сибирь в 1864 г., когда отец жил сначала в отдаленной казачьей стоянке Кадае, на границе Монголии, потом короткое время в Александровском заводе, в Нерчинском крае, наконец многие последние годы в Вилюйске, небольшом городишке Якутской области, на несколько сот верст в сторону от проезжего пути по Лене и в таком захолустье, что за Вилюйском нет уже никуда никаких дорог, отец только изредка посылал письма к своей семье, изредка получал домашние известия и затем не имел, да и не мог иметь никакой переписки,—письма рассматривались начальством; не все его письма, обращенные к родным, до них доходили. Несколько книг, один или два журнала—это было все, что ему разрешено было иметь. Газет он не имел. Он был так удален от всего света, что горькой иронией было бы думать, что он может иметь какую-нибудь солидарность с тем, что делается в нашем обществе, через десятки лет подобной ссылки. Он не знал даже, как злоупотребляется его имя самозванными «последователями»: газет до него не доходило, семья не решалась тревожить его совершенно бесплодно—мы не были даже уверены, что подобного рода письма дошли бы до отца. Но раз до самого Вилюйска дошли затеи новейших революционеров (покушение Мышкина на освобождение моего отца), и тогда отец с негодованием писал моей матушке о людях, злоупотребляющих его именем, и чтобы дать понять, о чем он говорит, замечал, что если ему суждено когда-нибудь оставить Вилюйск, то он уедет из него не иначе, как *тем же* способом, каким в него приехал, т.-е. только, если на это последует воля высшей власти. Излишне передавать, как эти злоупотребления его именем возмущали нас, очень хорошо видевших, что это постыдное легкомыслие авантюристов в конце-концов ложится только новым бременем на моего отца. Слышно было, что местные власти так мало понимали все это, хотя через их руки шла переписка моего отца, что после покушения Мышкина сделали у отца обыск и отобрали у него какие-то письменные работы, сокращавшие томительную тоску почти двадцатилетнего одиночества [1].

Таковы были обстоятельства. В действительности все отношение моего отца к новейшим событиям состояло в том, что его имя и даже *собственность* сделались предметом наглой эксплоатации со стороны новейшей «социальной» агитации. В последней были люди разного рода—и несчастные или преступные фанатики, и совершенно испорченные дурные люди—просто негодяи. Для тех и других был свой интерес впутывать в свои увлечения или интриги имя моего отца. Во-первых, новейшие «социалисты» слышали о прежнем значении моего отца, быть может и сочувствовали его печальной судьбе. Но это сочувствие, как мы видели, не удержало «почитателей» от нанесения самого серьезного вреда моему отцу. Во-вторых, и это было уже просто нечестно, некоторые, и особенно предводители, старались прикрывать свои затеи и свое ничтожество известным именем. Большинство говорило о моем отце с полным незнанием его характера и деятельности, относившейся уже к очень далекому от настоящей минуты времени, и здесь им помогала сама реакционная печать, извращавшая в своих видах этот характер и деятельность в «социалистиче-

---

[1] Это неверно. Обыск был произведен у Чернышевского не после попытки Мышкина, а в 1873 году, т.-е. на два года раньше.

ское» пугало. Иные были настолько лишены здравого смысла, что, не имея об отце моем никакого понятия, называли его имя даже перед судом [1]. Но были и люди, действовавшие вполне сознательно. К их числу принадлежали некоторые женевско-базельско-лондонские эмигранты, которые приступили и к эксплоатации собственности моего отца, начав воровское издание его (зачеркнуто: изданий) сочинений [2].

Эта контрафакция есть одно из постыднейших дел, какие совершаются червонными валетами. «Социалисты» не только компрометировали моего отца, перепечатывая его старые статьи рядом со своими собственными радикальными изделиями, но и принялись за прямое обкрадывание того самого человека, которого желали ставить в первых рядах своей партии. Они предприняли издание его сочинений и имели гнусность об'явить, будто бы выручка издания будет передана ими нашему семейству. Это была наглая ложь. Мы никогда не позволяли и не позволили бы этого издания, если бы были спрошены, и никогда не взяли бы гроша, полученного ценою вреда нашему отцу. Впрочем, речь о выручке была простым, грубым отводом, и мнимые деньги для семьи Чернышевского мы, конечно, никогда и не видали.

При первом опыте этой кражи сочинений моего отца в русской печати по желанию нашей семьи было заявлено, что заграничное издание есть контрафакция. Впоследствии, в январе 1878 года, категорическое обличение этого воровства сделано было в подробной статье, посланной в берлинскую газету «Post» [3].

На деле мнимые «последователи» моего отца были питомцы совсем иной школы. Если отец и был социалист, то лишь такой, каких в Германии называют «Katheder-Socialisten», т.-е. ученые, книжные теоретики по социально-экономическим предметам. Для моего отца, как и для этих «Katheder-Socialisten» (занимающих в Германии и действительно университетские кафедры, или места в распоряжении князя Бисмарка по экономическим вопросам), социальные отношения были предметом глубокого научного исследования; для новейших же радикалов эти вопросы уже решены. Интересы моего отца были всегда широки и идеальны; он всегда высоко ценил искусство; поэзия была для него глубоким выражением человеческого духа и драгоценной его воспитательницей; тогда как новейшие радикалы—грубые материалисты и т. д. Словом, это два совсем разных взгляда, два несовместимых понятия, и иначе быть не могло. Мнимые последователи моего отца, о которых он, отрезанный от всех, не имел ни малейшего понятия,—питомцы совсем иной школы, именно бакунинской [4]. Счесть людей, исповедующих бакунинскую теорию «анархии», за последователей моего отца есть не только клевета, но и бессмыслица. Бакунин был бесшабашный болтун, нечистый на руку—его ученики поступили и с собственностью нашего семейства, как выше доложено.

Бакунин и К° и ошалевший философ Лавров сбили с пути немало русской молодежи, которая, к сожалению, не могла найти противовеса этому влиянию в русской литературе по ее цензурному положению. В этой школе в первый раз возникла мысль о ненужности науки и образования; здесь возродилось учение, что цель оправдывает средства; здесь развилось постыдное неуважение к праву чужой личности. Все это было неизвестно в то время, когда писал мой отец, и это составляет существенную черту бакунинско-лавровской

---

[1] Повидимому, намек на каракозовцев (ишутинцев), признавших на суде, что они подготовляли побег Чернышевского.

[2] Имеются в виду, во-первых, Элпидин, издавший пять томов сочинений Чернышевского в Женеве, а, во-вторых, П. Лавров, напечатавший в своем «Вперед» «Письма без адреса» и отдельно роман «Пролог», вопреки протестам Пыпина.

[3] А. Н. Пыпиным.

[4] Это неверно. Ни каракозовцы, ни чайковцы, ни члены Русской секции Интернационала не были бакунистами.

школы. Смешать такие взгляды с понятиями моего отца исторически—ложно политически—бесчестно.

Моему отцу уже довольно того, что он вынес и выносит; можно было бы иначе взглянуть на этого талантливого писателя, нравственно безупречного человека, страдающего так незаслуженно, так тяжело и так долго.

Об отце, как литературном деятеле, позволю себе доложить, что деятельность свою на этом поприще он начал в 1853 г., и, благодаря выказавшемуся таланту, она быстро доставила ему обширную известность. Посвященная сначала предметам литературным, позднее—экономическим и публицистическим, под обычным ведением цензуры, она была одним из самых ярких проявлений того исторического оживления русского общества, которое наступило с началом прошлого царствования. Его сочинения—свидетельство глубокого одушевления, которое пробуждено было в лучших людях общества зарею наступавшего возрождения. Это возрождение дышало тогда в самом правительстве, искренним образом проникнутом либеральными стремлениями. Молодые умы особенно восприимчивы к влияниям подобного рода, и немудрено, что среди молодежи имя моего отца пользовалось известностью и сочувствиями (это обстоятельство служило позднее специальным обвинением против него). Из этой молодежи вышел вскоре писатель, работавший в том же «Современнике», столь же быстро приобревший настоящую литературную славу высоко-талантливого, художественного критика и публициста. Это был, умерший почти юношей, [Н. А] Добролюбов, и это был в действительности ученик моего отца.

Обладая разносторонним научным образованием, будучи начитанным так как редко встречается, соединяя с даром пера и глубину мыслей, отец мой действительно не мог не приобрести многих почитателей. Но зато не мог не приобрести врагов себе более лютых в лице тех, кого ему приходилось оспаривать.

Как война вызывает и создает героев, так и мирное время, когда само правительство стремится к реформам своей страны, порождает таланты, горячо отзывающиеся на его призывы. Винить моего отца, что именно в это время он и появился со своим талантом, что в это, исполненное ожиданиями и надеждами после испытаний тяжкой войны, время он так привлекал к себе все свежее и молодое, все здравомыслящее—значит винить его за стремления его времени, во главе которых стояли стремления и самой власти. Чтобы быть справедливым, надо припомнить время—конец пятидесятых и начало шестидесятых годов. Литература была лишь простым проводником или отражением самого правительства. Прекратилось это направление—прекратилась и деятельность литературы в этом духе. Но естественно, просто, по инерции, не могло остановиться дальнейшее движение вперед, и новые поколения, не находя правильного направления себе дальше,—пошли исковерканным, уродливым, без всякого здравомыслящего руководства путем. Винить ли в этом моего отца?

Настоящая критическая оценка литературной деятельности моего отца принадлежит будущему. К сожалению, иностранная литература, именно та, которая знает русские дела с пятого на десятое, повторила о моем отце немало нелепостей, выслушанных из ложного источника. Впрочем, в специальных книгах было и справедливое признание ученых заслуг отца в политической экономии; его «Примечания к Миллю» были переведены в Бельгии на французский язык [1]; известный ученый Меккензи-Уоллес, в своей книге о России, сказал о нем несколько сочувственных слов; немецкий (уже умерший) известный экономист Маркс, пользуясь материалами для своего труда «Капитал» из «Примечаний к Миллю» [2], не однажды выражается о моем отце, как о «*великом ученом*».

---

[1] А. Тверитиновым в 1874 году.

[2] Неизвестно, на чем основано это утверждение. Первый том «Капитала» вышел в 1867 году, до того, как Маркс ознакомился с «Примечаниями к Миллю», а второй и третий томы к моменту писания прошения М. Н. Чернышевским в свет еще не появились и не могли быть ему известны.

Что касается личного характера моего отца, то и здесь он представляет нечто особенное. Кто его близко знает, тот может сказать, что не видывал человека более скромного, деликатного, тихого, безгранично доброго, готового помочь всякому, нуждающемуся в помощи. В кругу литературного и учившегося юношества, где так много нуждающихся в помощи,—характер моего отца производил большое впечатление и сильно к нему привязывал. К сожалению, как бывает почти всегда с людьми подобного характера, он был слишком доверчив и принимал к себе таких людей, которые потом выкопали ему яму лживыми доносами [1]. И в самом бедствии своей ссылки он поражал своей терпеливостью. Внутренний, душевный его протест против жестокой кары выражался полнейшею покорностью всему, что бы с ним ни делали. Все, что оставалось ему отрадного в жизни, это—работа пером. Умственная работа составляет для него такую же потребность, как вода для рыбы. Он работал без устали в течение 20 лет ссылки, работал просто для себя, работал ради умственного удовлетворения и неоднократно сжигал все наработанное, отчаиваясь когда-нибудь поделиться с наукою и литературою своими произведениями. Никогда никому ни единым словом не пожаловался он на тягость своей судьбы. Отец постоянно говорил, что все так и должно быть, все идет в порядке вещей, что правительство, если находило его опасным, так и должно было относиться к нему, как оно относилось. Вместе с тем он высоко ценил то мягкое отношение к себе, которое замечал иногда в принимаемых относительно его мерах и которое приписывал высшему правительству.

Обстоятельства продолжали однако тяготеть над ним. Будучи возвращен из дальней ссылки милостью вашего величества, и будучи водворен на жительство в Астрахани, отец мой в скором времени почувствовал себя в более удручающем положении, чем он был в Вилюйске. Там, отрешенный от всего мира, он был поневоле неспособным давать средства к существованию своей семьи. Теперь же, очутившись в ее кругу и видя ее беспомощность, он, оказывается, не имел права добывать этих средств к существованию. Ни на какую иную работу, кроме литературной, отец мой никогда себя не готовил, да и неспособен ни к чему, кроме научных занятий. На основании же высочайшего повеления лица, числящиеся политически неблагонадежными и состоящие под надзором, права на занятия литературою не имеют.

Здесь-то и начинается настоящая пытка для человека, столь безропотно покорявшегося судьбе своей в течение 20 с лишком лет.

Помимо этого главного неудобства, оказавшегося по его возвращении из Сибири, являются и другие неудобства, сопряженные с жизнью в провинции. Нынешним летом вдруг представляется донос якобы очевидца о каких-то собраниях в квартире моего отца, о каких-то вредных идеях, им рассеиваемых. Проверка доноса исследуется прокурорским надзором, снова производится обыск у моего отца, и призывается он к допросу. Там производится дознание. Доносчику пред'являются разные лица, чтобы доносчик указал, не бывал ли кто из них у моего отца. Доносчик не мог указать ни одного. Пред'является ему наконец и сам отец. Оказалось, что доносчик видел в первый раз и не мог признать моего отца, на которого доносил и у которого будто бы бывал. Прокурорская власть и лицо, заведующее полицейским надзором, убедились в гнусном шантаже, в бесчестном и оскорбительном для моего отца извете лживого доносчика [2].

Подобные крупные и мелкие заботы и огорчения слишком тяжко отражаются на душевном настроении человека, который, напротив, не имеет никаких знакомств в Астрахани и решительно их избегает.

---

[1] Имеется в виду Вс. Костомаров.

[2] Об этом инциденте со слов А. Пыпина рассказывает в своих воспоминаниях о Чернышевском Н. Рейнгардт («Русская Старина» 1905, № 3, стр. 475—476).

Ко всем этим неприятностям присоединилось и еще одно. Старший мой брат [1], кончив 10 лет тому назад курс кандидатом Петербургского университета по математическому факультету, благодаря носимой им фамилии до самого последнего времени не мог достать себе какого бы ни было места в правительственных учебных заведениях и под впечатлением так долго угнетавших его мыслей вообще о своем положении дошел до такого сильного нервного состояния, в котором потребовалась помощь психиатрии. Нынешним летом он провел два месяца в больнице для душевно-больных на Удельной. Теперь, хотя он значительно поправился и мог быть выписан из больницы, но состояние его здоровья все-таки требует известного надзора и продолжения лечения. Переселить его к отцу в Астрахань было бы только излишней тягостью для последнего, так как там не найдется средств, необходимых для радикального исцеления, не найдется специалистов-психиатров, какими обладает Петербург.

Государь! Я имел счастье по мере своих сил изобразить в истинном виде пред вами своего отца, не позволив себе ни единой неправды в этом изображении. Далеко не по силам бы мне было изложить все тяжкие нравственные страдания, какие перенес он в течение последних десятков лет своей жизни. Но и без этих описаний милосердное сердце ваше, монарх, не останется глухим: вам присуще и милосердие, и великодушие.

Если бы к полнейшему освобождению моего отца от испытываемых им теперь мучений встретились затруднения со стороны ведомств, в ведении которых состоит предмет моего ходатайства, я осмелюсь скромно представить мои мысли: с формальной стороны упомянутые ведомства, которые затруднились бы этим вопросом, могут быть правы. Но есть еще сторона другая, внутренняя, так сказать. Убежден ли кто-либо искренно, что отец мой действительно так опасен, как рисуют его *по предположению?* Может ли внушить доверие столь странно сложившаяся *молва?* Способен ли мой отец, будучи умным человеком, имея почти старческий возраст (ему под 60 лет), пространдав более 20 лет в ссылке, пуститься в приключения, которые считает, конечно, ниже своего личного достоинства? Отец мой имеет за собою прошлое—блестящую литературную деятельность, стяжавшую ему массу поклонников, и впереди жажду работы научной. Применять к нему сухой формализм, не приняв во внимание его совершенно исключительную судьбу,—да простят мне ведомства,—было бы слишком жестоко, а главное и бесполезно. Может быть высказано опасение, что отец мой помимо печати может устно распространять зловредные идеи в кружках здешней молодежи. На это смею возразить, что у правительства есть столько средств для контроля за каждым шагом и словом моего отца, что малейшая опасность во всякое время может быть отстранена в вящщее назидание и проповеднику, и слушателю.

Надломленная и, можно сказать, разбитая жизнь моего отца —порукою того, что ничего подобного не произойдет. Вся мечта его теперь, чтобы дали ему покойно заняться чисто научными предметами. Для этого ему необходима возможность пользоваться книжными средствами императорской Публичной библиотеки и необходим обмен мыслей с некоторыми (очень немногими) действительно учеными людьми. Ему необходим и уход за моим братом, дабы он сколько-нибудь окреп нервами и на груди отца нашел утешение и покой, которых они так томительно долго были лишены.

Государь! Простите милосердно за дерзость: я преклоняю колено и прошу произнести слово высокого монаршего милосердия.

Государь! Ценою своей жизни, ценою жизни своей семьи я отвечаю за моего отца.

Вашего императорского величества верноподданный

Михаил Николаев Чернышевский,

не имеющий чина.

Ноября 5 дня 1885 года.

[1] Александр.

Местожительства просителя:

Коломенской части, 2-го участка, по Торговой улице, д. № 31, кв. № 7.

Настоящее всеподданнейшее прошение составлял и переписывал сам проситель [1].

Но все эти унижения и самооплевания, к которым сам Н. Г. Чернышевский не имел, разумеется, никакого отношения и которые совершались за его спиной [2], оказались напрасными. Прошение это было 26 ноября переслано «по принадлежности» министру внутренних дел и было доложено гр. Д. Толстому, который в декабре приказал ходатайство отклонить. В тот момент такая просьба была еще преждевременной, ибо только через два года Департамент полиции пришел к убеждению, что с Чернышевского можно снять специальный надзор, подчинив его обыкновенному. А в 1885 году правительство считало его еще для себя опасным.

Но вот прошло еще несколько лет. Революционное движение в стране казалось окончательно замершим, о Чернышевском полиция начала забывать, местная администрация в лице губернатора Вяземского сама готова была хлопотать за разрешение Чернышевскому выезда из Астрахани [3], и М. Н. Чернышевский счел момент удобным для возобновления своего ходатайства. На этот раз он обратился уже не к царю, а к министру внутренних дел. 28 марта 1889 года он обратился к гр. Толстому с следующим прошением.

В конце 1883 года отец мой, Николай Гаврилович Чернышевский, милостью государя подпал под высочайший манифест по случаю коронования его императорского величества и был возвращен из двадцатилетней ссылки с водворением на жительство в г. Астрахани.

Астрахань принадлежит к одной из наименее благоприятных в санитарном отношении местностей России. Климат астраханский уже успел оказать в течение пяти лет свое влияние и на здоровье моего отца, а также и на здоровье моей матушки, никогда не отличавшейся здоровьем, а ныне окончательно больной от местных климатических условий. Тесная дружба и горячая привязанность, существующие между моими родителями, не допускают и мысли о раздельной жизни, да и слишком жестоко было бы требовать от них снова разлуки, после того, как они были разлучены более двадцати лет! Между тем дальнейшее проживание в Астрахани представляет для моей матушки самую серьезную опасность, угрожая прямо ее жизни. Но, пренебрегая чувством самосохранения, моя матушка не позволяет себе одной без отца выбрать местом жительства какой-нибудь другой город, в котором можно было бы пользоваться советами лучших докторов и более хорошими санитарными условиями.

Пять лет прошло со времени возвращения моего отца. В течение этих пяти лет отец мой, проживая безвыездно в Астрахани, вполне выказал свой тепе-

---

[1] Цит. Дело, л.л. 51—73.

[2] Сам М. Н. Чернышевский подтверждает, что прошения подавались им без ведома отца и что Н. Г. никого ни о чем не просил (*Мих. Чернышевский* «Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского». «Былое» 1907 № 8, стр. 129).

[3] И. Юдин и Скориков (авторы воспоминаний о Чернышевском) свидетельствуют о том, что новый губернатор, князь Л. Д. Вяземский очень сочувственно относился к Чернышевскому и способствовал переводу его в Саратов. Да, но по каким мотивам?

решний (и уже давнишний) спокойный образ мыслей, не могущий уже более тревожить правительство. В настоящее время отцу моему *уже шестьдесят первый год* [1]. Все его мысли и желания направлены лишь к тому, чтобы иметь возможность спокойно зарабатывать на старости лет как себе, так и для больной моей матушки кусок хлеба литературным трудом—единственным трудом, на который он способен. Из области литературы отец мой, давно далекий от всяких современных интересов, занят исключительно вопросами отвлеченными и желал бы посвятить свои силы изучениям историческим, философским и историко-литературным. Но для такого труда необходимы серьезные пособия и исторические материалы. Таких пособий Астрахань иметь, конечно, не может.

В конце 1885 года я имел счастье подать прошение на высочайшее имя о позволении моему отцу проживать в С.-Петербурге, имея в виду именно то, что в Петербурге отец мой мог бы пользоваться для своих ученых трудов теми богатыми пособиями, которые доставляют Публичная библиотека, библиотека Академии Наук и другие ученые учреждения. К моему глубочайшему горю, я был извещен о том, что мое прошение было отклонено вашим сиятельством...

Не решаясь снова просить о дозволении отцу моему проживать в С.-Петербурге или Москве, я имею честь почтительнейше ходатайствовать перед вашим сиятельством *о переводе моего отца в родной его город Саратов, куда имела бы возможность переселиться и больная моя матушка* [2].

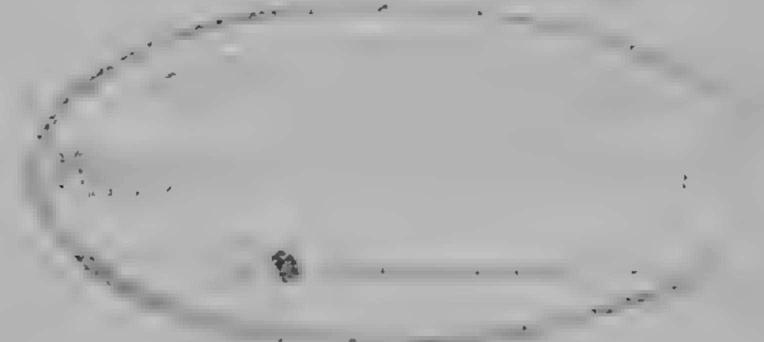
Михаил Чернышевский.

28 марта 1889 г.

Жительство имею:
Коломенской части 1-го участка по Английскому просп., д. № 36, кв. № 8 [3].

11 апреля 1889 года министр приказал запросить астраханского губернатора «об образе жизни, поведении и политической благонадежности» Н. Г. Чернышевского. Запрос был сделан 3 мая. 19 мая губернатор ответил, что Чернышевский ведет себя безукоризненно, в политическом же отношении представляется совершенно безопасным «в виду очевидного падения или притупления его умственных способностей» [4]. После такого отзыва местной администрации, правительство, полагавшее, видимо, что для него не опасны только психически ненормальные люди (на самом деле Чернышевский был вполне нормален), согласилось на переезд его в Саратов, куда он и выехал 24 июня 1889 года и где его ждала близкая смерть.

Ю. Стеклов.



[1] Эти слова подчеркнуты в оригинале красным карандашом.
[2] Эти строки отчеркнуты сбоку красным карандашом.
[3] Дело Деп. Полиции № 3892, л. 78.
[4] Цит. Дело, л. 80.

